

РИЖСКИЙ альманах



Банюта Анцане, «Город», офорт, акватинта, 1983 г.

Рецензии, заметки о новых изданиях

СТИХИ

ВОСПОМИНАНИЯ

ПРОЗА

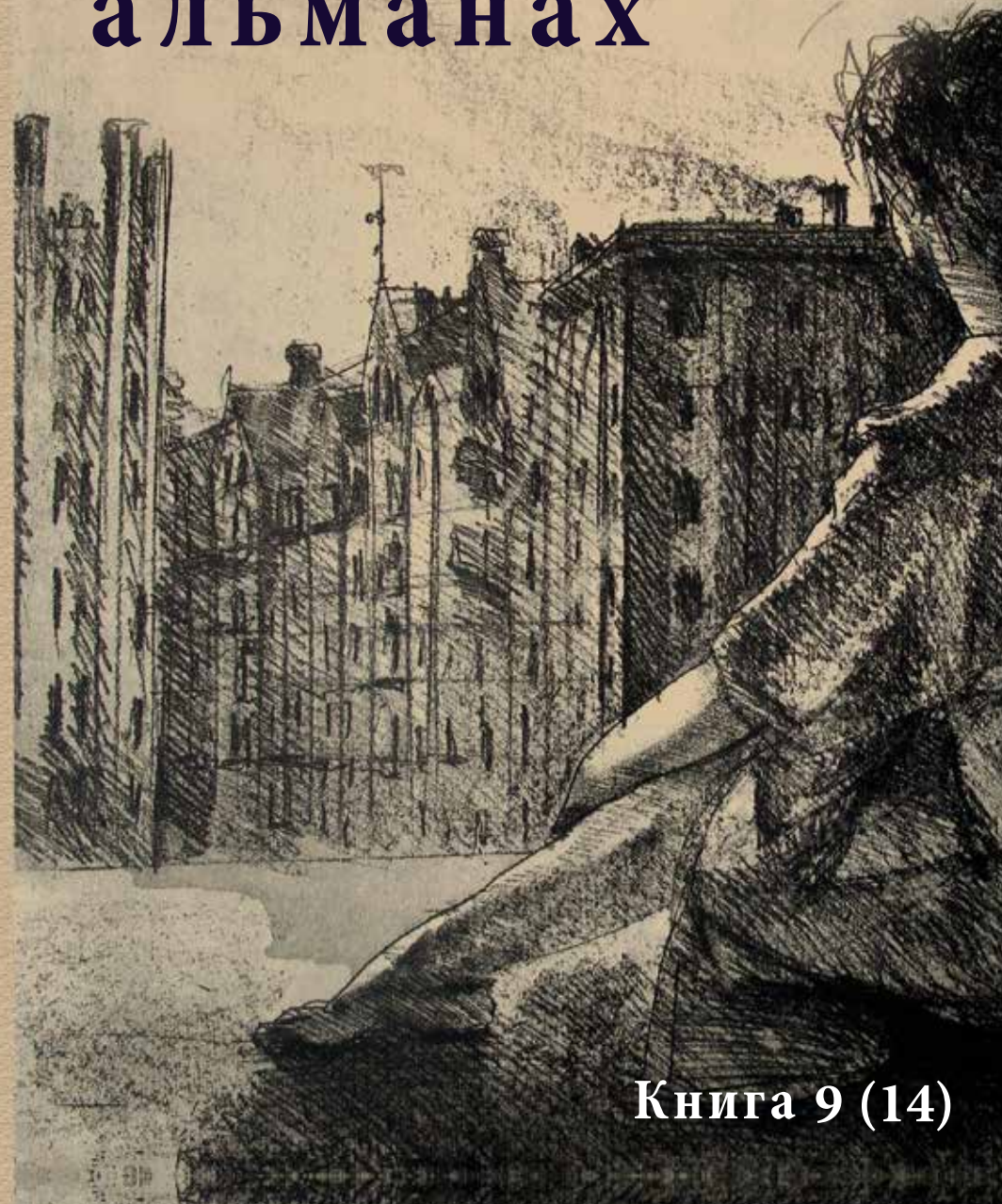
IN MEMORIA

АРХИВЫ

ДОКУМЕНТЫ



РИЖСКИЙ АЛЬМАНАХ 9 (14)



Книга 9 (14)

РИЖСКИЙ
альманах

РА9

ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ПУБЛИЦИСТИКА
ОБЗОРЫ
ПЕРЕВОДЫ
КРИТИКА

№ 9 (14)



Рига, 2019

Издается при поддержке Министерства культуры и Союза писателей



Kultūras ministrija

LITERĀRĀ KADĒMIJA

Latvijas Rakstnieku savienība

На первой обложке фрагмент офорта Банюты Анцане, «Город», 1983 г.

Редакционная коллегия:

Т. Зандерсон

Е. Матьякубова

В. Новиков

Рук. проекта Борис Равдин

Гл. редактор Ирина Цыгальская

Корректор Елена Васильева

Художник Виктория Матисон

ISBN 978-9934-8636-5-3

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

ЛОПК (Латвийское общество русской культуры) 2019.

© Авторы, тексты

© Состав, оформление

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ

Елена Васильева. Осенние листья	5
Дмитрий Близнюк. «...вечность проплывает мимо...»	11

ПРИЗ СИМПАТИЙ «РИЖСКОГО АЛЬМАНАХА»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «КУБОК МИРА ПО РУССКОЙ ПОЭЗИИ – 2018»

Елена Фельдман. Города	12
Наталья Прилепо. Лодка	13

СЕДЬМОЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БАЛТИИ ПО РУССКОЙ ПОЭЗИИ – 2018

Галия. Ловля солнца	14
Елена Таганова. В том саду	14
Глаша Кошенбек. Пока	15

MATRIS LINGUA

Диана Пискун. «заворачиваясь в чужие пледы...»	16
Максим Якушин. Вздох	18
Валерия Мизгарь. «Точка. Сигнал...»	19
Никита Молчанов. Резекне	20
Максим Молчанов. «сеткаоткомаров»	22

ПРОЗА

Владимир Ермолаев. Обещание. Рассказ	26
Янис Йоневс. Елгава 94. Отрывки из романа. С латышского. Перевод Роальда Добровенского	40
Владлен Дозорцев. БЭ-БЛОК. Повесть	101

РЕЦЕНЗИИ, СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ _____**Екатерина Ливи-Монастырская**

Спринтер, догоняющий смерть. (О книге стихов И. Асаева
«Мы затеяли жить...») 135

Н. Волынщиков

Читая классику времен НЭПа..... 143

Наталья Большакова-Минченко

Диалог с ветром. Размышления о поэзии Владимира
Френкеля 151

Дмитрий Драгилёв

Будильник заведен на «отправление».
О книге Сергея Морейно «HYPNOSES» 155

Юрий Касянич

Свеча меж двух зеркал. (Впечатление о книге В. Дозорцева
«Другой Юрканс») 159

ВОСПОМИНАНИЯ _____

Владимир Новиков. Вслед за карикатурой 164

Лариса Колесникова. Прикосновение к истории..... 187

Муся Гланц. Так текла наша жизнь.
(Отрывки из воспоминаний) 195

Павел Тюрин

Художники Латвии 2-й половины XX века 227

А.М. Афанасьев. Старая усадьба Балиново 248

Письма Людмилы Келер (сестры Иоанны)
из Нью-Йорка и Иерусалима в Ригу 253

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ. 282

Елена Васильева**Осенние листья**

* * *

Ехала в лето – приехала в осень.
Природа опять перепутала краски.
Дым пароходный ветер уносит,
и всё это грустно, и всё же прекрасно.

Стою на причале... Кого-то встречаю?
А может, давно я уже опоздала?
Или от стаи случайно отстала
и никого не встречаю... Прощаюсь...

* * *

Как много снежных листьев намело...
И во дворе, и в доме – тот же белый цвет.
Холсты расставлены, а живописи нет.
Палитра в красках, кисть их не коснулась.
О чем молчат они: Ван Гог, Гоген, Дега?
А может быть, здесь всё же что-то было?
Пейзаж осенний замели снега,
или осенних красок не хватило?..
Когда пришла зима, ударили морозы,
и яркий синий цвет ушёл под серый лёд,
оплыли свечи, лилии и розы.
На вернисаж Цветаева идёт,
наверное, Трёхпрудным переулком.
И вдруг случилось чудо воскрешенья:

посыпались хрустальные осколки,
 церковный звон поплыл и пенопенье,
 возникли линии и облик Незнакомки.
 Всё было на холстах: пульсация крови,
 живая связь времён, дыхание любви...
 И просветились лица серебристо
 так нежно и пронзительно, и чисто.
 Понятно стало: был Художник здесь,
 да вот он – рядом, он – живой, он есть.

* * *

В гамаке качалась осень
 в сонном шелесте листвы,
 занавешивала просинь
 все дороги и мосты.
 Блекло в мареве искусство
 в неестественной красе...
 Это осень, это проседь –
 паутиной на косе
 или солнечные нити
 с недописанных картин
 опускаются на плечи
 как последнее "прости".

* * *

Пусть не будет дурной приметой:
 в домотканной рубахе до пят
 кружит голову бабье лето,
 и деревья в дыму стоят...

В паутине – седая осень...
 И над пропастью, и во ржи
 осень жизнь мою переносит
 на церковные витражи.

Где ни грусти и ни веселия,
 лишь узоры спокойных грёз,
 и монашеские постели
 как холодный осенний плёс.

Я не знаю, легко ли, просто ли –
 в домотканной рубахе до пят
 никуда не уйти, о Господи!
 из твоих золотых палат.

Первый снег, как первая любовь

Я в старомодном рыжем кожухе
 пройду легко расслабленной походкой
 по ржавой рыбьей чешуе,
 застывшей в борозде рыбацкой лодки.

Был первый снег, как первая любовь,
 чуть приземлился – тут же и растаял...
 И море стихло, откатил прибой,
 на отмели резвится птичья стая.

Короткий миг похоронил мечту,
 и радужный порыв застыл холодным камнем.
 А белый лебедь зря плывёт к мосту,
 он опоздал на первое свиданье.

Читаю твой прощальный взгляд
 в поблекшей синеве над морем...
 Ты помнишь Блока "Соловьинный сад"?
 Наш сад не умер, только болен.

Огонь и дым

Вчера была гроза, но это быстротечно,
сегодня солнце с нами навсегда.
Но Дух не испарим и будет с нами вечно,
и в том спасенье наше... и беда.
А в чём беда? Не вспомнить... Что-то было,
как девочка, мелькнувшая в окне,
как дым костра, погасший и остывший,
и как явление Божества во сне.

Но главное не в этом и не в том,
что мы любили чаще нелюбимых...
Не расплескать тоски и радости простой,
вот совершенство не Огня, а Дыма.

Когда струится жизнь, и плавится елей,
нам кажется, что это вьюга или замаять.
... Огнём сжигали не святых, – людей,
а дымом воскрешают нашу память.

Девушка – призрак

Иду на звук, на рокот моря у причала,
по солнечному спуску скользкою тропой
и чувствую – меня волной качает,
и хлётский парус рвётся надо мной...
Вдруг парус взрывом бури занесло,
меня брезентом с головой накрыло...
А в чёрной мгле знакомое весло
меня коснулось... Может быть, приснилось?
Я спасена! Нет грозных туч и облаков,
и в море нет ни бури, ни волнения,
я вижу свет... И стало мне легко,
нет вечной тьмы – ко мне вернулось зренье!
Но всё же утром просыпаться не хочу.

Пока я сплю, вся жизнь ясна
от альфы до омеги,
и снятся мне Татьяна и Онегин,
и Гамлет, и безумный Герострат...
Потом опять по кругу, как в игре,
и Вёртер в пламени костра,
и Чацкий, и Печорин...
Так каждый день, вернее,
все мои больные ночи.
Я спать хочу, хочу даже во сне.
Мне видится почти что наяву:
из сна меня куда-то тащат черти...
Я просыпаться не хочу, устала я,
не троньте жизнь мою во сне:
она гораздо лучше, чем на свете...
Я света не хочу, привыкла к темноте.

Отречение от одиночества

На синем-синем небосклоне
горит звезда, всего одна...
Из колесницы рвутся кони,
и ночь цикадами полна.
Мне одиноко на балконе,
застыли звёзды вдалеке.
А подо мною – шорох моря,
и кто-то на фуникулёре
уходит в горы налегке...
И мне на яхте белоснежной
пора отправиться в круиз,
и будет ночь такой, как прежде,
в сиянии лунном волн и брызг.
"Остынь!" – советует мне разум,
звезда померкла на волне,
затихло всё как по приказу,
ночь гасит свет в моём окне.

И чувства тёплые лелея,
я помню тех, кого здесь нет...
От неизвестности смелею,
влюблённым парам на аллеях
я посылаю свой привет.
Не всё мне кажется печальным,
хоть сердцу нечего сказать...
Ни встреч, ни поздних расставаний
мне больше не придётся ждать.
Да, одиночество не в радость
среди соблазнительных аллей.
Пора мне поменять наряды
и колесницу, и коней.

Потаённые мосты

Приходится порой полжизни ждать,
чтобы, как в детстве, встретиться с удачей.
Себе я говорила, что не плачу,
а слёзы – это капельки дождя...
Когда сирень цвела в холодном мае,
я беззаботно мчалась в никуда,
манили вдаль другие города,
по сути ничего не обещая...
Вся жизнь была в движении, в ожидании,
мелькали лица, руки и слова,
и нам хватало света и тепла
от первых встреч и лёгких расставаний.
И всё казалось вечным, неизменным,
что всюду ждут нас добрые друзья,
и ошибиться в выборе нельзя,
для нас открыты все сердца и двери!
... Но явь суровая развеяла мечты,
не всё сбылось, а многое забылось
и в розовых туманах растворилось...
Но, слава Богу, есть ещё мосты,
которыми мы в детстве проходили,
смеялись, верили, любили...

* * *

вечность проплывает мимо
величественно и презрительно, как гренландский кит.
эти брызги, минуты, секунды – смотри, они твои...
нищая форма жизни...
но я улыбнусь: на ваших прочных космических крейсерах
миллионолетья
никого нет, а звезды бессмысленны – ядерные плевки.
все планеты сногшибательно мертвы
и ядовиты.
смотри, вечность, на нашем утлом плоту
из плоти, кредиток и быстрых слов
кипит жизнь, борщ и любовь...

* * *

утренний воздух
пахнет мокрой солью и ненаписанным стихотворением,
чмокает холодильник беззубыми деснами,
и ты вспоминаешь спиной сознания –
река из детства, широкая в бедрах, легла на спину.
точно дохлые коровы после наводнения,
дрейфует весенний снег в черных проталинах,
а выше нахохлился, как совенок, твой родной городок –
там жирафы из красного кирпича пятиэтажек
мерно пожирают плоды со спутникового дерева.
это не грусть, не ностальгия, не мысли ни о чем –
это принцессе в гареме приснился отчий дом, и она
еще не стала частью эротической сороконожки,
покорной, подлой, коварной.

* * *

жизнь – как рукопись, которая растет сама по себе,
вермишель, брошенная в кипяток бытия.
набухает словами, и ты сам не знаешь –
опубликуют? что останется после тебя?
нелепая ария детского вранья.

Елена Фельдман

Города*Посвящается пациентам Ивановского онкодиспансера*

– Это что там алеет на ветке, снегирь?
 – Нет, откуда: не видели с детства.
 В шестиместной палате – не город, а мир,
 Только странное это соседство.

Слева – Палех, а справа – березовый Плес,
 Дальше – Суздаль, почти деревянный.
 А Иванову россыпь гранатов принес
 Кто-то бледный, от горечи пьяный.

Подождать до пяти у слепого окна,
 Теребя телефон и газеты.
 Как предписано, красного выпить вина,
 Вдруг припомнить, зачем ты и где ты.

Отказаться от ужина; до темноты
 Просидеть в тупичке коридорном.
 Палех тих, но вздымаются ребра-мосты.
 Плес линчует буханку проворно.

Суздаль тянется к обуви – он на дневном,
 А Иваново выпишут в среду.
 Это значит горячую ванну, и дом,
 И тяжелую ложку к обеду.

Под снегами крахмальными спят города.
 Пол измазан рассветом, как кровью.
 И большая беда, как большая вода,
 Подступает уже к изголовью.

Наталия Прилепо

Лодка

Я не трогала воду, страшилась ее движений.
 Он размазывал соль по ошпаренной солнцем шее.
 И такое затишье, что птицы совсем не пели.
 Только ловчие весла со дна поднимали зелень.
 Под ногами ходила река тяжело и жадно.
 Мы буравили ил, непроглядные пятна, пятна.
 Он распахивал руки, и рыбы к ладоням льнули.
 Говорил мне: "Плыви, плыви!" И я тонула.
 Опускалась на дно, как горячий прибрежный камень.
 Занимался закат золотистыми языками.
 Широко расплзались круги. Проступали остро
 Перетлевшие листья, белесые рыбьи кости.
 Говорил: "Ничего, ничего, мы начнем сначала."
 Я послушно молчала, и лодка меня качала.
 Только голос его постепенно сходил на кашель.
 Поднималась река и стояла темно и страшно.
 Больше нет мне распахнутых рук над моей пучиной.
 Но я делаю точно, как он меня научил.
 Я тону глубоко, я потом начинаю сначала.
 И лодка меня качает.

Галия

Ловля солнца

когда уходит день, два рыбака
закидывают леску в облака,
они точны, движения их ловки,
ведь ловля солнца требует сноровки...
а я смотрю, как тихо гаснет день,
дрожит дорожка солнца на воде.
и остро проникает в сердце жалость
и к солнцу, если б вдруг оно поймалось,
и к миру, и к летящим летним дням,
и к нам...

Елена Таганова

В том саду

В том саду, где мы не встретимся никогда,
в ржавой бочке дождевая цветет вода,
позабыв о водоворотах.
Не судьба ей поить стада и крушить суда.
Лишь ворона по краю скачет туда-сюда –
и дрейфует от стенки к стенке перо воронье,
как пирога, опрокинувшая гребца...
и садовница не узнает лица.
Что ей Спасы и сенокосы?
Расползается крапива из-под крыльца,
догнивает в компостной яме падалица –
и ни браги, ни пирога... только осы, осы.
Столько ос, что воздух кажется золотым.
Над звенящей пижмой вьется пахучий дым –
у соседей опять суббота.
Чем-то липким растекаются голоса,
и, басовую «соль» поймав, дребезжит оса
в пыльной банке из-под испорченного компота...

Глаша Кошенбек

Пока

пока в ванной сохнут колготки и холоден чайник, как лед,
ларисаивановна в лодке к рассвету с восходом гребет

гребет она прочь из квартиры, звезда ее ярко горит
а ночи формат А4 теперь, несомненно, А3

вокруг поднимаются скалы, за ними чужая земля
сновидец придиричивый скажет, что нет ни ветрил, ни руля,

но нет также шторма и качки, дресс-кода, долгов и забот
ларисаивановна жвачку плюёт незаметно за борт

ах, красные корки диплома! ах, PowerPoint, 1 С!
вдали от казенного дома червовый лежит интерес

лежит, трудовые листает, ногами болтает в воде,
вокруг соискательниц стая, а может быть, целый отдел

но ветер уносит их щебет, приносит будильников писк
ах, кредит и брат его, дебет! ах, убыль, подсудность и иск!

и волны ей шепчут: лариса ивановна, двигай домой
смотри, канцелярские крысы несутся одна за одной

смотри, уже первый автобус рычит, выходя на маршрут
звезда твоя тает – Адобовс, восходит звезда Икаруд

ночь рвется и светят сквозь дыры, лишая простецких надежд,
звезда Арашол и Адныруд созвездия Ыть Нопулеш

смотри... и будильник грохочет, и кочет победно орет...

ларисаиванна хохочет
ларисаиванна гребет

В Союзе писателей Латвии при поддержке Министерства культуры Латвии проводится ежегодный семинар молодых авторов, пишущих на русском, украинском, белорусском и других языках.

Ниже – произведения пяти авторов – участников семинара 2018 года.

Диана Пискун

* * *

заворачиваясь в чужие пледы	дай мне тебя беречь
теряясь в чужой квартире	я буду целовать твои
пьешь шоколад	холодные уши
и твои запястья пахнут мятой	нос
а кардамоном кончики пальцев	щёки
ты пряное рождество	губы
карамельное	петь тебе колыбельные
хвойное	и поить перед сном молоком
снежное	а самое важное
улыбаешься, эльф	мы вместе будем
мой эльф	печь пипаркукас

* * *

мы летучие мышки	надевают носки
под хлётким дождём	и чихают
слепые	чихают
глухие	читают стихи
размытые	о весне
вбитые	и перебирают мяту
впаянные в октябрь	мы тоже летим
он в тыквах	домой
и грозах	туман отдыхает
и ветре, что	на крыльях
кружит обнажённые	дорога дышит
рёбра зонтов	на ладан
люди как лампочки	мы молимся
в жёлтых плащах	осени
исчезают в домах	о святых

* * *

золото этого дня	трепещут, и ты, замороженный,
впитываешь кожей	смотришь, и жадная память
особенно в рыжий	влюблённо
час перед самым закатом	консервирует миг
и дышишь	просто жив
вдыхаешь	и почаще бы так,
пускаешь	чтоб без мыслей
в лёгкие море	море-mare
на латыни, кажется, mare	и чёрный чай
чужие ресницы	я вернулся
как жидкая бронза	и очень скучал

* * *

находи себя	черно-белых, размытых
в тихом вечере	неловких
ночнике, конспекте по химии	в недавно прочитанном
а можно	«хоббите»
в пустом трамвае	и стакане любимого
где рыжее солнце щекочет	молока
зрачки	находи непременно хоть что-
находи себя	нибудь
в фотографиях	что говорит тебе
	о тебе

Максим Якушин

Вдох

Мы так или иначе курим,
 Сглатываем внутрь,
 Заглушаем – вдох.
 Как будто внутри кто-то умер,
 Задушился, подох,
 Но остался быть.
 И легкий дым
 Из собственных недослов,
 Навеет прошлое,
 Особенно, перед сном.
 И не сном томим
 Он остался быть.

* * *

Минуты в часы, а дни в года
 Кровь моей жизни густеет,
 Как перекасти поле наголо,
 Как молоко гортань грея
 Похлебнет остывшим,
 Вроде жидким, но избитым,
 Как бы мокрым, но сухим,
 Молчаливым, но молитвой,
 Не моим и не чужим.

Валерия Мизгарь

* * *

Точка.
 Сигнал.
 Азбука Морзе.
 Тире.
 Лабиринт предложений,
 перекрёстки слогов.

Кто-то пропал,
 кто-то мечтает пропасть.
 Точка.
 Пожалуйста, тише.
 Мы разговариваем.
 Нам необходим разговор!
 Точка.
 Это ещё не конец...

Точка.
 Не смотреть через плечо,
 не оглядываться назад.
 Точка.
 Я отражаю стекло,
 ты отражаешь меня.
 Тире.
 Вечное продолжение осени,
 вечный октябрь души.
 Тире.
 Молчание тех, кого бросили.
 Этим знаком разводят мосты.

Тире.
 И вроде бы все перечеркнуто,
 между датами прячется жизнь.
 Точка.
 Сейчас точно кончено!

Пожалуйста, не уходи!
 Точка.
 И дробь барабанная
 над трусостью громко глумится!
 А ты такая печальная,
 что грех в тебя не влюбиться!
 Точка.
 Каждому стоит влюбиться.

Точка.
 Голубые глаза напротив,
 сияние печальной Невы.
 Тире.
 Он тебя не спросит,
 о чем вдруг задумалась ты.
 Не почувствует, не догадается,
 не услышит в голосе грусть.
 Точка.
 Каждый в жизни с кем-то
 прощается,
 чтобы снова отправиться в путь.
 Точка.
 Ты уснула, повинуюсь закату,
 я играю словами в стихи.
 Если снова захочешь куда-то,
 ты мне только на ушко шепни.

Точка.
 Легкий штрих.
 Теперь уже запятая.
 Точка.
 Гибкость моих вопросов.
 Резкость твоих восклицаний.
 Тире.

Расстояние между нами.
Мы объясняем друг друга.
Тире.
Если внутри пустота,
не дожидаться ответного стука.

* * *

Мыслей чугун превратился в туман,
Слезятся глаза, в голове сквозняк.
Перспектива – прогулки с тобой по углам,
По углам твоих губ гуляет мой взгляд.

Никита Молчанов

Резекне

Я вернулся в Резекне с братом,
Зная, что буду в каждом переулке
Двух детей провожать взглядом,
О былом тоскуя в раздумье.

Любимая бабушка старый дом
Не дала встретить пустым вокзалом.
И вот мы встретили настигнувшую её,
Косметикой замаскированную старость.

Мы же по-предательски повзрослели,
Не показали ей тех крохотных внучат,
И держим от неё пока в секрете,
Что призраки прошлого навещают нас.

Бабушка, скажи, ты их видишь тоже,
Не просто так смотришь в никуда,
Ты знаешь, мы неразлучны с прошлым,
Хотим, чтобы всё было как тогда.

Время летит быстро всем назло,
А у нас вредная привычка привыкать,
Но давайте жить сегодняшним днём
И Резекне от призраков избавлять.

Особняк

Лишь человек смог бы
Дать мне неприятный вид,
Но никто мне не звонит
(И никто не звони'т).

Ты не бойся, заходи,
Обет молчанья перебей,
Сдувай всю пыль
И приводи друзей.

О, жаль, вы не учуете,
Что тут совсем не одни,
И то, что у стен уши есть,
Вас, слепых, не удивит.

Моё сердце стучится
Всё сильнее в двери,
Смотрю в глазок на лица
Через дырку в черепе.

Максим Молчанов

сеткаоткомаров

За панельной стеной домов расцвела ива, застенчивая и одинокая, она стояла на изволокe, прикрытая копной мягких волос, в которых поблескивало лучистое озеро – самая капля, спускающаяся будто с ее лоз и скрывающаяся под пригорком. Дальше, за чертой городской, в лесной управе, виднелись купы черных деревьев, не успевших еще расцвести. Деревья те ушли далеко и впивались, терлись об затянувшееся небо. Небо над сетью линий передач, над поднимающимся дымом повисло залитое кровью, пронеслось, окропив бодрящей влагой и свежестью уходящего дня, оставила за собой лишь только тень...

Взглядом я вернулся к себе, где уже не так широко и свободно, а как-то скомкано, ведь, – как у всех людей... Дым – городской наркотик – внезапно исчез. Воздух был чист, даже сладок на вкус, был теплый вечер и конец апреля. Я был на балконе, на третьем этаже панельной стены, пролистывал книгу – сегодня это сэр Уильям Голдинг. Птицей пролетают слова, которые меня совсем не коснутся, из головы вылетает начало и финал истории – эти два конца ускользают – все, как и в самой жизни. Я не вспомню тех слов, что ты сказала, когда ушла, когда все закончилось, не вспомню первой нашей встречи – все это ускользает, все это казаться стало таким пустым, вообще все! Я пытаюсь уснуть, но не могу – завернуться в себя, подоткнуть тяжелые веки и закончить еще один день. Это конец? – Для нас. Ты бы пришла. Мы бы могли сидеть в кухне, пить чай, молчать – ты что-то добавляешь – в чай. Я несколько раз замечал, но не спрашивал. Чай у тебя получается очень вкусный. Или, вернее, я просто привык к нему, ведь раньше, помню, я ничего бодрящего не пил...

Второй. Воскресенье – “Sunday” – день солнца. Так оно, Вирджиния, и было. Сегодня я сидел на нашем скрипучем кресле, сквозь сетку от комаров валился сноп света. За шторкой, – здесь, – совсем близко жужжит жук, вылезший из своей щели, и я потрачу уйму времени, чтоб его прихлопнуть – единственное, что я в жизни ненавижу, так это насекомых. Я поставил на балконе антимоскитный фонарь, за-

чем-то опрыскал себя репеллентом, может, потому что откуда-то запахло твоими духами, однако же сегодня я никуда не выходил, хоть и хотелось, – очень – до самых сумерек и чтоб с тобой! Или, возьмем Ральфа, Саймона, твою подругу, будем пить и пить красный нектар – наше волшебное зелье, пересыпать бессвязную речь шутками, лежать на траве, где наверняка уже мелькают целые колонии муравьев, – они вылезают из своих гробов, идут в город за сладким, над ними, чуть выше петляют всякие мошки, прилипающие к джинсам и везде этот звонкий звук под стать нашим голосам. Все движется, и люди тоже – такие же букашки в больших своих муравейниках! Ты в институте, работаешь, а тут лето собирается, вся эта суетень. Знаю, мы не любим больших компаний – мы могли бы, скажем, сходить на море, посмотреть на опаловый туман на окаймлении горизонта и оставлять свои следы на песке, идти вдоль берега, как по-над пропастью, то отбегая, то приближаясь к холодной волне, но не давая ей себя ужалить, потом вернулись бы домой, посмотрели бы какой-нибудь глупый и наивный фильм, а потом начали бы его критиковать – так бы провели свой день. Но день прошел по-другому. Иногда мне кажется, что тебя никогда здесь не было – рядом со мной, в этой проклятой комнате.

Понедельник – “Monday” – день луны. Хорошо, кушать не пришлось готовить, – в холодильнике еды полно, ты не оставила меня ни с чем, знаешь какой у меня аппетит. Раньше я не замечал, как быстро наполняется мусорный бак, как быстро пустеют наши припасы. А что это за фото с выпускного – на холодильнике? Вы тут вчетвером... – твои подруги? Слушай, я знаю, что случается и часто, что я очень беспечен, не чувствую тебя, твоего выжидательного молчания в трех стенах нашей кухни. Весь этот сыр-бор в последнее время... – Могут наши решения, наши слова ни к чему не привести? Ведь не все же наши действия прописаны и имеют под собой подоплеку. Мы ссоримся, тебя все стало раздражать, и это всё скорее от скуки. Сколько раз я это слышал, – про то, как ты устала, про то, как не оправдал надежд – это все уже было, и мы с тобой тоже. – Как все. Мы по многу раз повторяемся, но ты все прощаешь, значит, принимаешь? Я и вправду мало что о тебе знаю, я почти не интересуюсь тобой, мы просто хорошо проводим время. Но понимала б ты всё – давно б ушла. Ну, ты же психолог..., а я, пациент в этой маленькой комнате. Да, я сержусь – ведь не могу

уснуть. Все время оно жужжит и жужжит, жужжит и жужжит. Вновь забыл принять лекарство и посеял свои очки. Ну, скорее возвращайся, сложно быть здесь одному. Порою мне хочется кричать, вопить как умалишённый, разбудить всех, нарушить их вечный покой, или хоть перебить чертово жужжание – я только что подумал, что я не слышал свой крик уж очень давно, так давно, представляешь, что я не помню его совсем. Я пишу это и понимаю, что не могу это сделать и сейчас, просто не могу! – Страх ли это? А, я же был когда-то безжалостный зверь, мои предки были убийцы – они совершали страшные вещи, чтобы выжить. Мы неслись с огромной скоростью, сшибали друг друга, чтоб потом слиться воедино и создать нечто новое – так произошла Луна и мир на Земле. Гигантское столкновение воспитало в нас этого Зверя, суть которого разрушать и строить. А теперь нет Зверя. И нет бога. И нет конца.

Я поставил масло на подоконнике, окна не открывал, но они все равно как-то пробрались сюда. Утром, я проснулся, – меня всего обкусали, все тело чешется, я скинул с себя одеяло, вскочил со своей постели и больше на нее не ложился. Принял Арипипразол, умылся и вернулся к своему скрипучему креслу. В лицо бьет свет и даже не прищурюсь! Не защищусь от слепящего солнца! Сейчас оно сядет пососать крови, и я хлопну себя, – перестанет жужжать, снова станет тихо. Ночью, мне снилось – я с дюйм, стою возле той ивы, что за окном, сверху льются лозы, как стебельки они колыхаются на ветру, щекочут пространство, и все здесь движется, – будто убегает от меня. Внезапно с плеч моих вырастают чьи-то клешни, обхватывают меня всего. У себя на загривке я ощущаю сосущую боль – там, во мне роясь, острые жвалы ищут во мне чего-то, а я двигаться не могу – парализован! и чувствую... что вот-вот проснусь. В конце вижу лишь яркий синий свет, – пронзающее сон утро.

Просмотрев свой сон снова, я вспомнил и о том вечере с твоими набожными предками – все же это тоже был как сон, вообще все прошлое сплошной сон! Особенно если о нем думаешь. Так вот, я тогда все испортил, по многу раз отпускал свои шуточки и вел себя непристойно, – они рассказывали, что-то из жизни святых, читали 11 и 12 главу от Матфея, святое благовествование, хотели приучить к вере и приглашали в божий храм на службу, помолиться перед иконой Пан-

телеймона, поговорить с каким-то священником и т. п. Возвратясь домой, ты еще отчитала меня, совсем растрогалась, сказала, нам нужен перерыв – настолько ты “больше не можешь”. Теперь я здесь, – *Sic semper tyrannis* – одиночество и тишина, которые могут меня воспитать. Ты хочешь, чтоб как у всех, чтобы “как люди жили”, для этого я должен смириться, остыть – каждый должен. Но жизнь эта такая тоска, и то, чего ты хочешь – этот муравейник – по трассе шелестят машины, вперед-обратно, где и гвалт нетерпения, и всякая возня, и старичье, и контрастирующее с ней вопящая мелюзга, очереди, пробки – как сбой в механизме! Я не хочу быть частью этого! Очень уж больно я переживаю это всё. Я, как и все в городе, боюсь тех, кто ткнут паутину и собирают у черных зеркал всех сонных мух, но и забыться и исчезнуть не хочу! Но я буду здесь! – Я здесь, и я одинок. Окна на панельной стене, как соты, между стеной этой расправлена сеть, и я, чтоб – висеть. Надолго ли? – Вот для чего я был сотворен? Неужели я ничем не отличаюсь, такой, как и все? А так хочется порой летать, быть выше, чем ты есть. Эта сеть над нами, но не над небом, и когда-нибудь и я наследую небо, когда исчезнет всё, что препятствовало нашему единению с ним, когда на мое место встанет примитивный робот, чья усидчивость неотличима от пчелиной или муравьиной, или другой, такой – каким я когда-то бы мог стать... Фальшь – таким для меня стало понятием слово жизнь – и мы, и твои подружки на выпускном – стоят, разинув пасть, помада кровь, короткие юбки, восемь тоненьких ножек; наши друзья... Я наверно тебе наскучил, маячил все время перед тобой, мешал, так вот – надо заканчивать эксперимент – я больше не буду писать – ты больше не будешь читать. Не могу оставаться в этой комнате, где всё ползет и звенит – что-то в ушах, чешется, не могу... не могу достать, надо пойти на кухню, открыть шифлядку и... нет, лучше на воздух, мне нужен воздух – выйти из этой комнаты и совершить ошибку, попасться в сети, преодолеть свою скорость, расстояние, которые я вмиг прекращу, яркий синий свет, что может разрушить четвертую стену раз и навсегда. И освободить!

ОБЕЩАНИЕ

Эстрагон. И что он ответил?

Владимир. Что посмотрит.

Эстрагон. Что он не может ничего обещать.

Сэмюэль Беккет. «В ожидании Годо»

Ах Александр.

Гертруда Стайн. «Кровь на полу в столовой»

Исчерпать тему, поставить точку, прийти к заключению, вынести суждение, вынести приговор и привести его в исполнение – в данном случае, случае Александра, это невозможно. Речь будет длиться даже после того, как мы с ним разделаемся. Я, кажется, понял, пройдя столь долгий путь, откуда берется это множественное число – единственно из соображений ритма. Если ритм – первое, то числа, наклонения, спряжения и тому подобное следуют за ним. Ритм – великий строитель фраз. Приятно разгадать хотя бы одну загадку. Немалое ободрение, пусть и не сулящее успеха всему предприятию. В конце концов, мы были готовы к тому, что в этом деле концов не найти. Поэтому ограничусь тем, что подробно расскажу об обещании, данном Александром. Хотя не уверен, удастся ли мне рассказать о нем даже в общих чертах, без подробностей. Не подстерегает ли здесь меня та же неудача, что и в поисках Александра? Но к чему такие мрачные предположения. Скорее, наоборот: если об Александре мы знаем только по его обещанию, то само обещание открыто присутствует здесь и присутствовало всегда, с самого начала, полностью, иначе мы не пустились бы на поиски Александра, вернее, не принялись бы подготавливать место для его появления. Обещание предшествовало Александру, это ясно, и, чтобы указывать на невидимое, неосязаемое, само оно должно быть осязаемым, то есть доступно зрению, слуху, осязанию, обонянию. Вот с последнего и начнем. Это замечательно – вновь оказаться там, где есть первые и последние, где порядок что-то значит, где одна мысль в ладу с другой, и обе они в ладу со словом. Но не забудем: мы оказались в этом чудесном месте только потому, что признали бессилие слов и мысли, – потому, что мы согласились: Александра нам уже не найти.

Начать с ароматов – удачная ли это идея? Может быть, обещание открывалось в прикосновении? Может быть, я прикасался к обещанию

прежде, чем услышал его – и слухом, и обонянием? Если учесть, что обещание было дано в начале всего, когда из всех чувств самым развитым было осязание, то да. Но память ничего не сохранила о тех временах, а гадать ни к чему. Поэтому начну с обоняния, и сразу отмечу главное: обещание не содержалось в каком-то особенном запахе, оно таилось в том, что мир вообще пах, и так сильно, что иногда это беспокоило, угнетало. Иногда он пах избыточно, и хотелось как-то от этого запаха увернуться, отгородиться. Но мир пах настойчиво, всеми своими уголками, и в этом слышалось обещание. Трудно объяснить, как одно с другим связано, но так было, и, конечно, запах жасмина, сирени, смородины обещал больше, чем многие другие запахи, о которых и говорить не стоит, достаточно упомянуть все скопом. Однако обещание передавалось и через них, теперь я это понимаю, а тогда не понимал. Вот главное различие: в одних запахах обещание проступало явно, а в других – неявно. Да, казалось, что большинство запахов никак не связаны с Александром. Даже в голову не приходило, что он мог пахнуть и так, и этак, скорее, наоборот, я был уверен, что так он пахнуть не может. И только сейчас, по прошествии многих и многих лет, я понимаю: да, обещание приходило с любым запахом, как приятным, так и отвратительным. Следует уточнить, исправить неточность: все эти запахи не были запахами Александра, нет, они были всего лишь средствами доставки, вестниками. Замечательное, точное слово. Вот о чем я сейчас говорю и собираюсь говорить в дальнейшем – о вестниках, которые посылал Александр, хотя можно предположить, что они являлись без его ведома. Это большая проблема: заинтересован ли Александр в том, чтобы мы знали о нем и готовились к встрече, или ему это безразлично? Мне больше нравится первое предположение, и пока не поступило доказательство обратного... Хотя как же, они в изобилии. Вот куда уводят воспоминания: забываешь о том, что сделалось для тебя фактом. Будем настороже.

Покончив с ароматами, обратимся к звукам, гармоничным и негармоничным, мелодичным и немелодичным, естественным и искусственным, производимым за работой и в праздности. Здесь, скажем сразу, ситуация другая: не все звуки несут обещание, только некоторые. Относится ли к ним птичье пение? Например, дрозд или соловей? В какой-то степени: пение дрозда можно сравнить с запахом полыни. Но гораздо отчетливее обещание слышалось в звуках музыки. Эти звуки можно сопоставить с ароматом жасмина, не все, конечно, моцартовские, к примеру, лучше сравнить с запахом ванили, известной мне только в виде пряно-

сти, в природных же условиях ваниль, надо думать, пахнет совсем иначе, в противном случае ни к чему было бы подвергать ее бланшированию и ферментации, чтобы получить то, что известно как пряность, и чей аромат сравним с музыкой Моцарта, имея в виду интенсивность и отчетливость обещания, в ней содержащегося. Говоря яснее, как вестник, музыка этого композитора несет не больше и не меньше, чем запах ванили, хотя для многих поклонников, завсегдатаев Зальцбурга, такое сравнение будет кощунственным, как же, они ведь считают, что Моцарт и есть Александр, в одном они правы: имя, данное при рождении, ничего не значит, и Моцарт так же далек от того, чтобы быть Александром, как и Вагнер, и многие другие композиторы. А кто ближе всех? Знаем, но промолчим. Не стоит раскрывать имена. Все это не приблизит нас к настоящему Александру, а его не приблизит к нам. Довольно будет одного разделения звуков на музыкальные и иные. Мы еще должны поговорить о зрении.

И вот наступила очередь зрения. Вестники зрения, кто они? Пологие холмы, высокие горы, зеленые купы, белые облака, синие озера, та же сирень, та же черемуха, звезды, луна, лица людей, красивые лица, женские и мужские, все, что таит в себе красоту. Таит? Выставляет напоказ, не скрывает, обладает красотой и делится ею с другими. Но не самой красотой, а ее видом. Образы красоты повсюду. Нужно только смотреть, в подходящем настроении. Закаты, восходы, поля, моря. Но не что-то искусственное, нет, в этом нет красоты, нет обещания, только естественное обещает, если оно красиво. Прекрасная кобылица, прекрасная девушка. А кувшин? Что-то не так с кувшином¹. В нем есть красота, но нет жизни. Обещание исходило от живого. Александр и был самой жизнью, и вестники Александра были вестниками жизни, но какой-то другой, не этой. Толпы вестников, если сосчитать все. И обещание звучало явственно, было отчетливым, но не в смысле отчетливости того, что оно обещало, а в смысле самого этого акта – обещания. Его нельзя было спутать с чем-то иным, разве что с побуждением, императивом, да, в обещании крылся императив: дождаться обещанного, и даже ускорить его появление. Но, может быть, это только мнилось? Теперь я знаю, что приблизить появление Александра невозможно. Императив был моей выдумкой. Но точно так же оказалось ложным и обещание. Мог ли Александр обмануть? Нет, только не это. До последнего верить в порядочность Александра. Последнее, что осталось, – феноменология обещания, описывать факты сознания², никак их не интерпретируя, занятие для наблюдателя, которому нет дела до Александра, так же, как

Александру нет дела до него и его «дневника наблюдений». Вот к чему свелись наши отношения. Но что можно было сделать? Ничего. Все ли сказано о глазах? о вестниках зрения? Если и не все, пора переходить к другому. Задержки ничего не изменят. Последние усилия, осталось совсем недолго.

Исчерпана ли тема зрения, вестников зрения, тема глаз и зрелищ? Далеко нет, как и другие, предшествующие темы. Быть решительным и не задерживаться на мелочах. Хотя мы никуда не торопимся. Но решительность – достоинство в любом случае, особенно в случае Александра, и притом тогда, когда все надежды на его появление испарились, как роса, туман. Сдуло ветром. Ну же. Не отвлекаться. Решительно вперед. Тема зрения тем отличается от других тем, что подстрекает задержаться («подстрекает» – вместо банальных «побуждает», «вынуждает»). Стрелка зрения. Вот оно как. И на чем же я остановился? На каких зрелищах? Что хотел описать подробнее, преступив через зарок не вдаваться и не останавливаться? Конечно, это те огни в вышине³. Апогей космической эры. В воображении я уже переселился на звезды. Звездный атлас истрепан больше географического. Неправда, но служит прояснению, характеристике моего отношения. Если Александр где-то обитает, то, разумеется, там, на звездах, где же ему еще быть. Удаленное космическое пространство как вотчина Александра, его родовое имение. И тут зрелища соединяются с текстами. Я имею в виду, что вид звездного неба напоминает о книгах, где говорится о звездах. Немало людей интересовалось именем Александра, но, скорее, как туристы или ученые. Самое большее, на что они осмеливались, что они предлагали, – это явление инопланетного разума. Какое убожество! Какая профанация! Александр в виде мыслящего океана или монстра с ядовитой кровью. Александр, выползающий из цилиндра, после того, как отвинчена крышка. Примеры множатся, а мы идем мимо, хотя в свое время и так далее. Но по большому счету, а здесь нужно считать только большими числами, ставки велики, все это не затрагивало сокровенного, того, что жило обещанием, и потому огни над головой оставались вестниками, кем бы их ни заселяли выдумщики. Все шло своим чередом, имея целью как будто появление Александра. Торжественный ход светил *et cetera, ad infinitum*, а точнее, *ad libitum*⁴, потому что Александр и не думал появляться, но я-то предполагал, что да.

Снова остановка. Одной решительности недостаточно, чтобы продвигаться вперед. Увяз по колено. Локоть увяз – всей птичке пропасть.

Вот как обстоят дела. Не удивительно. Мы же знаем: речь течет сама по себе, вне зависимости от берегов, от того, есть они или их нет. И чтобы закончить со зрелищами, добавим, что в них часто мерещилось чье-то лицо⁵, как в пятнах Луны, или волнах, или облаках (вид сверху, со стационарного спутника). Выходит, не только я, но и тысячи, миллионы ждали появления Александра, искали его лица, падали ниц пред его лицом, жили во страхе и надежде, пусть и называли его как-то иначе, но им тоже было дано обещание, это несомненно, хотя я уже готов был признать это обещание грезой, игрой воображения, но мыслимо ли, чтобы все грезили одинаково, приблизительно одинаково, это невероятно, доказательство от количества, хотя бытует мнение, что истина является лишь немногим, именно этим она и отличается от заблуждения, последнее – как бы товар массового употребления, а истина – товар штучный, и владеют ею штучные люди, им она является – взамен Александра, потому что истина состоит в том, что Александр никогда не появится, и если ты хочешь, чтобы тебе явилось что-то, то согласишься на явление истины, а иначе, вообще никто и ничто не явится, и останешься в заблуждении, растворишься в массе, взыскующей Александра, под другим, правда, именем. Мы же, те, кому явилась истина, знаем, что Александра можно приготовить самим, треть сливок, треть коричневого ликера, треть бренди, взбить в шейкере, отфильтровать, посыпать мускатным орехом⁶, примерно так, но можно и по-другому, и явится тебе лицо Александра, и разные другие лица, после шести или десяти дринок, да, лица, лица вокруг, ничего другого и не нужно, одиночество – вот что обращает тебя к Александру, но когда вокруг тебя лица, Александр отступает в тень, никаких обещаний, играет музыка, смех и танцы, может быть, он тут, среди нас, но мы не догадываемся.

Если о прикосновениях (дошла очередь и до них), то из всех прикосновений обещание несло только прикосновение к женщине (важное уточнение: прикосновение к девушке, потому что когда наступило время прикосновений к женщинам, грезы об Александре уже выцвели, и в прикосновениях не было обещания, ну если только совсем немного, эхо былых времен). Так что же прикосновения? Ничего. В том-то и дело, что обещание крылось в мечте о прикосновении, но само прикосновение ничего не обещало, напротив, заставляло забыть об обещанном (не обращать внимания на эти об-об, бу-бу-бу⁷, ба-ба-ба, старая шашечная присказка: ба-бах – и в дамках! если бы можно было так быстро добраться до Александра!). Вся жизнь как приключение. Вот каким было действие

этого обещания: сделать жизнь приключением. Будто продвигаешься в дамки. Вперед, вперед, ни шагу назад. Казалось таким заманчивым, потому что в конце сулило встречу с Александром. Только прошедший в дамки удостоится чести, или милости, лицезреть. Если уж переводить смысл обещания на обычный язык, то его следовало бы изложить именно так: стань дамкой! стань самим собой! каждая юная душа слышит этот призыв⁸. И что из этого? Ничего. Туринская лошадь⁹ повезет тебя на погост. Вот чем все это кончается. Но то было время прикосновений, время девушек в цвету. Какие бутоны, соки и ароматы в вечернем воздухе¹⁰... И мечта забраться рукой под кофточку, под юбку, между ног. Как будто Александр мог притаиться там. Да, тогда это место казалось естественным убежищем Александра. Все девушки, или нет, только красивые, привлекательные, носили в себе Александра, и касаясь их, ты касался Александра. Так грезились еще до прикосновений, но сами прикосновения разочаровывали тем, что нисколько не приближали к Александру, и пробираясь куда-то там рукой, пальцем, языком или чем-то еще, да, чем-то еще, никакого Александра не обнаруживаешь. Обман инстинкта, прикрывающего свою цель Александром, как будто он что-то знает об Александре. Нет, так рассуждать нельзя. Влечение само по себе, Александр по другую сторону. Но откуда же тогда эти грезы и этот обман? И самое любопытное, что девушки так же ждут Александра, как и парни. Им и на миг не мерещится, что Александр с ними, у них внутри. Значит, все сложнее, и связь Александра с влечением плоти, страстью к прикосновениям остается невыясненной. Да мы и не надеялись. Я-то уж точно не надеялся. Теперь, когда от надежд ничего не осталось, держаться строгого метода наблюдения, заключать себя в феноменологические скобки⁷, не только себя, но и Александра, его – в первую очередь, я имею в виду – предчувствие. Описывать, не поддаваясь. Как будто я все еще способен испытывать искушения! С этим покончено. И феноменология как строгая наука⁹, беспристрастный отчет о том, что когда-то кипело и бурлило, дается мне без труда.

Но выцветали они не так уж быстро. В том и беда. Если бы они потопились. Ясно, что ожидание Александра привело к тому, что я упустил все поезда. Ни поездов, ни самолетов¹³. Сколько угодно. Отправляйся куда хочешь, в любую сторону. Но я упорно сидел в зале ожидания, надеясь на прибытие Александра. Я сидел сразу во всех залах всех автобусных и железнодорожных вокзалов, морских, речных и воздушных портов, дожидаясь появления Александра. Мне казалось, что вот-вот

он поднимется снизу на лифте или спустится по лестнице из зоны для VIP-персон. И я ждал, решая кроссворды, sudoku, шахматные задачи, насвистывая мелодии, листая книжки. Я ждал, но Александр не появлялся. А тем временем поезда уходили, автобусы отправлялись, суда отплывали, самолеты взлетали, и я мог бы вести жизнь человека, не отягощенного, не смущенного каким-то призрачным обещанием, но я ждал, и это продолжалось долго, пока наконец во мне не созрел отказ, вроде сладкого яблока или какого-то ядовитого плода, не знаю. Я понял, что дожидаться напрасно, и тогда передо мной распахнулись ворота, раздвинулись двери всех вокзалов и портов, и я вышел в мир, до которого Александру не было дела, где его нога не ступала, и этот мир показался мне очаровательным, очаровывающим. Так ли, верно ли? Не будем уточнять.

Он вышел в мир. Обратимся к нему в третьем лице, отделяя себя от него. Хорошо бы еще отделить себя от них. Верно ли я угадал причину этого умножения? Ритм языка. Язык заставляет говорить так и думать так. Важные следствия для народа, говорящего на данном языке, а язык дан всем народам, каждый народ говорит на каком-то языке, может быть, всемирная история вовсе не есть история духа или история производительных сил и производственных отношений, может быть, всемирная история есть история языков, и потому никакой всеобщей истории не существует, языки на самом деле меняются очень медленно, а их фундаментальные характеристики и вовсе не претерпевают изменений. Но зависит ли ритм от языка, или он определяется свойствами говорящего? К чему обобщения? Говорю так, как слышу¹⁴. А я все еще слышу¹⁵, он все еще слышит, даже предав себя миру. Мог бы сказать по-другому, но в этом есть какое-то очарование, да и по сути верно: предать себя миру – значит предать себя, какова логика, не споришь. Но и предав себя, он продолжал слышать обещание Александра, с этим ничего не поделаешь, даже уверившись в ложности этого обещания, продолжаешь его слышать. Неустрашимая иллюзия. Оглушая себя всем, что предлагает для этой цели мир, он по-прежнему слышал, что говорил ему Александр, вернее, что говорили ему вестники, и вот почему никогда не мог предать себя миру полностью. Все у него валялось из рук. Даже если он хватал и сжимал, рано или поздно схваченное вываливалось. Когда он прислушивался к вестникам, хватка ослабевала, он попросту терял интерес к тому, что держал, и ради того, чтобы не упустить из виду, из слуха голос, упускал то, что схватил. Такова краткая история его пребывания в мире. Больших

подробностей она не заслуживает. Он жил в ожидании Александра, зная, что тот никогда не придет. Если это можно назвать жизнью. Совместима ли жизнь с ожиданием? По-настоящему живет тот, кто никого не ждет.

Нет, такого с ним никогда не бывало, чтобы совсем перестать слышать. Иногда казалось, да, перестал. Но только на время, и недолгое. А потом возвращается. Ничто не дает полного удовлетворения. Никакая победа. А их у него было немало. Нужно ли перечислять? Поменьше подробностей. Дело не в них. Вот подходящая эпитафия: «он жил на вокзале, зная, что поезд, которого он ждет, не придет». Первым, чем следует здесь озаботиться – придумать себе эпитафию. Большинство придумывает девиз, и это выдает их невежество. Знающие же знают, что важнее сочинить эпитафию. Но нередко сердце его начинало стучать, когда вдали, на повороте, появлялся локомотив. Он поднимался и шел по платформе, навстречу, хотя давно уже уяснил, что платформы для поезда, которого он ждет, не существует, а раз нет платформы, на которую мог бы прибыть этот поезд, то ясно, что он никогда не прибудет, и вспомнив об этом, он поворачивал обратно еще до того, как увидел табличку с названием маршрута. Он шел обратно, сел в свое кресло, на свою скамью, и сердце его стучало, но он не поворачивал головы, не оглядывался, и говорил себе: нет, нет, нет, такого никогда не случится.

Не в том дело, что он отказался от Александра. От ожидания Александра – так точнее. Отказаться от Александра невозможно. Отказаться можно только от ожидания Александра. Чего он, по правде говоря, не сделал. Он всего лишь перестал связывать ожидание Александра с прикосновениями. Перестал доверять ароматам, звукам, прикосновениям (последним в первую очередь). Он перестал доверять вестникам, которым требовались органы чувств, чтобы доставить весть, чтобы явиться через врата восприятия¹⁶. Он закрыл для них эти врата, оставив их открытыми для всего остального. Впрочем, остальное его почти не интересовало. Говоря без обиняков, он решил жить одним разумом. Я уже говорил о том, что Александра разумом не найти. Но если ты не ищешь Александра, то почему бы не заняться ментальной атлетикой, интеллектуальной эквилибристикой? Сама по себе она чрезвычайно занята. А если к ней еще присоединить соперничество, стремление чем-то выделиться, кого-то опередить, то здесь и вовсе открывается бескрайнее поле для деятельности. И он открыл его для себя, когда отказался от ожидания Александра, точнее, от попыток узнать что-то о нем, приблизить его

появление. Все это так спутано, что мне придется рассказать две альтернативные истории, может быть, три. Надеюсь, хватит и двух. Порядок, в котором они будут рассказываться, ничего не значит. Обе истории равноправны. Их можно было бы рассказывать синхронно, если поручить это двоим, а налицо пока только один, и ему далеко до всеприсутствия и всемогущества Александра. Начать, пожалуй, удобнее с той истории, в которой Александр как раз лишился своего всеприсутствия, обретя взамен то, что можно назвать всеотсутствием: отныне Александра не было нигде, и он не посылал никаких вестников, он ничем не сковывал игру ума и не мешал разгораться костру амбиций¹⁷.

Первая история (порядок здесь произволен) начинается с того, что я признаю Александра иллюзией, фантомом предчувствия, предразмышления. Несмотря на то, что, как сказано раньше, отказаться от Александра нельзя, я от него отказываюсь. Не то чтобы я не желаю больше с ним иметь дела, я лишаю его самого важного – бытия. Это означает, что иметь с ним дело или не иметь – теперь одно и то же. Лучше всего, конечно, выкинуть Александра из головы, забыть само его имя. Мало ли на свете других имен? Достаточно, чтобы занять себя на всю жизнь. Итак, Александр вычеркнут из бытия, стерт из памяти. Не осталось даже пустого места. Это важно: пустое место указывает на того, для кого оно предназначено, в данном случае на Александра, и потому должно быть уничтожено вместе с ним, или после него, неважно. Остается широкое поле, ровное, будто закатанное в асфальт. Ни щербинки, ни выемки. По такому полю хорошо кататься на роликовых коньках. Вот кем я стал в этой истории – роллером, конькобежцем.

Отказаться от ожидания Александра – значит, слиться с толпой, стать таким, как все. Потому что никто не ждет Александра. Никто не ждет его так, как я, в прошедшем времени. Все чувствуют себя конькобежцами, роллерами. Если им что-то и мешает, то не мысль об Александре. И вот, отказавшись от ожидания, мысли, я теперь среди них. Не скрою, это приятно – чувствовать себя среди всех, при условии, что ты среди них не затеряешься, а вырвешься вперед, что бы это ни значило, когда все бегут по кругу. Состязательное начало заменяет созерцательное. Победы и поражения чередуются, но первых больше. Продвижение вперед. Круг за кругом. Дальше и дальше, по кругу. Ветер свистит в ушах. И приятное чувство собственной силы. Что может быть лучше? Ничего, если забыть об Александре, не ждать его и не думать о нем. Это делает твои движения раскованными. Александр, мысль о нем – будто якорь.

И это история – о том, как некто выбирает якорь, ставит паруса и летит вперед. Так, по крайней мере, кажется ему самому. Так кажется и мне.

Но что же представляли собой эти игры? Выбор большой – от преподавания языков до анализа рынка недвижимости. Может быть, он доказывал алгебраические теоремы или решал какие-то космологические проблемы, может быть, писал литературоведческие эссе или театральные рецензии. Чем бы он ни занимался, он занимался этим с одной целью – стать в своей области лучшим, самым известным, самым авторитетным. По духу он был спортсменом. Ему нравились соревнования. Он любил предстартовое волнение и даже в горечи поражения (а такое случалось) ощущал некую сладость. Впрочем, нет – как настоящий спортсмен он приходил в ярость, когда проигрывал. И это помогало ему готовиться к новым соревнованиям. Для прирожденного победителя в поражении нет никакой сладости, только горечь, отравы, яд, избавиться от которого можно, лишь одержав победу. Наполеоновский характер, хотя и проявляющийся в области, далекой от войны и политики. Мы все глядим в Наполеоны¹⁸. Ну нет, не все. И он был одним из тех, кто принадлежал к меньшинству, и хотел стать единственной единицей, обратив остальных из этого меньшинства в нули.

Любая история – вроде одноклеточного существа: в какой-то момент она проявляет стремление разделиться. Нет истории, которая охватывала бы все случившееся, произошедшее, поэтому, начиная одну историю, вскоре оказываешься перед необходимостью, потребностью начать другую, альтернативную этой. Так, например, забвение Александра, или отказ от ожидания, ведет в одном случае к жизни, основанной на конкуренции, а та, в свою очередь, неважно, жизнь или конкуренция, может принять самые различные формы: кто-то стремится стать лучшим аналитиком рынка ценных бумаг, а кто-то хочет стать лучшим из альпинистов. И он им стал. Постепенно он покорил все вершины. Семь вершин, включая Эверест, где едва не погиб, отделившись потерей миллионов мозговых клеток вследствие кислородного голодания и ушей вследствие обморожения. Он видел мир с самой высокой его точки, которая стала высочайшей точкой обзора после того, как он отказался от Александра, ведь до этого самой высокой точкой был Александр. Когда он ждал Александра, он чувствовал себя вознесенным над миром гораздо выше, чем альпинист, стоящий на вершине самой высокой горы. Но теперь, когда он отказался от Александра и от ожидания Александра, самой высокой точкой для него сделался пик Эвереста, 8848 м, и он не пожалел

усилий, чтобы подняться на него, хотя и допускал, что это будет связано с большими потерями, не догадываясь, правда, что станет главной его потерей. Поднявшись на высочайшую вершину, он понял, что цель его жизни достигнута, оставшиеся годы будут лишь продолжительным спуском. Ожидание Александра было хорошо тем, что никогда не заканчивалось. Александр не являлся. Его можно было ждать всю жизнь, и тем самым жизнь приобретала цельность стрелы, имеющей наконечник. Но без Александра она или рассыпалась на куски, или в какой-то момент оказывалась сломанной, теряла свое острие. Так с ним и произошло. Но все же он побывал на Эвересте и видел мир с высоты 8848 м. Этого факта ничто не могло отменить, перечеркнуть, хотя удовлетворение его было неполным: ведь на вершине Эвереста побывали и другие, и они видели то же самое, что и он.

На самом деле, забыв об Александре, он вовсе не забыл о нем: сам того не сознавая, он постоянно помнил об Александре. Память об Александре, ожидание Александра было фоном, на котором жили, по которому проносились все остальные мысли, и это мешало ему добиваться успеха, покорять вершины. Он так и не стал альпинистом. Тело его было сковано ожиданием Александра. Ему не хватало ловкости, цепкости, сосредоточенности. Он добивался небольших успехов, но на пути к большим его подстерегали непреодолимые препятствия. Мысль об Александре, подспудная, бессознательная, делала его неуклюжим. В чем же это проявлялось? Например, занимаясь математикой, он часто погружался в созерцание формул. Они выступали перед ним как эстетические объекты. Когда-то он ценил красоту природы и произведений искусства. Ему казалось, что все прекрасное свидетельствует об Александре. И теперь, занимаясь математикой, он не мог отвлечься от наглядного, не мог погрузиться в стихию абстрактного. Красота теорем, уравнений для других математиков была чисто умственной, логической, а для него она становилась наглядной, чуть ли не телесной, и это задерживало его на пути к вершине, он чувствовал себя улиткой на склоне, понимая, что никогда не достигнет вершины первым, по какому бы склону ни поднимался, и более того, не достигнет вершины вообще.

То же самое произошло с ним, и когда он попробовал стать профессиональным игроком в покер, бридж или еще во что-то, что, при удаче, приносило бы некоторый доход, на который можно было бы жить. Он не шулерничал, не играл в каких-то криминальных компаниях, все было законно, и, однако, с ним приключалось что-то странное, мешав-

шее игре, отвлекавшее от расчета вариантов, от наблюдения за другими игроками. Он вглядывался в изображения на картах. Лица валетов, дам, королей будто оживали. Они напоминали ему об Александре, хотя сам он этого не сознавал. Они отвлекали его от игры, и это мешало ему сделаться профессиональным покеристом, как и многому другому. Это воспоминание мешало ему во всех занятиях, и он ни в чем не мог добиться решающего успеха, такого, который изменил бы его жизнь, сделал бы его победителем, лидером, покорителем вершин. Он по-прежнему прозябал в долине, если так можно выразиться, потому что на вершине, конечно, холоднее, чем у подножья, что, впрочем, не может служить возражением, так как «прозябать» здесь употреблено в другом своем значении, никак не связанным с холодом.

Все это – другая история, выделившаяся из предыдущей. Не той, которая неопосредственно предшествует или предшествовала этой, а более ранней, по отношению к которой предшествующая непосредственно была одной из ветвей – так же, как и эта, которая будет рассказана, если ничто мне не помешает. В первой истории, или в первой альтернативе, он совершенно освободился от Александра. Его больше не томило никакое ожидание. Если он чего-то и ждал, то вполне конкретного, посюстороннего, что находилось в пределах досягаемости и обходилось без вестников. В этой же истории, второй, он продолжал ждать Александра, не признаваясь в этом себе. Он попытался начать новую жизнь. Но затея не удалась. Александр лишь опустил на дно его памяти и разлагался теперь там, словно утопленник. Яд непогребенного трупа отравлял все его мысли и чувства. Вот почему он не мог добиться больших успехов. В конце концов он отказался от амбиций, покончил с мечтами и зажил тихой, спокойной жизнью европейского обывателя. Предположим, что европейские обыватели живут тихо, спокойно, как и полагается обывателям, хотя на самом деле это не так. Многое изменилось, и Европа уже не та. Да, все это происходило в Европе, и это важно для повествования, как первого, так и второго, и всех последующих. Такое могло случиться только в Европе, и рассказывать таким способом, каким я это делаю, можно только в Европе. По крайней мере, так мне представляется, а я склонен доверять своим представлениям, в этом – залог успеха. Тому, о ком я рассказываю, не хватало доверия к себе, у меня же его с избытком, точнее сказать, у меня его ровно в меру, столько, сколько нужно, чтобы не запутаться в этих повествованиях и довести их все до конца.

Персонаж первой истории порвал не только с Александром, но и со всем своим окружением – родственниками, подругами, друзьями, со всеми, кто не имел отношения к его новому занятию, или занятиям. Он общался исключительно с коллегами и только на профессиональные темы. О своих прежних знакомых и близких он даже не вспоминал, как не вспоминал и об Александре. И этим он отличался от другого, персонажа второй истории, который никак не мог развязаться с прошлым, отвязаться от него. Прошлое было его навязчивым кошмаром, и он вспоминал о женщинах, которых любил, с которыми был близок, а потом бросил, чтобы заняться ремеслом. Такое повторялось не раз, он бросал одну подругу, но через какое-то время заводил другую. Александр мерещился ему в женских лицах, фигурах, движениях, голосах, и он снова влюблялся, а потом спохватывался и бросал ту, которую полюбил, и старался забыть о ней. Но не очень-то у него это получалось, и, как на морском дне скапливаются останки умерших рыб и других существ, так и на дне его памяти, поверх гниющего Александра, укладывались другие существа, и все это отравляло воды источника его жизни, лишало его ясности мысли, спокойствия, целеустремленности, всего, что необходимо альпинисту, дайверу, игроку, литератору, члену сената, профессору математики.

Здесь наступает некоторая заминка – как будто все уже сказано, все истории доведены до конца, все источники истощились, но нет, до конца еще далеко, хотя невозможно представить, или представляется немислимым, чтобы повествование стронулось с этого места, настолько оно сейчас неподвижно, будто срубленные деревья зимой¹⁹: кажется, что они крепко примерзли к земле, никакая сила их не сдвинет, все бесполезно, но это не так, ничто их не держит, достаточно легкого усилия, слабого толчка, порыва ветра, дуновения, да, дуновения, звука, засмейся – они и покатятся.

Что-то в этой погоде не дает пробудиться словам. Ни дождя, ни слов – сплошные серые облака. Солнцу через них не пробиться. Но что мешает словам? Неужели эти две истории и вправду завершены? Или их было три? Четыре? Уже не сказать. Сначала об ожидании Александра и вестниках, потом об отказе от Александра или от ожидания Александра (какой смысл ждать того, кто никогда не придет), и, следовательно, две истории, связанные с этим отказом. Итого три. Четвертая была бы о том, кто заменил ожидание Александра на разговоры об ожидании, то

есть обо мне. Но сегодня неподходящий день для историй, как старых, так и новых. Кое-что все-таки удалось сказать, и что еще важнее – остаться чувство, что сказано далеко не все.

Примечания

1. Кувшин (горшок), кобылица, девушка – примеры из диалога Платона «Гиппий Большой».
2. «Факты сознания» – философская работа И. Фихте. – «К сожалению, мы должны придерживаться фактов, ибо больше здесь ничего нет, придерживаться, цепляться, когда все рассыпается, кроме фактов...». – С. Беккет. «Безымянный».
3. «Но эти огни, во множественном числе, которые парят в вышине...» – С. Беккет. «Безымянный».
4. et cetera, ad infinitum, ad libitum (лат.) – и так далее, до бесконечности, по желанию.
5. «Лицо, как прекрасно было бы, будь это хоть иногда лицо... как было бы мило!» – С. Беккет. «Безымянный».
6. Рецепт коктейля «Бренди Александр» (Brandy Alexander).
7. «этот голос бу-бу-бу» – С. Беккет. «Как есть».
8. «Будь самим собою!.. Каждая юная душа слышит этот призыв днем и ночью...» – Ф. Ницше. «Шопенгауэр как воспитатель».
9. «Туринская лошадь» (2011) – фильм режиссера Белы Тарра. Прологом к фильму служит история о Фридрихе Ницше, который сошел с ума 3 января 1889 года на площади в Турине, увидев, как возчик избивает лошадь.
10. «Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют» – прелюдия К. Дебюсси.
11. «Заключение в скобки» (эпохе) – метод редукции в феноменологии Э. Гуссерля.
12. «Философия как строгая наука» – работа Э. Гуссерля.
13. «Ни поездов, ни самолетов» (1999) – фильм режиссера Йоса Стеллинга.
14. «...говорю как слышу...» – С. Беккет. «Как есть».
15. «Ибо тот, кому однажды довелось слушать, будет слушать всегда, независимо от того, знает он, что ничего больше не услышит, или не знает». – С. Беккет. «Безымянный».
16. «Двери восприятия» – книга О. Хаксли.
17. «Костер амбиций» (The Bonfire of the Vanities) – роман Тома Вулфа.
18. «Мы почитаем всех нулями, // А единицами – себя. // Мы все глядим в Наполеоны...» – А. Пушкин. «Евгений Онегин».
19. «Ибо мы как срубленные деревья зимой. Кажется, что они просто скатились на снег, слегка толкнуть – и можно сдвинуть их с места». – Ф. Кафка. «Дерево». Пер. И. Татариновой.

ЕЛГАВА 94

С латышского. Перевел Роальд Добровенский

От переводчика

В состоявшемся рассказе, романе все на месте. Само чередование строк, эпизодов, появление и исчезновение лиц формо- и смыслообразующими, а потому безнаказанно выхватить из целого те или иные куски нельзя: обрывы и срезы проходят по живому. И в то же время в состоявшейся вещи бери хоть наугад любую страницу – и получишь некоторое представление об авторском почерке и чертах лица. На это расчет и в данном случае.

Роман Яниса Йоневса «Елгава 1994» состоялся. На это в частности указывают переиздания на родном латышском, литературные награды, в числе которых и престижная премия Евросоюза, появление сценического варианта, съемки фильма. На сегодня книга о «трудном» латышском подростке переведена на французский, норвежский, эстонский, литовский, словенский, английский, появится вскоре на болгарском и польском; фрагменты русского перевода – перед вами, читатель.

1

Я в среду ходил на лыжах, съезжал с горы. Гора была большая, но не очень длинная. Я не упал. Я с нее съезжал много раз. Хорошо бы завтра упасть хоть разок.

(Гунтарчик. Тетрадь событий. 4 класс).

1994 год. Шагают мужички в клетчатых фланелевых рубашках. Елгава гудит себе потихоньку. Я еще постою в дверях библиотеки, подожду, пока они пройдут.

Я их немного боюсь, как и всего остального. Переждав, выхожу наружу и вижу, что небо светится.

Было как раз 5 апреля 1994 года.

Сделав два смелых шага, я увидел, что они стоят у продмага, заняв весь тротуар. Я не испугался, нет, я только не хотел их обидеть, демонстративно перейдя на другую сторону. Поэтому я решил свернуть налево и пойти домой кратчайшим путем, проходными дворами. Обычно я выбирал улицы, оставляя скрытые домами площадки футболистам и прочим деклассированным элементам. Но на этот раз я храбро свернул во двор.

Сразу за библиотекой на краю двора имеется странный объект – большой кирпичный куб с непонятными функциями, может, вентиляционная шахта адской раздевалки или что-нибудь в этом роде. И как раз на этом объекте восседали еще одни они. Уго, хулиган, года на два старше меня (Уго – не имя, а погоняло, как принято у бандитов) и двое еще таких же, мне не знакомых. Все трое курили.

Я попытался думать о чем-нибудь другом и незаметно миновать их. Не тут-то было.

Уго начал разговор:

– Какие у нас очки!

И второй спокойно добавил:

– Не беги, не беги. Поговорить надо.

Я остановился, повернулся к ним. Книжки у меня в руках почувствовали себя жалко, незащищенно, даже несколько провокационно.

Уго это заметил, осведомился:

– Что пишут?

Второй – уже тоном приказа:

– Быстро говори, что пишут!

Мне пришло в голову немало остроумных ответов, но я выбрал тихое:

– Много чего пишут.

Оба мои интервьюера обернулись к третьему. Тот обратил на меня взгляд, который наверно только мне показался до странности тяжелым, и сказал:

– Дай сигарету.

В этот самый миг вдали, за тысячи километров, за океаном, на другом континенте чья-то рука скользнула к ружью, ремингтону 20 калибра, кто-то там проверил магазин, убедился: да, заряжено.

Но здесь – здесь я помотал головой, движимый не жадностью или враждой: сигареты у меня не было.

– Тогда дай лат. Один лат.

Я ответил:

– Нету.

И подтвердил сказанное, разведя руками и таким образом выронив книжки.

Я наклонился, чтобы поднять их, но он не дал мне даже нагнуться до конца, оставив с лицом, уставленным в скудную почву города Елгава, человека, еще недавно верившего, что он покорит мир, и продолжал:

– Дай пятьдесят сантимов.

Я развел руками, благо они теперь были свободны. Он дошел до предела скромности:

– Дай двадцать сантимов.

На этот раз я соврал, отрицательно мотнув головой, и третий сказал:

– Ну, ты слишком много себе позволяешь.

Там, далеко, в этот момент лязгнул ремингтон 20 калибра, щелчок – как в кино, все готово к выстрелу, ствол нацелен в голову.

Здесь Третий преодолел тот единственный шаг, который нас разделял, я совсем близко увидел его подбородок, в голове моей зазвучала сирена, я очень хотел быть не здесь.

Там, далеко, пуля попала точно в цель, проломила череп, порвала мягкие ткани. Звук выстрела легко, легко всколыхнул водную поверхность ближнего бассейна, но его не услышали ни соседи, ни прохожие на улице.

Зато я кое-что почувствовал. Сирена смолкла, взамен зазвучало нечто вроде музыки. Казалось – что-то случилось, только неизвестно что. И что-то еще случится, а что, опять же неизвестно. Мне даже захотелось, чтобы мне врезали, чтобы меня побили, ну или хотя бы раз ударили, это могло бы начать, включить Событие. Я пригнулся, глядя мимо них, и начал тереть лоб, словно пытаюсь что-то вспомнить.

Уго вдруг соскочил с объекта и отчаянными жестами указывал теперь на себя, точно желая сказать что-то. Позже он рассказывал, что ясно слышал звук выстрела.

Второй, сидевший рядом с ним, в свою очередь услышал странную комбинацию из трех аккордов и вдруг почувствовал себя таким счастливым, таким счастливым, что чуть не заплакал от счастья. Сигарета выпала из его пальцев и прожгла рубаху, но на лице по-прежнему блуждала блаженная улыбка.

Третий, стоявший передо мной, единственный не слышал ничего. Так он упрямо твердил позднее. Его ошеломило медиативное выражение моего лица, он обернулся к своим подельникам, чтобы указать на мой идиотизм, и увидел Уго с руками, поднятыми в виде буквы “V”, и Второго – с блаженной улыбкой и в дымящейся рубашке. Крайняя фрустрация Третьего привела к тому, что двое других помогли мне собрать книги, а я поднял с земли горящую сигарету и вкусно затянулся своим первым дымком.

Никто из нас ничего не понял.

Я шел домой, точно хмельной, даже книги больше не волновали. Дома положил их на стол, с домашними не обменялся ни словом, не стал смотреть «Saved by the bell». Смотрел в окно на Елгаву, костяшками пальцев выбивая на подоконнике какой-то ритм. Было ясно, что домашние задания выполнять уже не хочется и не нужно, а чего хочется и что нужно, еще не было ясно. Вечером долго сидел у стола, не включая свет. Своей комнаты у меня не было, поэтому не включить я мог только настольную лампу.

Через пару дней радио SWH сообщило, что найден труп какого-то там Курта, лидера какой-то там группы Nirvana. Первая версия следствия, конечно, самоубийство. Радио-диджей выразил сочувствие и уважение, тут же высказав надежду, что это печальное событие не вызовет ажиотажа и наплыва фанатов, как оно случилось, например, после гибели Фредди Меркьюри.

Ха, ха, ха, ха, ха, ха.

Какой там еще Меркьюри, мистер диджей. Глотни-ка лучше местного бренди Merkürs.

Надеждам диджея не суждено было сбыться. Он их мог бы приберечь до ноября 1997 года, когда после шармантно-пикантной смерти Майкла Хатченса в полку поклонников INXS не очень-то прибыло. Но тогда, в апреле 1994 года, решилась наша судьба.

Понадобилось всего несколько дней, чтобы я это понял. Чтобы свое оправдание нашли интуитивно собранные газетные вырезки о незнакомых, невзрачных на вид музыкантах, теоретический и заранее мной самим осужденный интерес к опьяняющим веществам, предчувствие депрессивного эстетизма, искус бродяжничества. Пока что я просто чувствовал себя чудно. Не так, как прежде. Иначе.

Но ведь до этого я был хорошим ребенком. Безропотно слушался родителей, учителей тоже, хорошо учился и думал о прекрасном будущем в должности адвоката или президента, пребывая в которой, приведу в порядок мир и одолею нехороших людей. Я не имел ничего против того, чтобы стать умным, богатым и знаменитым. Что, в общем, одно и то же: если кто-то умен, он приносит всеобщую пользу, за что мир, само собой, должен отплатить ему деньгами, славой и счастьем. Наверное, и красивыми девушками, с которыми мне пока что не везло. Я не верил тем умным и нищим, хорошим и несчастеньким и одиноким. Мир должен был быть справедливым. И я хотел быть правильным в этом правильном мире.

И вдруг я оказался по ту сторону фронта. Словно все эти долгие четырнадцать лет копил не сведения о жизни, а силы для того, чтобы тосковать и мечтать о чем-то непонятном и бессмысленном. Почему, зачем кто-то должен желать быть Куртом Кобейном, всю жизнь страдать, вгонять в тоску других, жениться на неприметной шалаве и застрелиться? Разве не лучше быть кем-то из Take That, тем, кто улыбается, нравится клевым девицам и к тому же гребет деньги лопатой? Но мы вдруг оказались целой толпой (нет, все-таки не толпой, мы были теми немногими, кто вне толпы), сообществом тех, кто ненавидит везунчиков и перевозит худших.

*

Я сидел в кустах за школой, напротив Цыганской хаты, длинного деревянного строения с ненастоящими, нарисованными окнами (там и вправду жили цыгане целыми родами, в детстве мне другие пацаны рассказывали, что цыганам нельзя показывать зубы). По соседству туманно проступали также парк Алунана и какая-то крашенная будка, в местной топографии фигурировавшая под именем Спальни (вначале) или Сральни (потом). Я сидел вместе с Уго и прочими бандитами и курил. Там были и другие, тоже те еще фрукты, вообще знаменитости. Там был Призрак, один из трех или пяти братьев, живущих альтернативной жизнью, был и Нос, как раз его брат, парень вообще не из нашей школы, он только приходил в кусты посидеть за компанию. Тут же обретался и Диджей, человек видный и типа крутой. Я его очень опасался, а потому вел себя при нем с напускным равнодушием, впрочем, с оттенком хорошо спрятанного вызова. И еще какие-то трое, имен которых я не знал, с одинаковыми полудлинными волосами (по-настоящему длинных тогда еще почти ни у кого не было); у одного из неизвестных волосы были светлые, у второго совсем светлые, а у третьего жирные.

Говорил Нос. Чувак был старый, по меньшей мере двумя годами старше нас, поэтому в его словах чувствовался жизненный опыт, а в интонациях – светлая печаль.

– Один мелкий в Америке взял ружьишко, вставил дулом в рот, сказал – и я могу, как Кобейн! И ружье тут же само выстрелило.

– А мелкий?

– Сдох.

– Стволы, они чертовски чувствительные.

Нос печально взглянул на автора излишнего комментария.

– Спец по стволам.

Все на миг задумались. У меня тоже был вопрос.

– Как он мог говорить, когда ствол во рту?

Спросил и сам устыдился. Не умел перебороть в себе логику. Ее надо было задавить. Диджей горько рассмеялся и оповестил:

– Кобейн всю жизнь пел со стволом во рту. Вам этого не понять! – И сделал жест в сторону школы: – Fuck you!

Все помолчали. Я услышал, как Эол в Сральне играет “Something in the Way”.

Тот светловолосый (я его где-то видел, только не в школе) поджег половину сигареты и сказал:

– Кобейн жил в картонном ящике. У него всю жизнь болел живот. Потому и баловался наркотой.

Диджей снова присвистнул. Взмахнул в воздухе рукой, сказал, как отрезал:

– И правильно делал! Нам всем надо так. А то эти там, – он опять ткнул перстом в сторону школы, – говорят, что нельзя. Но мы – мы за Кобейна. По крайней мере я.

Тот с жирными волосами робко спросил:

– А где это взять?

Диджей таинственно-презрительно махнул рукой и слегка указал на Цыганскую хату.

Нос успокоил:

– Можно и пить. Водяру.

Диджей утвердительно мотнул головой, но братик Носа смущенно признался:

– Жутко трудно ту водяру влить внутрь.

Тут все оживились, посыпались советы:

– Можно закусить сигаретой!

– Или смешать с “Yurri”, – сказал незнакомец со светлыми волосами.

Я мысленно записал эти рецепты. “Yurri”, между прочим, был популярный в первой половине девяностых порошок, которым закрашивали воду, превращая ее в лимонад. Я со своей стороны посоветовал:

– Водку хорошо сосать через соломинку. Сунь пузырь во внутренний карман пиджака, бери соломинку в рот и соси. Ненормально, то есть, идеально можно наклюкаться.

Я говорил неестественно натуральным тоном о вещах, которых еще и не нюхал. Запах водки пока что знал только по дыханию отца. Про фо-

кус с соломинкой я слышал от сестры, она мне рассказывала то сё о пацанах из их класса. Во время своей речи я попытался представить себе – что же это за соломинка такая, что от внутреннего кармана пиджака достаёт до рта? Я же вру, и сейчас мои новые, незнакомые друзья, ненавистники лжи и лицемерия, меня разоблачат и пошлют к отличникам и задротам, на прощанье разбив очки об мой нос.

– Какой такой пиджак? – глядя на меня вызывающе, Диджей поднял руки и продемонстрировал свою рваную джинсовую куртку, покрытую надписями (шариковой ручкой) – “Hate”, “Incesticide” и “Fuck”.

Мне мама с папой никогда бы такого не позволили. Тишину прервал Уго, неожиданно сообщив, что вино тоже вещь. Мне вспомнился обед у старого маршала Ришелье, когда шведскому королю, присутствовавшему там инкогнито, был подан бокал токайского; напиток мерцал в бокале, как расплавленный рубин.

– Это же очень дорого!

Такое у меня вырвалось. Уго улыбнулся раз, другой и извлек из кармана бутылку. Сдул с нее пыль, показал этикетку, на которой несомненно читалось: вино «Загадка». Все зацокали языком.

– Ммм! Ооо! Ну, даешь.

Уго предложил бутылку распить коллективно. Мы все согласились. Но мое-то сердце сильно забилося. Вот-вот начнется урок. Школьникам надо быть на уроке. Я бунтарь по природе и обличью, я уже курю, неужели обязательно делать и еще что-то? Дайте мне ходить на занятия, одеваться как положено, слушаться старших. На самом деле я ведь уже с вами – вот тут, в сердце, в том, что бьется сейчас так неровно, так нервно.

Но в бутылке был алкоголь, он втайне всегда меня интриговал, так же, как рассказы о маньяках, деспотах, катастрофах. Еще двумя-тремя годами раньше одноклассники выписали из книг по истории эпизоды казней и пыток и читали вслух. Интерес к боли и обостренным чувствам мне был понятен – где-то ведь была та жизнь, которая должна когда-то начаться. В этом ряду был и алкоголь, он мерцал в бутылке, как концентрат беды.

И девушкам пьяницы нравятся (так сказал Блауманис). По крайней мере, девушкам в тяжелых сапогах на стройных ножках – точно. Девушкам из мира Курта. Я протянул руку. Уго спросил:

– Штопор есть у кого?

Так же, как все, я обхлопал карманы, точно бы там вдруг мог волшеб-

ным образом очутиться штопор. Все развели руками – эх, ну как же это, вот дурасть, ну, нечего делать, придется топтать обратно в школу.

Да, в школу приходилось когда-то возвращаться. Там воняло воском для натирки полов и мокрыми тряпками с мелом. И еще объясняли, как надо жить. По лицу схлопотать тоже не было проблемой. Все бегали, кричали.

Я учился хорошо, только физкультура не шла. Короче, типичный задрот.

В школе учили всему понятно. У задротов (они же буквари, они же зубрилы) хорошие отметки, но зато им приходится всего и всех бояться; бандиты сильные и спортивные, но тупые. Девушки или красивые, или их нет вообще.

Мы с Юргисом принадлежали к букварям. Жили в одном доме, вместе ходили в детский сад, в школе с первого класса сидели за одной партой. Вместе оставались и дома, строили корабли из стульев, устраивали битвы на ковре, а позднее пытались выжить в школе тоже вместе.

И вот – в школе вдруг что-то изменилось.

Как-то мы с Юргисом сидели в вестибюле за пальмой и фантазировали. Перед нами был лист бумаги, на котором мы чертили планы. И, как обычно, подошел какой-то бандит, схватил наш план, скомкал, бросил.

В тот раз этим бандитом был Уго.

Заметив меня, он положил комок, еще не брошенный им, обратно и сказал:

– Чао!

– Чао!

Это уже я. Уго помахал, что должно было означать не состоявшееся пока что рукопожатие и ушел, даже не обозвав нас лохами.

Меня охватила гордость. Вот ведь, школу можно сломить! Вот, мир меняется! Да здравствует Курт. Он нас хранит. Нас хранят безупречный аккорд и выстрел.

Я взглянул на Юргиса, чтобы поделиться радостью.

Но он мне сказал:

– Ты что – теперь с ними?

И смотрел ранеными глазами, глазами человека, которого только что предали. Я сказал ему:

– Что? Все ведь вышло хорошо!

– Тебе хорошо с ними? Может, ты с ними еще и куришь, и винчик распиваешь в кустах?

Чудак, ему, что ли, приятнее было бы получить по физии? Завидует моей победе? А он не унимался:

– Ты чокнулся, что ли?

А сам-то он? Сам каким он был в последнее время? Я ему нормально говорю:

– Так, хватит планы строить, начнем покорять мир реально.

Он отвечает жалобно:

– Это ведь была просто игра!

Нет, для меня это никогда не было игрой.

Я его нормально спрашиваю:

– Ты что, Нирвану не слушаешь?

Он отвечает:

– Не нравятся они мне. Орут.

Вот вам. Жизнь переломилась надвое. И я оказался на той, другой половине?

Но вообще-то звучит совсем неплохо – чокнутый. Ага. Разве это не то самое, о чем мечтает в глубине души каждый? Вырваться из повседневности, из привычного, удостовериться в том, что ты живой. Разве Курт не чокнулся? Я тоже. Я могу так же, как Кобейн.

Написал на парте: «Kurt Cobain 1964-1994».

Учительница Раудупите заметила и сказала:

– Но Янис, ведь не ты же? Ты ведь хороший ученик.

Хотела меня удержать. До этого я был вроде как любимчик Раудупите. Всему классу я ставил запятые. Происходило это так. Раудупите диктовала: читала предложение раз, потом еще раз, чтобы дошло до всех. При втором чтении я после каждой запятой стучал ручкой по парте. Острый, точный удар, как у Дейва Грола, который уже в то время играл, будучи мне не известным. И весь класс после моего удара ставил в тетрадах запятую. Потом Раудупите читала еще раз весь диктант, и я еще раз отстукивал запятые. С двоеточиями и многоточиями им надо было справляться самим. В отношении Раудупите я испытывал сладость маленького тайного предательства.

Учительницам вообще не нужно быть слишком хорошими. Помню первую классную воспитательницу Лиелкалну. Она была знаменита своей добротой и материнской заботой. Родители говорили:

– Как же вам повезло! Ну, если вы такую учительницу не будете слушаться...

Хуже нет. Лиелкальне в самом деле была точно из сказок Карлиса

Скалбе. Что-нибудь натворим, она сидит, уронив голову в ладони. Мы себя чувствуем негодяями. Притом, судя по словам учительницы, худшими из всех, какие только бывали.

Людям надо иметь право быть плохими. Проступки и наказания нужно бы сформулировать просто, как в магазине, – за убийство положена смертная казнь, за надпись в туалете получи выговор. Все честно-благородно, и никаких соплей.

В эпоху Курта такая ситуация была недопустима. И, ах ты мудрость природы, наш класс переняла Буркова. Прокурорская жена. С резким голосом и пацанской фигурой. Самое лучшее – драчливая, несправедливая, полная идиотских обид. Наши законные права к нам вернулись.

Нет, я уже никогда больше не буду примерным учеником. Но увлекаться неприменностью тоже не стоило – что на это сказали бы дома?

Ладно, что там Буркова. В данный момент надо мной нависла Раудупите. Правда, я этого не вижу и не слышу, занятый плеером, бродившим от парты к парты и только что прикочевавшим ко мне. Внутри – кассета, тоже не моя. Что-то новенькое. Pearl Jam – “Ten”.

Я дошел до главной песни. Прослушал, вынул кассету и, надев ее на шариковую ручку, отмотал назад: батареи тратить не полагалось. Послушал еще раз. Там все, все про меня! Я тоже тихий и грустный, и провожу время “At home drawing pictures”, все совпадает, разве что мне еще нет 15. Ничего, подожду. Если уж никому не приходит в голову взглянуть в меня, я отворю свой мозг, пусть видят. Больше того, это станет прекрасным посвящением песне. Тогда все поймут, что для меня по-настоящему важно. Весь класс.

„Jeremy” spoke in class today.

И я хочу, чтобы фоном тихо звучала эта песня. Как же она хороша. Уж не слишком ли хороша, не чересчур красива?

Меня трогали за плечо, я не глядя знал: кто-то хочет получить обратно плеер. Перебьется, пусть лучше ставит запятые! Но плечо по-прежнему трепали, и я тихонько высказался на этот счет, используя ненормативную лексику. Но мои тихие слова оказались вовсе не тихими, я не принял во внимание, что в ушах у меня на полную катушку включена “Jeremy”.

Передо мной, прямо над моей несчастной партией стояла Раудупите. С тоской во взоре. Она, оказывается, уже давно читала мне длинный реферат, но я-то его не слышал. Только ответил невпопад. Класс ликовал. Весь класс, только Юргис – нет.

Меня выставили за дверь. Сказали прийти с родителями. Из-за такой мелочи! Чуть ли не за каждым из остававшихся в классе числились дела и почище. Но со мной такое было впервые.

Я стоял в коридоре, один. Показался запыхавшийся мелкий. Поскользнулся – полы здесь натерали воском не только для вони, – быстро поднялся, посмотрел, не смеюсь ли я, и исчез в туалете.

Я потерял друга и учительницу. Но мне их не было жаль, ничуть. На горизонте, совсем близком, маячили в изобилии новые друзья и новые учителя, безумные и одинокие.

Я включил настольную лампу. Она была совсем старая, раньше освещала путь моей сестре. Сестра обклеила лампу переводными картинками от бананов: “Ecuador”, “Columbia”, “Costa Rica”. Они тут совершенно не годились, но отдирать было жалко. Ничего поактуальней у меня не было. Я написал на кусочке бумаги: “I feel stupid / And contagious”, полюбил и прилепил листок к лампе.

Открыл черный магнитофон “Crown”. Отец несколько лет назад привез его из Финляндии. Несколько лет маг стоял, почти нетронутый и новый, но теперь, работая фактически без передышки, живо состарился. Я вставил кассету, закрыл крышку, нажал play. Ничего не случилось. Открыл снова, вынул кассету (уже не без труда, она застревала) и увидел, что одна из головок лентопротяжного механизма соскочила. Я снял с головки пластмассовый колпачок и обнаружил, что виновата спрятанная под ним пружинка. Выбросил ее, поставил крышечку на место, вставил кассету, закрыл, нажал play. Звук появился. У меня тогда были золотые руки.

Звучал “Incesticide”, загадочный альбом – Nirvana, 1992 год. Я сидел, слушал внимательно. Какой странной казалась “Sliver”, насколько выглядела не-нирванно! И о чем там говорилось – о каком-то потерянном детстве, или? И тогда “Molly’s Lips”, даже боязно стало ее любить, песня показалась почти что попсовой. “Polly”, такая стремительная и молодая в сравнении с привычной версией “Nevermind”. В тот раз мне показалось, что поют про попугая или про кошку. “Polly wants a cracker” Я не знал, что речь о том трагическом событии, думал – как оригинально, о кошке. Но самой красивой была последняя песня, “Aneurysm”. “Love you so much, make me sick”. То были единственные слова, которые я мог понять, но их было ровно столько, сколько необходимо, чтобы понять, как хороши те, непонятые. Я не мог удержаться, чтобы не прибавить звука.

Из второй комнаты вышла сестра.

– Что это ты там слушаешь?

– Это Nirvana.

– Опять. Послушал бы что-нибудь другое. И потише.

Я не мог спорить с сестрой, ей ведь придется говорить с Раудупите. И последняя песня уже отзвучала, я вынул кассету. Что теперь? Карлис дал альбом Therapy – “Troublegum”.

Это была не Nirvana, точно нет. Но что ж, послушаем. “My girlfriend says / That I need a help”. Нет у меня никакой подружки, что за враки. Долой, что-нибудь другое. “My boyfriend says / I’d be better off dead”. Уже лучше. “Fuck you I gonna get drunk”, о, совсем хорошо. Вот лажа, дальше в текст никак не въехать. “All people are shit!” – ого, сказано довольно глубоко. Главное, резко и без компромиссов.

Это было чудесно – Ministry, Jesus Jones тоже, и Sonic Youth, и KMFD, и Psychopomps, так же, как Temple of the Dog. Этому научил меня Карлис, мой одноклассник с первого класса, до сих пор некультурный хулиган, на футболе пнувший меня однажды в живот. Теперь неизвестно почему мы начали разговаривать, и он мне как наркотик, как оружие, как запретную черепашку вручил несколько кассет. Их где-то раздобыл его брат. Карлис сказал, что они с братом слушают Нирвану с 5 апреля 1994 года, можете вы такому поверить?

Nirvana. Это все-таки было самое лучшее в мире. Правда, лучше даже, чем The Cranberries, лучше Dolores O’Riordan.

– Между прочим, она тоже пьет.

Это со знанием дела заявил мой друг Вербочка, человек уникальный. Пушистое соцветие вербы он напоминал лишь формой, содержание там было угловатое, ершистое, густое и невнятное. До этого мы с ним обсуждали, бывало, ассирийских лучников и корсиканское братство. Помню, мы на эти темы не могли в досталь наговориться – за разговором я доходил до его дома, а он потом провожал меня до моего. Теперь же мы говорили только о музыке и музыкальном образе жизни.

Я знал уже, что название «Загадка» обозначало не легенду вина, а происхождение и темное содержание. Снова смаковали ее, «Загадку», в заброшенной новостройке, – строить собирались, кажется, Дворец бракосочетаний. Теперь мы здесь, так сказать, сочетались браком с бутылочкой и сигаретами. Когда я в школе поведал об этом Юргису, он опять сказал:

– Ты чокнулся?

Меня это устраивало. Только спокойно. Чокнутый, но не слишком, а так, самую малость. Это ведь нравится девушкам. Пока что, правда, не действовало. Но ничего, я уже привык. Достаточно долго жил, чтобы понять, что девушкам я не по вкусу. Зато я чокнутый. Бесноватый. Немножко. В пределах разумного. Не волнуйся, мой друг и сосед по парте.

Компания Дворца бракосочетаний пополнилась некоторыми вполне взрослыми женщинами, лет восемнадцати. Они давно уже сумели напиться не раз и не два, из своих парней превратились в настоящих мужчин, а потому могли помочь в нашей беде.

– Перед этим не надо есть. На голодный желудок действует гораздо сильнее.

– А вы смешайте как можно больше разных видов алкоголя. Не пожалеете.

Эва была учительницей рисования, она на меня смотрела и что-то явно говорила мне взглядом. Я к этому относился как, скажем, к привидениям: что-то такое существует, но это неправда. Однако советы запомнил.

Я пил молча и концентрированно, ожидая воздействия. Ничего.

...В этот раз, когда мы закончили, оказалось, надо бежать на автобус, чтоб вовремя поспеть домой и не получить по уху. Путь проходил мимо «Бордертауна», возле него на этот раз, ожидая счастья, томился брат местного Дикаря. Он уговорил Ципу купить бутылку коньяка «Белый аист».

Потом, уже после аиста, я влез в автобус и подумал:

– Опять ничего.

Но это уже не волновало. Не удавалось по-настоящему удобно устроиться в кресле. В нем меня по-настоящему и не было, я был внутри фильма про себя, видел себя, плюхающегося в кресло. Фильм не был особенно захватывающим, однако раньше я его не видел, а потому некоторое время смотрел ленту с усталым интересом. Автобус уже проник в Елгаву. Я начал думать, что надо бы себя, эту марионетку, продвинуть к выходу, как вдруг меня осенило:

– Что, если это и есть то самое?

Да! Что, если я наконец интоксигирован алкоголем, наконец открылись двери сознания и я перешел в другое измерение?

Автобус вписался, пыхтя, в остановку, последнюю перед моей. Я уви-

дел с краю улицы водоразборную колонку. Эврика! Надо ополоснуть лицо холодной водой, и все как рукой снимет! Меня частично зажало в дверях, но наружу я выбрался.

В фильме о Елгаве тьма, пришедшая со стороны Лиелупе, накрывала девятиэтажки. Постепенно исчезли развалины несостоявшегося Дворца бракосочетаний, безумная башня церкви святой Анны. С внезапной усталостью я понял: никуда не нужно идти, ведь этот миг никогда не кончится. Как робот-недомерок, я склонился к железной колонке, схватился за ручку, дернул, в лицо ударил водопад. По моему лицу, крупно взятому камерой, текла равнодушная вода.

*

Если ты умеешь играть Нирвану, тебя даже война не коснется.

В надежде ввести мое растущее безумие в какое-то, хоть сколько-то человеческое русло, мама купила мне гитару за восемь латов.

Я взял ее в руки, освободил мозг, погрузился в нирвану и позволил говорить сердцу. Однако гитара звучала как-то иначе, чем сердце. Оказалось, не была настроена.

Я укутал инструмент в льняную тряпицу и обошел друзей. В основном все ссылались на каких-то Гиртсов и Эдвинов, те настроили бы так, что осталось бы только животом коснуться струн, чтоб зазвучала “Bohemian Rhapsody”. Но кое-как настроили и без них.

Я не мог ничего. Дома нянчил гитару и ждал, когда она заговорит. Она заговорить не желала. Я мог радоваться тому, сколь красив звук одного щипка, но как только пытался продолжить и взять хоть один аккорд, начинался нестрой и полный хаос.

Целая вечность прошла, прежде чем я расшифровал начало “The Man Who Sold the World”. Затем по каким-то бумагам полуосвоил некоторые песни битлзов. Следом еще кто-то показал, как играть “Tears in Heaven” Клептона, – кусочек, с помощью которого двадцать секунд можно было изображать из себя меланхоличного виртуоза.

– Идет это дело! Я, наверное, гитарный принц, да.

*

Классная руководительница представила нам новую школьницу. У нее были светлые волосы, телосложение, немного напоминающее гитару, и она улыбалась как-то странно. Как позднее выяснилось, самым

подходящим для нее именем было Миледи. От парт, за которыми сидели мы, парни, истекал неслышимый волчий вой.

Карлис ничего не говорил, но смотрел прямо на Миледи. Я не поддался нездоровому ажиотажу, масса – это не мое. Напрялил на себя стоическую ухмылку и думал о вхождении крестоносцев в Константинополь.

После уроков хотел подойти к Карлису. Поговорить о Pearl Jam. Прийти в себя, вернуться к людям. Получить подтверждение своего существования от самого крутого джека в классе. Но Карлис уже говорил с Миледи.

О чем они могли говорить?

Я пошел из класса. У открытых дверей она обратилась ко мне.

– Тебе нравится латышская литература?

– Что?

Мимо пробегала вся школа. Миледи улыбнулась.

– Конь в пальто.

И снова улыбнулась так, что весь мир раскололся.

– Это шутка такая. Не слишком литературная. Я ведь из деревни. Но послушай...

Я недоверчиво глянул поверх ее губ.

– Тебе же по-настоящему не нравится эта Нирвана, а?

Я не понимал, к чему она клонит. Проверяет? На кого вы работаете, девонька?

– Нравится.

– Странно. С виду ты как будто потоньше.

И ушла, только юбкой прошелестела.

– Пусть у меня ничего не выйдет с Миледи, пускай ничего не выйдет, это не то, что мне нужно; лучше я и в самом деле научусь играть на гитаре!

Почему мы воображаем, что кто-то должен выполнять эти самопровозглашенные правила? Когда я вернулся домой, с гитарой у меня не получилось абсолютно ничего. Когда вернулся в школу, Миледи на меня не смотрела.

*

В Елгаве все решительней звучали grunge, альтернативный рок и музыка безымянного жанра, в котором несомненно угадывался самый доподлинный underground.

В тот вечер в Елгавской художественной школе собралось чуть ли не все городское подполье.

Школьный зал был переполнен. With Cut не собирались кокетничать и, не ожидая требований публики, начали со своего лучшего хита:

Ненавижу тебя, ненавижу себя,

А кругом горит преисподняя.

На сцену вскочила пара фанов. Публика в большинстве расположилась на полу, кто мог, прислонились спинами к стене. Мои кореша сидели у самых дверей, чтобы ближе было выйти курить или рыгать, и поочередно прикладывались к своей темной «Мангали».

With Cut уже выдавали следующий номер:

У них была жизнь!

У них была дурь!

Гром и молния, ясно, что у кого была дурь, у того и жизнь была тоже. Но где мне-то добыть свою жизнь?! Я внимательно смотрел на орущего Гинтса: осознает ли он себя, как рок-звезду, возвещающую пронзительную правду?

Мы жили,

Не зная, зачем,

Приканчивая друг друга.

Убили мозги, шибли разум,

А жить не умели все разом.

Я пробрался ближе к сцене и влился в толпу фанов. Я прыгал и чувствовал себя причастным ко всей альтернативной культуре, ко всем людям, окружавшим меня, и особенно ко всем тем, кто в этот вечер сюда не попал. Я думал о них необычайно тепло и прыгал, кажется, выше всех. Но песня кончилась, и я застыдился.

Вернулся к девушкам. Эва погладила меня по плечу и протянула бутылку с круткой. Меня, невротического юношу, такие проявления нежности смущали. Со сцены звучали значимые слова:

Теперь нет будущего. Нет Будущего.

Жить хочется, но не получается.

Эва была из поселка Накотне – то есть Будущее. Накотне находится в Елгавском районе. Но With Cut ясно сообщило – будущего нет. Поэтому я решил больше не иметь дела с Эвой, а полностью посвятить себя рок-н-роллу.

Гитарист With Cut Гатис пользовался особым признанием, он ходил, улыбаясь вовсю, и рассказывал:

– Одна тут уверяет, что я играл громче всех!

А вот наш Гатис был куда скептичнее. Он высказался без затей:

– Говно сплошное эти With Cut.

И пошел с ними здороваться. Он всегда всех знал.

Я стоял и думал про говно. Как так? Это же настоящая группа. Настоящий андерграунд, елгавский grunge. Как их можно поносить?

При любом удобном случае мы забирались на крышу. Нам там нравилось. Часто карабкались на ту самую кровлю недостроенного ЗАГСа. Антимир, из которого хорошо просматривался мир. Сверху. Там никто не видел, что мы курим. И очередную «Загадку» случалось, так сказать, разрешить.

Еще выше была крыша стоявшей недалеко девятиэтажки. Здание торчало в жилом районе под названием Жуковка или, в просторечии, Жучка. Тут приходилось быть осторожными, пробираясь на крышу через люк.

Но оно того стоило. Отсюда можно было видеть все – и незавершенную обитель женихов и невест, и школу, тоже не законченную, и констатировать, что ты в жизни вознесся куда выше. В одну сторону открывался вид на Большую улицу, изгибающуюся по направлению к центру города. Там были три одинаковых строения, на стенах которых вместо окон красовались надписи: «Труд», «Мир» и «Свобода».

То были суровые времена. В Центральной тюрьме Елгавы по-хозяйски всем вершил Харитонов. Там он освоил латышский язык, компьютер, много читал и занимался спортом. Его дружки держали связь с улицей Гарозас и переправляли через тюремную ограду всякое добро, и никакая полиция ничего не могла с этим поделаться. В Заречной тюрьме было и того хуже. Там сидел брат Юриса, которому я однажды отказался отдать свой маг. Магнитофон он раздобыл где-то еще и пропил, у меня же появился могущественный враг.

С другой стороны Большая улица превращалась в Добельское шоссе и вела в Накотне, то есть в Будущее, – надо же так назвать захудалый поселок! – с которым я обещал себе больше не связываться. Эва, правда, сидела рядом, на той же крыше. К чему было ей, молодой, красивой женщине торчать на крыше с подростками? Тогда я не задал этот вопрос ни себе, ни ей. Мне тогда это место казалось единственным, где человеку может хотеться быть. Наихудшее место на свете.

Там были и Гатис, Синус и Качок. С собой у нас были две полуторалитровые бутылки пива. У автовокзала пиво продавали на разлив, пятнадцать сантимов литр. Пиво было вкусное, особенно если холодное. Там же рядом валялась пачка «Hollywood» и популярная в девяностые годы игрушка йо-йо.

Синус подошел к краю крыши и посмотрел вниз.

– Если б не было страшно, рраз – и прыгнул бы.

Он посмотрел на нас, потом опять вниз.

– В жизни нет смысла.

У Эвы был низкий голос:

– Это клево, что в жизни нет смысла.

Она взглянула на Синуса.

– Не стой так близко к краю.

– Все в порядке, я ведь боюсь.

– Синус, прошу, отойди от края.

Я вскочил и тоже подбежал к самому краю. Носки туфель перевесил через край и слегка нагнулся вперед. То была игра, которую я сам придумал. Надо было нагнуться так, чтобы увидеть первый этаж. Если стоять дома на ковре, такой наклон почти не заметен, но здесь – ого, как ощутим. Так я там сгибался. И никто не позвал меня обратно, так что приходилось наклоняться вперед все больше и больше. Хорошо, Гатис догадался сказать:

– Пива хочешь?

Точь-в-точь как поэт Вейденбаум, я тут же променял смерть на пиво.

*

Вы спросите – здесь говорилось про рок-н-ролл, про наркотики. Но где же тогда секс? Ведь речь о времени, когда мир был свободен и девушки фломастером писали на заднюю часть джинсов “Rare me”?

Да, как-то однажды в нашей школе начали преподавать науку здоровья. Учительница жутко стеснялась и улыбалась, как паралитик. Она объясняла, что нам следует знать о мире секса, о половых органах и поцелуях. И, кое-как доведя до конца первый урок, объявила:

– К следующим занятиям у вас будет домашняя работа. Займетесь рисованием. Тема – поезда.

В классе воцарилась тишина. Я молчал, ибо по-фрейдистски услышался. Вместо существительного во множественном числе услышал другое, в единственном. Мои одноклассники тоже, я потом с ними об этом говорил. Поразило, что наша до этого неизменно солидная учительница употребила столь прямое выражение, но видимо, так нужно для познания окружающего мира. Ладно, но как же выполнить домашнее задание? Я соответствующий объект еще знал не настолько хорошо, чтобы изобразить достоверно. И прозвучал потрясенный голос (столь усердны мы были!):

- Что, что нужно рисовать?
- Я же сказала: поезда!
- Что? Что-что?
- Поезда!

Оказалось, это был такой психоаналитический тест. Нарисованные предметы предстояло проанализировать, и каждый мог узнать, сечет ли он в сексе или отстает в этот вопросе, или он вообще гей и т. п. (Поезда. Ну конечно же! Нечто продолговатое, энергичное, стремительное. И потом, эти тоннели. Больше всего их вроде бы в Норвегии. Или в Швейцарии?).

Учила нас, однако, не столько школа, сколько жизнь.

*

На обратном пути я завернул к Эве. Она жила в самом дешевом квартале, почти в трущобе, тамошние дома по местной терминологии были не дома, а курятники. Жилища были по большей части брошены и разорены. Но в некоторых люди еще жили. Я встретил Эву во дворе. Она сказала:

– Вот и хорошо! Инга сейчас придет. Раздобыла какой-то ликер.

Что ж, тогда надо зайти. Не знаю, как это получилось, но, отпирая дверь, Эва оставила ключ в замке. Переступив порог, я захлопнул за собой дверь, и замок – это был какой-то уродский замок – сам собой защелкнулся. Мы оказались классически заперты. Бросились стучать в закрытую дверь, но вскоре поняли, что надеяться не на что. Кажется, это была единственная на этаже обитаемая квартира.

– Что нам теперь делать?

В голосе Эвы звучало отчаяние. Она откинулась на постель, что символизировало бессилие человека перед лицом судьбы или случая. Делать и правда было нечего. Поэтому я взглянул на нее. При падении на кровать рубашка ее задралась, и я увидел живот, он был плоский и сильный. Открытую часть тела с другой стороны ограничивали брюки. Брюки мы все выбирали как можно уже, чтобы отличаться от рэперов, которые понемногу тоже начали осознавать себя как клан, а свою принадлежность к такому обозначали как можно более широкими брюками, так называемыми трубами.

Брючки Эвы, особенно узкие, были сильно стянуты между бедер, и вдруг представив, что там, под джинсовой тканью, я ощутил тяжесть. И не только на сердце.

Я сел с ней рядом на кровать и, чтобы успокоить в создавшейся неприятной ситуации, поцеловал. Мы и раньше изредка обменивались поцелуем-другим. Но сейчас мы были в кровати. Я не забыл Миледи, не забыл также, что Будущего нет и что меня раздражило тогда на концерте ее прикосновение. Но сейчас была эта ситуация отрезанности от мира, принадлежавшая только нам. Я стеснялся положить руку на ее голый живот, поэтому положил на одетую грудь.

Она не взглянула на меня потрясенно или очарованно, но удивилась. Эта молодая женщина, которой стукнуло восемнадцать, конечно, должна была удивиться. Ибо что понимает человек в восемнадцать лет? В четырнадцать – еще кое-что, в восемнадцать – уже ни-че-го. Она отвела взгляд, – взгляд, но не себя, грудь под моей рукой поднялась и ушла вглубь. Почва под моими ногами поступила так же. Я волновался.

Почему, спрашивается, я волновался? Что такого могло случиться? Только закономерные вещи. Но тут появилась, как и было обещано, Инга со своим ликером и открыла дверь. Эва метнулась ей навстречу, поблагодарила за спасение и рассказывала, что случилось с замком, я остался на кровати один со своей рукой.

*

Домой я в тот вечер мог не спешить. Остальное семейство отбыло в садовый домик в Озолниеки, оставив меня легально куковать в Елгаве.

Я шел один и думал об этом времени со всеми его странностями. Чего нам всем не хватало? Мы были в шаге от победы или в шаге от поражения, это я чувствовал. Ощущение это росло, усиливалось, пока я вдруг не почувствовал всеми фибрами – на город обрушилась свобода. Нет, не обрушилась, а пролилась мягко, как летний теплый дождик, под которым все же умудряешься промокнуть до самых костей.

Это так невероятно: ты определенно чувствуешь, как свобода льется на твой город, а город молчит, будто сдох. Это все равно, что стоять на улице, смотреть на окно, за которым кто-то, кого ты любишь, и обращать всю свою любовь к этому окну – ведь не может быть, чтобы оно не открылось?

Я начал думать о Миледи, о том, как мы не подходим друг другу, как хорошо, что я ей не нравлюсь и что она выбрала брата Карлиса.

Было бы еще что-нибудь покурить.

Я дотащился до дворца. Ради смеха повернулся не в сторону дома, а повлекся через мост на ту сторону Лиелупе.

На мосту остановился. Перегнулся через перила. Так поступает любой человек, каждый перегибается через перила, чтобы ощутить в себе тягу к падению и глубине. Когда это приелось, я посмотрел в сторону центра – там не было ничего. Тогда я взглянул в другую сторону, на Заречье.

Оттуда шла целая толпа. Темные тени надвигались бесшумно и споро, превращаясь на глазах в молодых и не очень, в бритоголовых людей. Их было много. Они были непривычно тихи, не орали, не ругались. Столь же необычными были их шаги – они двигались напористо, быстро, некоторые почти бежали. Моя душа ушла в пятки – вернее, она бы с удовольствием прыгнула в Лиелупе. Но ведь эти надвигались прямо на меня – молчаливая, грозная боевая сила.

Я прижался к перилам, надеясь выглядеть их частью, не заслуживающей внимания. Что случилось, кто наслал на меня целую армию бандюг? Они близко, совсем близко! Уже рядом. Упертые взгляды, нервные губы, вот они... Теперь острые профили, бритые затылки. Они миновали меня, ряд за рядом. Когда пробегали последние, один обернулся, окинул взглядом, но тут же продолжил путь. Я смотрел им вслед. Такая кодла, и не привязались. Кто такие? Урлы-призраки?

Провел руками по лицу и решил, что мне пригрезилось. Пора домой. Но перед этим постоять чуток на мосту, опомниться. Хотелось отсрочить вероятную повторную встречу с привидениями до того, как город их переварит.

Не знаю, как долго я бы еще там так тупо стоял, но тут рядом остановилась машина. Это была полицейская машина, и из нее вышли полицейские.

– Не двигаться! Руки вверх!

Полицейский бросился на меня, швырнул на перила.

– Сука!

Двое схватили меня за руки, третий выстрелил в лицо пучком света. После приключений этой ночи мне было уже все равно, старался только не напустить в штаны. Но кое-что заставило меня вздрогнуть. Пока те двое молча изучали мою персону, в секунду-другую тишины я кое-что услышал. В патрульной машине звучала “About a Girl”. Наша музыка проникла даже в машины врага.

– Не то! Волосы!

И полицейский подергал меня за волосы, больно.

– Что ты здесь делаешь? Ты вообще хоть что-нибудь соображаешь? Исчезни!

К Нирване присоединился голос, что-то хрипло и неразборчиво сказавший по радию. Полицейские кинулись к машине. Визг колес, и они умчались в сторону центра.

Я еще не знал, что на следующий день в газете («Земгалес Авизе») будет сказано: «Елгавчане, будьте бдительны, не открывайте двери незнакомым людям, не берите в свои машины случайных попутчиков». Этот приступ мизантропии был вызван ночными событиями. Из Заречной тюрьмы, проделав дыру в стене прачечной при тамошной бане, бежали 89 заключенных Четвертой колонии. Мировой рекорд! Елгава – это, я вам скажу, что-то.

Я еще не знал, что город, отданный во власть свободы, придет в движение. Мне кажется, эти ловкие зэки в действительности были только символ, метафора. Знак нашего освобождения.

Там, на мосту я об этом не думал. Я почувствовал себя предателем. Нет, чувство было такое, что Курт предал нас, чтобы я теперь предал его и потопал дальше. Такое, словно кто-то еще раз умер, чтобы мы могли стать еще свободней.

Осень уже была близка, и в реке дрожала холодная Луна.

2

Школа изменилась. Конечно, она менялась и раньше. Нирвана сумела объединить и примирить всех. Песни об одиночестве и страданиях всех нас сближали и радовали. Все очутились на одной стороне. Юргису нравилась акустическая версия “All Apologies”, спокойная и красивая; Карлису – агрессивная “Negative Creep” из альбома “Bleach”, Миледи – “Where Did You Sleep Last Night”, до половины так салонно элегантная, хоть слушай ее вместе с мамой, зато к концу может порвать тебя криком напополам. Мне тоже очень нравится эта песня.

Во времена Нирваны всем было хорошо. Но время шло, и некоторым уже не было покоя. Если друзья – все подряд, то настоящие ли это друзья? Первые места в топах и рынок – разве так оно задумывалось поначалу? Потому Курт и застрелился, он все понял. Он не хотел быть звездой, мы его предали, не предавая его.

Поэтому мир опять стал другим. Он больше не был ни целиком плох, ни целиком хорош. У Carcass есть такая песня – “Polarized”. Так вот, в обществе произошла поляризация. Или оно поляризовалось само. Так или иначе, наши опять были в меньшинстве. Мы наконец-то вышли на дорогу, по которой не хотели идти все.

Мы сознательно и открыто шли туда, где неправильней. Но большинство осталось на той, правильной стороне.

С тихой дикой радостью я заметил, что и Миледи не акцептирует нашу вторую сторону, делает большие глаза и кривит губы. Такой уж красивой она вовсе и не была.

Мне вообще нравились только девушки металлистов. Они двигались по школьным коридорам с таким видом, будто именно так шагали по ним всегда. Длинные, свободно спадающие волосы, свитеры с длинными рукавами, рваные джинсики или брючки до пола. Тяжелые сапоги или кеды. Сапоги они, должно быть, отнимали у отцов. Но когда они успели отрастить такие длинные волосы! Научите и меня! Нет, это были те девочки, которые лишь теперь расплели косы. Которые до этого не бросались с головой в жизнь – в отличие от тех других, укоротивших юбки и волосы, эти девочки оставили свои локоны, радость отцов, и теперь волосы их развевались во славу поэзии металлистов. Невидимые под длинными юбками ноги были так прекрасны. И они сами тоже, я удивлялся, отчего они так красивы? Я тогда еще не прочел у Кафки – «Эти, виновные, – самые красивые».

*

– Что ты пишешь?

Из соседней кабинки доносился чарующий звук, с каким ключ запечатлевает слова на побеленной штукатурке.

– Metallica.

– Почему?

Это, без сомнения, был тоже метал, но метал попроще, не столь радикальный.

– Что «почему»? Классика.

Стенка кабины позволяла мне быть невидимым, а значит, и бесстыжим:

– И Миледи нравится?

– И ей тоже.

Трудно мне было тягаться с Карлисом. Так же, как во всем остальном, он и в музыке был всегда впереди. И все же, все же, до конца ли и все он сечет.

– Мне тоже нравится больше всего у „Fourth Dimension” та первая песня, та медленная, „Aposcalypse”.

Карлис молчал. Я вытирал ключи туалетной бумагой и продолжал:

– Это нормально, что нравятся красивые песни. Нам слишком через многое надо бы переступить. Ничего не поделаешь! Если уж начали, останавливаться нельзя. Надо слушать все более тяжелый музон, и на фиг всех, кто не слушает!

*

Тут они все были: Зомби, Смерть, Карлис, Карлисов брательник, Шолис и друг Шолиса. Я был рад вернуться в реальность, оказаться снова среди своих в пахнущей ржаным хлебом Земгале. Брат Карлиса сказал, что, мол, хватит тормозить, пора на концерт, Зомби отрезал – все давно уже были бы там, если б ты не чесал муде так долго у себя дома; так или иначе, мы потянулись к входу. Карлис с братом и впрямь как-то протиснули нас вовнутрь, обменявшись парой слов с контролером на входе. Мне в таких случаях всегда неловко спросить, как это им удается. Это все равно, что отнять у человека его заслуги. Так не делают. И страж у входа посмотрел на нас со всей строгостью, давая понять, как нам сильно повезло.

Между прочим, Шолис и друг Шолиса от этой возможности отказались. Сказали, что пройдут попозже. Это показалось мне странным. За вход надо было платить целый лат!

Я эту группу не знал, но название – Другая сторона – мне нравилось. „Break on through to the other side!” Может быть, не прямо метал, скорее такой тяжелый альтернатив. Кто знает. Они уже взбирались на сцену. Выглядели как обыкновенные джеки. Но металлисты тоже могут выглядеть как обыкновенные джеки. Они начали музицировать. И это был совсем, совсем не метал.

– Это что?

Брат Карлиса – резко, не мне, а Смерти:

– Надо поддержать местный музон. У тебя есть другие варианты сегодня? Можешь уматывать.

Тут обозначилась неодинаковость наших подходов к музыке. Братья были действительно меломаны и патриоты, и ценители события. Смерть был идеологически принципиальней и сказал мне:

– Да ну их. У меня есть плеер.

Мы сели в кустах и слушали плеер. У Смерти была с собой кассета, и я слушал. Это было что-то трудно различимое, этакое пыхтение полуповерженного великана, один кусок был тихим и медленным, почти ничего нельзя было слышать. Смерть заорал мне на ухо со всей силы, думая, что нужно перекричать музыку:

– Слышно?

Лицо его было очень серьезно, как всегда, когда говорили о музыке. Не дождавшись моей реакции, Смерть отнял у меня наушники и послушал сам:

– Дерьмовый звук, ты почему не сказал?

Он на миг заскучал, покрутил обе кнопки плеера и дал мне следующую песню:

– Эту оцени!

Теперь можно было слышать, даже Другую сторону перешибло. Это было что-то и впрямь тяжелое, энергичное, оно встряхивало, трясло и пинало. Я больше не мог молчать и сказал:

– Вот не знал, что Benediction такие клевые.

– Это же не Benediction.

– Как?

Я указал глазами на цветную бумаженцию под крышкой кассеты.

– А! Это я просто так вложил. Не было настоящей кассеты под рукой.

Так люди, не принимающие всерьез отношения предмета и слова, делают других идиотами.

– Тогда что это такое?

– Латвийский товар. Huksvarn.

– Как латвийский?

– Группа такая. Huksvarn.

В Латвии играют метал! Как это может быть? Да, панки, да, гранж-группы, но метал – это ведь нечто далекое, таинственное. Это было словно открыть Плутон и тут же узнать, что Плутон в соседнем дворе. И не какой-нибудь там захудалый. Настоящий Плутон.

– Они из Елгавы.

Смерть продолжал сотрясать мой мир:

– Есть уже всякое разное и у нас. Heaven Grey, Железный волк, Dies Irae.

– Все из Елгавы?

– Ну, не так чтобы все...

Тут, разумеется, подошел Карлис с братом, притом взволнованные.

– Что вы тут?

– Ничего.

– А там раздрай. Жуткий армагеддон. Попса терзает длинноволосых. Вы тут расселись и яйца чешете! О, чипсы!

Схватили по горсти и умчались. Смерть шмыгнул носом и высказался:

– Нам нужно свое место.

– Да. Обязательно надо такое устроить. Где-нибудь подальше.

– А почему ты не ходишь к нам в Железку?

Не могу же я сказать, что мама не пускает.

– Мне как-то лучше одному.

*

И вот Рига. Пришло время по возможности точно и честно описать этот феномен – Биржу. Она имела место быть на небольшой лесной поляне. Здесь собрались человек двадцать. Иногда кто-то исчезал в кустах, вместо него тут же возникал другой, арифметически это не обязательно было один к одному. Для удобства посетителей на поляне сходилась несколько тропинок. Главная тропа шла от конечной остановки троллейбуса. Слева от нее обретались мужички лет пятидесяти. Один из них разложил на земле пластинки, вроде бы на продажу, но не слишком демонстративно. Я хотел подойти к старым и взглянуть, что у них за пластинки. Мне ведь нравилась всякая старая музыка. К примеру, битлзы. Раньше – потому что такие знаменитые, теперь – потому что были такими чудаками.

Но я сюда пришел не ради битлзов. Поэтому ввинтился в другой кружок. Справа от тропы. Здешнюю публику можно было разделить на три группы.

Была пара девушек, длина их волос состязалась с длиной их же юбок. Но казалось, что не они тут соль земли, нет, они, скорей всего, пришли с кем-то.

Я хотел принадлежать ко второй группе. То были джеки с длинными волосами и другими дефинирующими атрибутами. Кожаные куртки, длинные пальто, металлические браслеты. Они казались более настоящими, чем наши, елгавские. У каждого на рубашке красовалась какая-нибудь надпись: Amorphis, Slayer, Cannibal Corpse и много еще чего. А волосы, волосы! У одного была даже борода, самая длинная из виденных мною бород, она перемешалась с волосами, ниспадавшими потоком, что символизировало философский подход к миру, бунт и внутреннюю эмиграцию. Этого человека точно можно было вставлять в толковый словарь иллюстрацией к слову «металлист».

Третьи были странные. Совсем, совсем обыкновенные люди, старше, чем во второй группе, но моложе пожилых хиппи слева от тропы. Одетые в суконные брюки и пестрые джемперы. С короткими приче-

сками. Это были обыкновеннейшие люди на свете, но чувствовали они себя здесь как рыба в воде и, казалось, воплощали собою каждый свою правоту и принадлежность.

Циркуляция музыки, взглядов и всего прочего происходила так, что все они просто стояли и разговаривали.

Все здешние разговоры вертелись вокруг метала. Подошел мен с еще более длинными волосами и авторитетно сообщил, что Cannibal Corpse после „Tomb of the Mutilated” ничего путного не произвели. На нем самом, правда, был топ с надписью „Bleeding”, а „Bleeding” издан все же позже, чем „Tomb of the Mutilated”. Этот человек в загадочной рубашке, человек, с которым я тут же познакомился, был не простой человек. Он меня вдруг спросил:

– У тебя нет сигареты?

Голос у него был усталый, как бы сонный. И глаза, все время вроде полузакрытые. Получив сигарету, он протянул мне руку:

– Том. Синистер.

Да, милые мои, так вот запросто я познакомился с Синистером. Точно так, это и был сам Синистер. Которого сегодня знают все и у которого 1835 друзей. Но с кем я только в тот день не познакомился! С Каннибалом, откликавшимся и на имя Гинтс, присутствующим при всех рижских событиях, связанных с металом, настолько неизбежно, что возникало подозрение – не сам ли он их причина? Притом везде и всегда Гинтс был трезв и все фотографировал. Он еще и солист латвийской группы Denervation. Я не знаю даже, всходила ли эта группа когда-либо на сцену, слишком уж тяжелой она была. Познакомился я и с Эриком по прозвищу Крабатор, одетым в рубашку Amorphis; он знал о музыке всё и на все мировые события реагировал с той же печальной улыбкой, в то же самое время непрерывно рассказывая о забавных происшествиях из собственной жизни. Там был и Веном, один из отцов латвийского blackmetal, чистосердечно признававший, что на этот путь его подвиг человек по имени Sonnenmensch, который, кстати, тоже был здесь, на Бирже, мрачный меломан, ежедневно прослушивавший 10 альбомов. Там был также молодой человек по имени Водяра. Чем он знаменит, я запомнил.

Я стоял с ними рядом на лесной поляне, и чувство было такое, точно под ногами у меня не опавшая хвоя, а земной шар. Новые друзья время от времени выступали с декларациями-манифестами.

– Как меня достала эта Heaven Grey! Самое время этой группе рассыпаться!

Я не верил своим бедным ушам. Heaven grey была самая видная в то время латвийская death-doom группа, они звучали почти как заграница. То был наш Олимп, доказательство, что люди могут летать в космос! Я испытывал тихий ужас, слыша, как их поносят, но и тайный пьянящий восторг, благодаря природному инстинкту, ставящему под сомнение любой авторитет. Ах, эти невероятные рижане.

И не было ли самым невероятным то, что они были так дружелюбны? Ко мне подошел один из чудаковатых. Из тех, с короткой прической и в цветном джемпере, подошел и обратился прямо ко мне:

– Что бы хотелось молодому человеку?

Он говорил в той жеманной манере утомленного жизнью господина, которая меня всегда раздражала, но здесь, посреди леса, она казалась естественней, словно эта форма выражения наконец опять использовалась со смыслом, хотя и капелька иронии там несомненно присутствовала.

Я не знал, что ему ответить. Всё! Или по крайней мере – много. И тогда он пришел мне на помощь, протянув папочку в синей обложке, в подшитых листах там, внутри, значились названия групп и альбомов, в большинстве совершенно незнакомые. Как хорошо, что я знаю, что искать. Вот, альбом Asphyx – „Last One on Earth”.

– А на другой стороне?

Читателя XXI века вопрос, может быть, смутит, но я-то сразу понял, что речь о кассете. Что записать на другой стороне? Не успел подумать, что я хочу. Лихорадочно неспешно листал страницы, пока в глаза не бросилось незнакомое, но выразительное название. Вот оно – My Dying Bride, „Turn Loose the Swans”.

Так в мою возникающую коллекцию попала эта кассета, это странное сочетание, где на одной стороне был классический death metal, а на другой стороне новый тогда стиль doom metal. То был интересный музыкальный жанр. Так сильно недооцененная передача Латвийского радио «Рокада» переводила это как «рог Судного дня». Но словарь ясно говорил: рок, в смысле «судьба». Метал судьбы. На этой кассете была записана судьба.

Через пятнадцать лет я прочел рецензию на альбом, в ней утверждалось, что его не следует слушать людям с депрессивными наклонностями. Знать бы мне это тогда! С удвоенным энтузиазмом я бы вез эту кассету в Елгаву, город, где депрессия была предметом самых пылких мечтаний.

*

Смерть получил свою „Last One on the Earth” (которая ему все же нравилась не до конца, другое дело – The Rack), но в Елгаву уже вступила судьба, как будто ее и до того здесь было недостаточно, и я впал еще глубже в железную тоску. Не раз мне придется сидеть, слушать эту музыку и заново взвешивать на весах весь мир.

Но в тот раз в лесу я еще ее не слышал. Даже кассета еще не жгла мне ладонь. Солидный господин забрал и пустую кассету, и деньги и опустил в свою сумку без дальнейших объяснений. Я тоже не задавал лишних вопросов. Здешний порядок был ясен: даешь пустую кассету и башли (один сантим за каждую минуту записи) и через неделю получаешь кассету волнуяще полной. В дальнейшем каждое воскресенье я отправлялся на Биржу, туда – с пустой кассетой, обратно – с полной и с новой жаждой, которая будет утолена лишь через неделю. То был путь, заведомо не имевший конца, ибо я отправлялся за добычей, ощущая дозу магнетизированной пустоты у себя в кармане. Это было как с сигаретой, которую Уайльд характеризовал как утонченный вид наслаждения: сладкий дымок его обещает, но никогда не утолит до конца.

...Эрик посмотрел на меня с грустной, рассеянной улыбкой и спросил:

– Ты случайно не тот джек, что собирает материал о группах и пишет историю латвийского метала?

Вопрос был туманный, и я туманно ответил:

– Какая особенная красота присуща этому месту! Листья какие-то пупырчатые. Больные?

И правда, черные пупырышки обсели кленовые листья, как прыщички лицо подростка. Но тогда мой взгляд снова привлекли волосы. Чудесно длинные волосы. Что за волосы были у этого парня! Любой девице на зависть. Да что там девице, – любой металлист мог позавидовать! Вся рыжесть Ирландии была там, омытая в крови Кухулина. Эти волосы мне что-то напомнили. Может быть, нечто в моих метал-генах? Ни одного знакомого или знакомой с такими волосами у меня не было. А, вспомнил. Девушка в той дорогой машине, из которой нас выкинули на обочину шоссе во время нашей первой экспедиции на Биржу. Тот же самый рисунок волос и тон, та же интеллигентная форма затылка. Вот она обернулась – это были те же самые глаза, что я видел тогда в зеркале! Теперь она глазела на меня, и я увидел лицо целиком.

Что?! Это же толстушка Нелли из параллельного класса! Никогда не обращал внимания на ее волосы и глаза. Толстым школьницам смо-

трят в лучшем случае на грудь. Нарядилась в новую униформу – сапоги, длинная юбка. Смотрит на меня. Смотрит впрямую, настойчиво. Она могла все разрушить! Могла подойти и сказать:

– Ты домашнюю работу сделал? И почему ты не в воскресной школе? Дашь послушать Иманта Калныня? Я знаю, тебе нравится.

Вообще-то мы никогда не разговаривали, но я чувствовал, что она может меня разоблачить, открыть всем и мне самому, что я всего лишь я – тот, кем больше не хочу быть.

– Ты очкастый заика, над которым все смеются. Эй, вы все – посмеемся над ним! Смелее, это он всего боится!

Однако она ничего не сказала. Отвернулась и продолжала разговор. Ей тут было с кем поговорить. Ее собеседник, правда, выглядел высокомерным. И одет был на зависть металлически – длинное пальто, множество блях и всякого железа. Его взгляд выдавал сознание тотального превосходства, а повадка – нервозность и боязнь, что кто-нибудь из окрестных животных может его коснуться. И с нашей Нелли он говорил осторожно. Но как она сюда вообще попала? Кто ее сюда пустил? Что это за место такое, где даже толстая Нелли – своя? Нет, тут явно какое-то недоразумение.

Сделку я уже совершил. Деньги были отданы солидному джентльмену – его звали Дидзис, подумать только, просто Дидзис, – и в следующее воскресенье мне нужно быть на месте, чтобы получить свою вещь. Второй солидный господин по имени Отец сказал, что у него тоже можно кое-чем разжиться. Я здесь уже пригодился. Когда после немного прощания все небольшими группками медленно двинулись к остановке, я шел не один. Шел рядом с Синистером, и мы говорили обо всем на свете. То есть мы говорили о музыке, причем приходили к согласию.

– Если тебя дэтники интересуют, очень рекомендую такую группу, как Torture. Там играли два брата. Один погиб в автокатастрофе.

Синистер знал, как надо говорить о музыке.

– Есть еще одна толковая группа из Австралии, Destroyer 666. Солист решил, что он вампир. Но его маруха ему не верила, и потому он ее всю искусал.

В ответ я мог лишь пересказывать слышанное от Смерти. Можно было бы, конечно, что-нибудь придумать. Как раньше Гилкин выдумывал фильмы. «Пацаны, я видел второго «Хищника» у кузена в Риге. Суперклёвое кино. Шварц там курит цигу, в другой руке миномет. Тут он видит в окне...». И мы выслушивали все, досматривали, можно сказать, до конца фильм, не подозревая, что его еще и не начинали снимать.

Но Синистер казался энциклопедистом, которого не обманешь, и я начал с крайней осторожностью:

– Мне еще нравится такая группа Paradox...

Никогда о такой не слышал. Но название казалось подходящим. Синистер остался невозмутимым:

– Который Paradox? Тот, что с одним „х” или тот, что с двумя?

– Тот с двумя.

– Да, эти получше.

Я потом проверил. Как это ни парадоксально, действительно существовали и Paradox, и Paradoxx.

Троллейбус подкатил к нам, как лимузин, и мы внедрились в него, разумеется, игнорируя билетный вопрос. Синистер в своей усталой манере уже свергал и рушил горы.

– Лучше всего нам было бы устроить радио, свое, радио металлистов. Мы бы рассказывали о молодых, о старых группах, о философии метала. Тогда не пришлось бы так ковыряться с добыванием музонов, нам бы они всё присылали сами. Со всего мира.

Заносчивый оторвал свой взор от созерцания ничтожности мира и быстро взглянул на нас. Выглядело так, что он этим планам не верит.

Синистер на миг задумался. Начал рыться в своей сумке, там было очень много кассет и блок сигарет Quattro. Он вынул одну кассету:

– Mortis, как мне нравится этот джек. Он сделал пластическую операцию, удлинил нос и уши, чтобы выглядеть троллем.

Создать группу в то время мечтали многие. Инициатор обычно предлагал место соло-гитариста и знал еще кого-то, кто хотел играть на ударных, а басист сам собой отыщется. Если инициатора спрашивали, что собирается делать он сам, ответ был логичным:

– Я? Я буду петь.

Синистер был намного серьезнее. Он всю дорогу пребывал точно в полусне и в то же время в состоянии непрерывного восторга, совсем как Ван Гог. Он говорил о необходимости сказать то, чего никто не говорил, что никому и в голову не приходило, он сказал все то, что я сам сказал до этого у себя в голове. И тут понадобится, сказал он, электрогитара. Кому-то надо собраться и найти деньги на электрическую гитару. Гитара станет переводчиком всего того, что ты хочешь сказать.

– Но Том, что будешь делать ты?

Он был достаточно равнодушен к тому, что будут делать другие, зачем же ему отличаться?

– Я буду петь.

И отвернулся к окну. Зная, что пока что ничего больше говорить мне не нужно. Что я уже околдован, что остальное я пойму и сам. Я твердо смотрел вперед, не затем, чтобы вовремя заметить контролера, – передо мной маячил силуэт изумительной судьбы, той, которую мы ждали и считали заслуженной, но которой, когда она явится во плоти, можем и испугаться. Но только не я – я смело и твердо смотрел вперед.

*

На третьем этаже была дверь, на которой красовалась цифра 23, вездесущее число катаклизма, $2+3=5$. И в «Мастере и Маргарите» на всех дверях были цифры, которые в сумме составляли 5. За дверью был кабинет алгебры. Там в шкафу стояли книги, которые не хотелось читать ни при каких обстоятельствах. В то время куда более интересные вещи можно было прочесть в других местах, например, на свежевыкрашенных школьных скамьях. Мы сами их красили. Снизу скамеек краска никогда до конца не высыхала, раньше, бывало, на коленках девочек можно было видеть пятна зелени, но теперь они, девочки, стали гораздо осторожнее.

Здесь мы и сидели, все 36. Алгебру нам преподавала классная руководительница. Она любила свой предмет и, входя в класс, всегда начинала примерно так:

– Работаем на трех уровнях – решаем «стандартный», параллельно осваиваем новый материал, и я нашла кое-что интересное из математической Олимпиады.

Алгебра выступала как иной, абстрактный мир. Адепты с первых парт утверждали, что она объективно существует и что они даже имели с ней успешные контакты. Для нас, провинции, она оставалась тем неизвестным, невидимым, что в конце четверти однако может свидетельствовать о твоём недопонимании. Я сидел и смотрел на своих одноклассников. Что за характеры, что за судьбы! А ноги! Дина, Линда, Гунточка. Я их узнавал, не поднимая глаз. Там, впереди, где парты адептов, была и Миледи. Ее ноги не были видны. Вот она обернулась, глянула на меня и улыбнулась. Я не ответил. Могло ведь быть, что она улыбнулась кому-то у меня за спиной. Я уставился в зеленую поверхность парты. Там было выцарапано примерно то же, что и на стенах туалета: Death, Entombed, – выгравировала эти буквы неизвестная мне рука. Может быть, сам Смерть. Я нацарапал в свой черед Anathema, при этом достаточно сложное лого изобразил с заслуживающей уважения точно-

стью. Это незнакомому металлсту нужно было бы оценить, но он если и сделал это, то молча. На другой текст, «Волосатые лохи», я ответил «Ты, прыщавый!», на что последовало приглашение: «Пойдем выйдем, урод!» Я поднял глаза – Миледи быстро обернулась и отпасовала сидящему за ней свернутую записку. Опустил голову и еще раз прочел Death, Entombed и «Пойдем выйдем, урод!». Почувствовал, что записка движется ко мне. Уже близко. Гунточка перебросила ее на мою парту. Мой сосед, сложившись почти вдвое, уперся взглядом в карты.

Я взял записку. На ней значилось: «Карлису». Посмотрел на Миледи, она посмотрела на меня и показала рукой – дальше! Я и без того знал, что Карлис сидит у меня за спиной. Перекинул записку ему и вернулся к моим раздумьям.

В конце восьмидесятых и в самом начале девяностых годов Латвию повсюду посещали инопланетяне. Ничего особенного не добыв, они отправлялись назад, и теперь елгавчане все тайны ищут тут же, на месте.

Плюх, на мой стол опять упала записка. Сверху стояло мое имя в дательном падеже. Конечно, я сразу же увидел, что почерк другой, поэтому никакие эмоциональные приключения мне даже теоретически не грозили. Написано там было только: «Что делаешь?» Я осмотрел всех одноклассников. Никто не выглядел подозрительным, за исключением одной, которая подозрительно выглядела всегда, но впечатление обычно оказывалось обманчивым.

Я на том же самом листке нарисовал двойной круг, в который особым образом вписал два креста. Этот символ годится, если хочешь стать невидимым. Кто этого не хочет? Нужны только черная фасоль, череп мертвеца и, ясное дело, спирт. В каждое отверстие черепа нужно вложить по фасолине, на лбу нарисовать вот этот самый символ, а мертвую голову зарыть на перекрестке. Затем, конечно, надо взять бутылку спирта и место, где ее зарыл, обильно полить. Так нужно делать семь ночей кряду. На седьмую должен взойти росток фасоли, а рядом будет сидеть дух мертвеца. Он спросит: «Что ты делаешь?» И протянет руку, ясно, что за бутылкой. Не надо, конечно, ему сразу ее отдавать.

– Янис, что ты делаешь?

У моей парты стояла учительница Силиня.

– Ничего.

Я отвечал смело, как человек, сознающий свою невиновность. Но в тот момент это прозвучало, должно быть, неправильно.

– Так оно и выглядит. Покажи свою тетрадь!

У Силини был известный каприз – она настаивала на том, чтобы ученики всегда следили за происходящим на уроке и все записывали. Но я в этот раз не записал ничего. Только нарисовал могилу. Этому меня научил Вербочка. Он на уроках убивал время, рисуя могилы присутствующих. Обычно учителей. «Ладно, ладненько, Лицис», приговаривал он и изображал могилу Лициса. Не всегда это было следствием какого-то конкретного конфликта. И я нарисовал могилу учительницы просто так. Симпатичный крест и могильный камень с ее именем и фамилией. Вербочка обычно описывал еще и обстоятельства смерти, но я так не делал и теперь хотел бы обратить внимание педагога на это позитивное обстоятельство. Но не сказал ничего. Силиня положила палец на мой рисунок и спросила:

– Это что же такое?

Как настоящий ученый, она спрашивала с непритворным интересом. Теперь она пыталась разобрать свое имя. Я чувствовал себя крайне неловко и хотел бы, чтобы этого не было.

Внезапно открылась дверь, и в класс проникла чужая румяная мордаха, возвестившая, что я должен явиться к директору.

*

Директорский кабинет был полон народу. Конечно же, завуч, еще какая-то женщина, занимавшая какую-то забытую с тех пор должность. Но были там и Сипс и Анри, мои друзья-металлисты с 5-й линии. И Смерть тоже.

Что происходит? Но вопрос задает заведующая учебной частью, в просторечии завуч:

– Ну?

И я говорю:

– Не понял.

И она добавляет:

– Что ты расскажешь?

И я отвечаю вопросом на вопрос:

– Про что?

И она дополняет:

– Чем вы вместе занимаетесь?

Тут я встал в тупик. Мы занимаемся множеством разных дел, и я не был уверен, что все они правящим женщинам понятны и заслуживают их внимания. Директриса, видимо, угадала ход моих мыслей и уточнила:

– Что у вас там за секта?

Зав учебной частью вкратце познакомила меня с фактами. Мы четверо трубим о конце мира, выкрикиваем сатанинские лозунги, поклоняясь смерти и распространяя странные идеи. И притом еще напиваемся на кладбище. Вообще она оказалась удивительно осведомлена обо всех наших движениях, не пойму, где она почерпнула такую информацию. Но часть ее была для меня сплошной новостью. Вместо нашей базы говорилось о каком-то чердаке в жилом доме прямо возле школы, и наш вожак будто бы мужчина в годах с большой бородой. Как раз эти элементы позволили мне все отрицать с непритворным изумлением. Я был настолько естествен, что директриса сказала:

– Мне тоже кажется, что это какие-то тотальные глупости. Вы ведь все-таки такие нормальные мальчики!

И мы все четверо закивали головами. Теперь мы были согласны быть совершенно нормальными. Директриса еще спросила:

– И что это за мужчина с бородой?

Юпитер его знает, я о таком честно не имел представления, и у остальных тоже были нелицемерно глупые лица.

Тут заговорил Анри, слегка усмехнувшись:

– Мы никак не можем подпевать всяким рэпникам!

Это он выпалил, разумеется, чтобы доказать, как далеки мы от всего, что опасно. Никакой рэп мы не слушаем.

– Никакой рэп мы не слушаем!

Это был голос Смерти. Он выглядел недовольным.

– То есть я хочу сказать, нормальные мы конечно, но рэп мы все же не слушаем.

Директриса внезапно устала.

– В такие тонкости мы не будем вдаваться. Можете идти. Учитесь дальше.

И еще в коридор она всех проводила, видимо желая проследить, чтобы не последовало никаких обсуждений. Я там стоял последним и пытался сообразить, что происходит.

Незнамо откуда подошла та чокнутая Нелли из параллельного класса и спросила меня:

– Что у вас там?

– Ничего.

– Дерьмо какое-нибудь?

– Где?

– Да что с тобой?

– Почему?

– Ты ненормальный?

Так я наконец действительно познакомился с Нелли. Она сказала, что все зовут ее просто Нелей, и мы тоже можем ее так звать. Но мы ее так не звали. Я не слышал также, чтобы другие так ее звали. Ее называли Пустомеля. Сокращенно – П-меля.

*

Где было лучше – в Железке или дома, одному у магика. Не была ли Железка хороша потому, что все бывшее там можно было вспомнить одному у магика?

Как правильно слушать песню? Вообразить себя ее героем или пытаться примерить песню к своей жизни? Песня про меня или я про песню?

Для математики и семейных проблем оставалось все меньше места. Эти, слишком легкие вещи потеснил метал. Мою коллекцию кассет уже невозможно было охватить всю разом и прижать к груди. Я мог заняться столь любезной юному уму структуризацией и классификацией. Тут было довольно много дума, солидное собрание дэтов, минимум трэша и еще тот другой жанр, которым увлекались некоторые из нас, может быть и слишком. Могу четко сказать, почему увлекался я.

Это началось не в Железке и не дома. Раз на физкультуре или на уроке этики я перематывал в плеере кассету. Правильно было бы делать это с помощью ручки или ножниц, но я по какой-то причине был усталым. Плеер скрипел и визжал, как дисковая пила, разделяющая доску с гвоздями. Карлис повернулся и сказал:

– Что это у тебя за блэк?

Я такого жанра еще не знал, но меня сходу заинтересовала музыка, звучащая вот так. Black metal считается самым экстремальным видом нашей, металлистов, музыки. Но для наших охмелевших мозгов он был словно ведро динамита, вброшенное в пылающий костер. Это был ход до конца, до упора – все черно, дальше ничего не могло быть. Мы достигли цели. У меня еще только что была уверенность, что doom metal – конец всему, но теперь мы со Смертью приникли к магу, и он сказал:

– Лучший дум – это блэк.

Я про себя машинально перевел эту формулу с English на чистый латышский язык:

Лучшая судьба – черная.

Помните Immortal, „Pure Holocaust”? Конечно же помните. И Mayhem? Извиняюсь за этот вопрос. Да, да, я имею в виду старый Mayhem, а не тот выживший. Не могу иначе, сейчас расскажу то, что вы все уже знаете.

Mayhem в 1984 году основал один норвежский мальчик из лапландцев, Ойстейн Орсет. Он играл на гитаре и называл себя Euronymous. Мы никак не могли понять, как надо выговаривать это имя, на каком слоге ставить ударение.

Euronymous утверждал, что его жизненное призвание, его миссия – абсолютное зло. Когда пришла слава, журналист спросил его: кхм, я слышал, что вы, маэстро, пребываете в прекрасных отношениях с вашими родителями. Что вы хороший сын. Как это сочетается с тотальным злом? Euronymous тогда самокритично сослался на человеческую природу:

– И христианам не удастся всегда быть только хорошими.

Какой меткий ответ!

При этом, заметьте, Euronymous, лицо и мотор группы, не пел, а играл на гитаре. Первым солистом группы Mayhem был Maniac. Его вскоре сменил меланхоличный юноша по имени Dead. Этот действительно умел создать атмосферу. Первый в блэкметале, кто на сцену всходил загримированным (это называлось corpsepaint). После наложения грима они напоминали мимов. Печальных шутов, какими, впрочем, и были.

Понимаете, Dead хотел выглядеть мертвым. Он даже зарывал свои одежды глубоко в землю и оставлял на неделю или на месяц, потом выкапывал за час до выступления и надевал на себя. Иногда фаны видели, как по его костюму ползет медведка. Выступая, Dead колот себя ножом или колючей розой.

Однажды вечером, когда не было концерта, он резал себя, кромсал, потом написал записку «Простите за всю эту кровяницу» и выстрелил себе в голову из ружья.

Не было ли это слышано где-то раньше? Прощальное письмо и ружье. Опять то же самое. Если не принимать во внимание то, что Курт погиб в 1994 году, а Dead в 1991. Наше время шаталось, уходило то вперед, то назад и редко стояло на месте.

*

Легенду не остановить. Какое-то время продолжалось нащупывание того и сего. А потом к группе присоединился интеллигентный молодой человек, только что поменявший свое неподходящее имя на новое – Варг

Викернес или граф Гришнав. Каков выбор! Граф Гришнав – это капитан орков в католической сказке «Властелин колец». У юного норвежского орка была своя собственная группа Burzum (имечко тоже из Толкина), в которой состоял только он сам. В Mayhem ему была доверена басовая партия. С гитарой помог Blackthorn из группы Thorns. Петь был позван венгр Аттила из группы Tormentor. Эти пятеро записали последний настоящий альбом Mayhem „De Mysteriis Dom Sathanas”, non plus ultra блэкметала. Тут вообще нечего добавить.

Я не знаю всех тонкостей, но Euronymous был заколот. О причинах говорилось много чего – доминирование, конфликт, любовь и кровь – всякие глупости. Надцать колотых ран.

Я слушал „De Mysteriis Dom Sathanas” каждый день. Еще охотнее – каждый вечер, когда уже было темно. Если мог, выключал всюду свет и слушал в темноте, глядя в стену, которую нельзя было видеть, или в окно, где можно было видеть длинную трубу, черную против ночного неба или опять же незримую. Когда не удавалось расслышать слова, – о, великая мудрость природы, в металле так бывает часто, – я сам их придумывал, развивая таким образом свою духовную жизнь.

Как оно и должно быть, довольно скоро я обнаружил, что Mayhem уже стали банальностью. На концерте чудесной финской группы блэк-метала Unholy жгли диски Mayhem и Burzum. Истинная субкультура наделяет человека не только друзьями, но и ненавистниками.

Когда на другом континенте землетрясение, здесь – только взмах крыла бабочки.

Латвии позарез нужна своя легендарная blackmetal группа, это было ясно как ночь. Пока что, правда, не было вообще никакой, а нужно было сразу легендарную. Скажем, Venom была и первой группой блэкметала в мире, и сразу довольно-таки легендарной. Такая требовалась и нам. Вроде бы Huskvarn тоже что-то там немножко играли в стиле античного блэка.

*

Я понял: для рождения группы необходима жертва. Или чтобы тебя пырнули ножом. Или чтобы ты пырнул. Что сделать? У меня была идея выколоть себе глаз, потому что ведь у слепцов лучше слух, а это может быть полезно для музыки. Однако я пока что медлил и ждал, пока меня осенит другая идея.

Опять же я снова немного опоздал. Есть ли смысл собирать группу, если она не будет первой?

Но история тяжелого метала в Латвии складывалась на глазах, и мне тоже нужно было в нее впрыгнуть на ходу. Я был примерно в том же возрасте, что Eurogymous, когда тот начинал. Со мной был Синистер, старше меня и тоже с ума сходящий по блэку.

У нас были все возможности.

Мне нужно упомянуть и самый главный фактор. А именно Луну. Гимном Black metal несомненно была „The Freezing Moon” в исполнении Mayhem. Во время концерта в Лейпциге перед тем, как ее сыграть, Dead, помнится, произнес:

– When it's dark and when it's cold, the freezing moon can obsess you.

Эти слова стали нашей персональной мантрой и знаком судьбы. Так случилось. Холод, луна, и крыша поехала.

Сотни лет у всех на уме была Луна. Но у меня к этому была особая, своя причина. Это было очень давно, однажды зимним утром. Я брел по елгавским сугробам, но тогда еще не в школу, а в детский сад, я тогда не был погружен в созерцание своего внутреннего мира, не ковылял, как слепец, а внимательно смотрел вниз, вверх и во все стороны света. Там, вверху была Луна. Я уже успел привыкнуть к тому, что только в сказках все идет как надо, реальность не нужно воспринимать слишком серьезно. Но тут вдруг она была надо мной, тотально совершенная, как пулевое отверстие в лучший мир. Можно было видеть и рисунок из пятен, там был притянутый Луной индеец или латышская девушка с красивой попой, сказки предлагали различные варианты. Луна меня взволновала.

*

Когда Железку в Елгаве изгнали с Маршзавода, она переместилась в детский сад. Там, за домом Тони, перед поворотом на работу моей мамы. Днем там был самый настоящий детсад, а по пятницам ближе к ночи, когда всех детей разбирали по домам, там кучковались мы. Таков был путь елгавской Железки: из дворца в бомбоубежище, из убежища в детский сад.

Все явления этой весны порождали в человеках щемящее ощущение тревоги. Словно бы торкалось в память нечто большое и нежное, что однажды было упущено, а теперь вот опять вдруг возникло, но непонятно, что же с этим делать. Не удастся даже вспомнить, что это собственно было такое большое и нежное, только запах, только нечто, разлитое в воздухе, порождает эти мысли.

Я в тот вечер пришел первым. Смерть сказал, что немного задержится, и пока что был прав. И еще он сказал: «Возьми какой-нибудь батл с

собой!» Я так и сделал, батл был у меня в кармане, я стоял во дворе, а изнутри детсада доносилось:

„Battles! Battles in the North!”

Вечер уже опускался на Елгаву, и весеннее тепло разлилось в воздухе. Гости прибывали небольшими группками. Лишь я был один, но меня это теперь ничуть не волновало.

Я подумал – если кто-нибудь спросит, что я один тут делаю, я скажу:

– Хочу дождаться Луны.

*

Дзиннь, зазвучала гитара. Дзинь, дзинь, дзинь, дзиннь!

В этот миг какой-то полужнакомый паренек завопил мне прямо в ухо:

– Тебя там на дворе ждет Смерть.

– Чао! – торопливо выдохнул он, улучив момент, когда ему удалось поднять голову, – меня не пропускают!

Снова взгляд в землю, восстановление равновесия.

– У меня нет лата!

Снова сложившись пополам, снова выпрямившись, он больше ничего не сказал, только посмотрел на меня. Но у меня тоже не было лата.

Парни только что кончили играть, публика держалась пристойно, и солист сказал:

– Спасибо.

Кто-то из зала, похоже, Гиртс, выкрикнул:

– Спасибо, что кончили играть!

Как всегда в такие моменты, в публике началось броуново движение – кто шел покурить, кто пробивался поближе к сцене: вот-вот должны были начать Heaven Grey. Но бедняга Смерть стоял там, снаружи, шатаясь под ветром. Я наткнулся на Нелю («Чао!»), попались Хлеб, Гиртс, его подруга, снова Неля, Краб («Не одолжишь лат?») и – Смерть. Он стоял уже здесь и продолжал кланяться, как и на дворе, только в руке у него теперь была бутылка пива.

– Как ты прошел?

– Я не знаю.

Сказал и глупо засмеялся. Было ясно видно, что человек не лжет.

Было уже все равно, как он попал внутрь. Мы были наконец-то здесь, и Heaven Grey начал играть. О легендах нельзя сказать ничего нового или дурного. Мне и нечего дурного сказать о Heaven Grey. Они отрывали старые вещи в стиле death, время от времени вплетая мотивы нового doom, что меня тут же делало мечтательным, и я, как при каждом по-

добном событии, повторял про себя, в какое чудесное время мы живем, какая великая вещь музыка. И что все это дело с гитарой и группой надо бы двигать вперед, что-то делать. Но тут ребята начали свой главный хит, и я был вправе не думать о жизни, а только о музыке.

Время течет, течет, как река,
Непостижимая, неудержимая.

И слова эти мне казались выражением глубоких философских понятий, хотя время-то как раз никуда не текло и смысл текста вряд ли был понятен даже его автору. Но все это пустяки против могучих серых небес, под которыми я очутился сразу после концерта. Всюду вокруг мерцали светлячки сигарет, и я был одним из. Я был не один. Вон, вон там стоит Смерть, кожанка наперекосяк, и – что у него в руках? В руках у него была девушка, и они целовались, как одержимые демонами. Это была Миледи. Нет, то не была и не могла быть она, с чего бы ей здесь очутиться. То была смазливая подружка Нели, нет, и не она тоже. В темноте не только небеса, но и все кошки серы. Это была совершенно незнакомая девица с совершенно черными волосами. Когда они ослабили хватку, чтобы вдохнуть глоток воздуха через гаснущие сигареты, Смерть заметил меня и сказал:

– Чао!

Он выглядел очень трезвым, хотя на ногах держался только благодаря девичьим объятьям.

Она тоже взглянула на меня, потом на Смерть, потом опять на меня и тоже сказала:

– Чао!

Только спросите меня, что я тут, под серым небом, делал. Ронял всякие умные замечания насчет концерта, как что звучало, насчет метала и его смысла. Смерть даже сумел ответить почти связно, но девица только и делала, что лохматила его волосы и смеялась. Это был очень веселый смех, прозрачный и текучий, но меня от него вдруг зазнобило. Даже зубы клацнули. Почему? Так, показалось, уже было однажды. Вытащил «Merkürs», дернул, угостил и их. Девушка пила, откинув голову назад, выказывая миру бесконечно длинную шею и пульсирующую ямочку у ключицы. Не знаю почему, меня это раздражило и я принялся критиковать Heaven Grey. – Все, конечно, клево. Бьют, режут, пилят. Но – для того ли задуман метал? Не слишком ли красиво?

Девушка вслушалась:

– Отчего же? Мне понравилось!

– Но где, спрашивается, боль? Разве метал – не другая сторона мира? Почему они так хотят понравиться?

Вокруг собрались парни из Чужой Школы и внимательно слушали.

– Мы же за отрицание. Они немножко поддались этому чертову соблазну – нравиться.

Heaven Grey вряд ли заслужили такие упреки, но меня уже понесло.

– Им вообще уже пора разбежаться.

Это уж было слишком. Никто ничего не сказал.

Я смутился. Глотнул «Меркура». Отдал бутылку окружающим, а сам вернулся в помещение. По ступеням, ведущим вниз, навстречу поднимались Heaven Grey, усталые, с инструментами в футлярах. Мне хотелось обнять их и просить о прощении, но, понятно, ничего такого я не сделал. Прямо у крыльца стояла новая подруга Смерти. Мне опять стало холодно. Стоя на уровне полуподвала, я оказался как раз напротив ее коленок. У нее были колени очень оригинальной формы. Я их уже видел однажды. Колени интересной формы и те самые сапоги. И тот же смех, прозрачный и текучий, его я тоже слышал. Мне стало чересчур холодно, и я вернулся в дом.

Здесь было уже не так тесно. Кто-то поставил „Sleepless”, Anathema. Как раз то, что мне в тот миг было нужно.

Я пытался осмыслить, что же произошло в этот вечер. Ничего не получалось. Додумался лишь до того, что нужно бы что-то делать, что должно произойти что-то большое и необыкновенное. Но улица, дома, дворы и даже деревья казались равнодушными – не верилось, что деревья не подадут ветвями какие-то тайные знаки и что во дворе вдруг не откроется калитка в какой-то другой мир. Я задрал голову к небесам, чтобы пустить туда струю дыма, и увидел Луну. Я ее дождался, как обещал. Луна сама была знак, притом четкий и яркий, она не была уже просто спутник Земли, удаленный от нее на четыреста тысяч километров, она была неоспоримый знак и сигнал одиноким металлистам. Что он означал, этот сигнал, этот знак? Я не спрашивал. Просто смотрел Луне прямо в лицо.

*

Однажды в воскресенье я отправился в путешествие с друзьями-бандитами. Настоящими бандитами. Быть вместе с металлистами – это всегда работа духа, напряжение и внимание. С бандитами было легко. Мы втиснулись в черный бемби и поехали. Мы были в своей машине. Со мной такое случилось нечасто. Ну, отцовские «жигули», однако это

ведь совсем другое. Бээмвеша, бемби был точно портативная свобода, в нем можно было говорить все, и курить, и пить. У каждого в руке было по бутылке Терветского пивка, все было отлично. Но на Элейском шоссе черт дернул меня за язык.

– Вон в том доме живет Диана из нашего класса.

И я указал пальцем на небольшой частный домик.

Брага тормознул так, что взвыл Шинок, которому на брюки выплеснулся добрый тервенец.

– Ты чего творишь, ублюдок?

– Надо же заглянуть в гости!

И он действительно свернул, чтобы въехать во двор Дианиного дома.

– Ты с ней знаком?

– Это ж твоя одноклассница.

Я сам если думал о ней (а я думал о ней иногда), то скорее из-за ее инициалов – D. M. Как у Dark Millenium, очень хорошей группы, считая от старого конца. Один кусок из „Ashorethe Celestial Burden”, называется, по-моему, „Beyond the Dragon’s Eye”, как он был хорош! Нежное, нежное начало и потом – рывок! Без особого нажима на бочки и басы, но с этим резким, срывающим крышу голосом, еще в старой манере пения, когда можно разобрать слова. Не то что сейчас, когда отрывают очередной хит. Это было как в камерном театре, где тебе показывают темные и странные картины, чтобы ты вдруг понял: в них правда.

Брага жал уже на дверной звонок, и вот вам – сама Д. М. открыла дверь. Должно быть, выглядела она очень секси, и я совсем смутился, покраснев с головы до пят. Но Брага сказал:

– Чао, Диана!

– Чао!

Так она ответила и посмотрела на меня, но я не сказал ничего. Брага продолжал.

– Янка сказал, что здесь живет самая красивая девушка в школе, мы не могли не заехать в гости.

Она засмеялась. Диане нравятся такие речи. Я единственный чувствовал себя идиотом и успешно напоминал собою спелый томат. Галантный кавалер гнул свое:

– Сегодня приятная погода, и вечер обещает быть клевым. Мы тебя приглашаем погалдеть, побалдеть у костра. Красное вино и филе щуки с сельдереем. Стихи тоже почитаем.

Показались еще две девицы, мне незнакомые и не такие красивые, как Диана, но нашего шармера это не смутило:

– Подруги, конечно, тоже приглашаются!

– Янис, ты у нас умник. Расскажи чего-нибудь.

– Что я могу рассказать? – Как дела у метала?

Об этом да, можно и поговорить. Я начал:

– Гришнав в тюрьме пишет новый альбом.

Брага казался заинтересованным:

– Где он сидит?

– В Бергене, Норвегия.

– А, это клёво. Там же гостиница. Записал бы он у нас в тюрьге альбом. На стенке СЛОН нацарапал бы, и все.

Представление о том, что заключенный металлист может размечтаться о слонах, показалось мне вдруг очень верным:

– Почему СЛОН?

– Смерть Легавым От Ножа. Можно и ПОСТ нацарапать. Прости, Отец, Судьба Такая. Это, правда, больше на пальцах накальвают при первой отсидке.

– Unholy однажды на концерте сожгли диски Burzum и Mayhem. Понимаешь, они уже такой Undergrund, что эти им казались чистым mainstream.

– Про что вообще они поют – не поймешь.

Я собрался с мыслями.

– Кто о чем. Блэкеры поют про Луну. Про месяц, если хотите.

– А про год не могут?

– Речь о месяце, который светит.

– Бывает, что и год блестящий. Или несколько, если взять, например, в группу Диану.

– Да, да, да. Поют еще про черта. Про демонов. Королеву Инанну. Про бури между красными маками и ветрами Холокоста. Но больше всего про Луну, лед и все такое. Про стальные вагины. Maze of Cako Torments вообще поют на выдуманном языке.

*

Я им, понятно, давал слушать свою музыку, когда удавалось отвлечь Брагу от его бандитских песенок. И странно – он ведь бесспорно слышал то же самое, что и я. Не могло же быть так, что конструкция его ушей кардинально отличалась от устройства моих. И сердца те же самые, которым нравится торчать и грустить у костра. Какие факты, события, приключения мысли определяют восприятие и делают его столь различным перед лицом идентичных явлений? Когда импрессионисты

начали изображать цветные тени, критики издевались – может быть, натурщица неделю или больше истлевала в болотной жиже, и оттого у нее такая синяя шея? Их глаза были в точности такие же, и людские глаза не изменились, но теперь импрессионисты нравятся мамочкам и производителям обоев. Будет ли так же и с металом?

А Брага возопил:

– Где же наши старухи? Из меня уже прут стихи!

И принялся декламировать:

*На горе стоит избушка
Под названием «Пивнушка».
Звери-алкоголики
Занимают столики.*

То была длинная поэма, насквозь анималистская, изобилующая неожиданными поворотами сюжета. Я только помню, что в конце один из главных героев «вынул хуй и застрелился».

Я тоже читал стихи, это был Александр Чак:

*Вечер синий и большой,
Ветер по стеклу стекает.
Всё, что связано с душой,
Млеко вечности лакает.*

У реки открывалась живописная картина – Брага вытаскивал сети. Классический мотив, и в фигуре героя проглядывала та особая красота, что отличает осужденных и преданных. В сети билась одна-единственная рыба.

*

Только человек появится в Елгаве, только переедет через оба моста, как видит Башню. Она не может похвалиться рекордной высотой или необычайной конструкцией. Наша Башня – старая развалина. Пустая оболочка, в которой полвека назад бушевало пламя. Если зайти внутрь и задрать голову, увидишь четырехугольник неба. Церковь в ходе боев в 1944 году была разрушена полностью, а колокольня осталась, сделавшись наполовину корочей. Сделавшись Башней, пустой и задумчивой.

Когда-то это был собор Святой Троицы. Первый в мире храм, построенный специально для лютеран, если это кого-нибудь интересует.

Теперь Башня пригодилась для других надобностей. Видите ли, городское руководство (конечно, тайное городское руководство) хотело поддержать металлистов, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Было

объявлено, что город намерен восстановить колокольню Троицкого собора и, чтобы собрать необходимые для этого денюжки, устраивается серия музыкальных встреч под девизом «Мы – Башне!»

При выезде из Елгавы, за вторым мостом, но не доезжая до Шестого магазина, простиралась некая неопределенная территория. Справа от шоссе, если смотреть в сторону Озолниеков, стояла коза. Это была довольно большая, высотой метра в три, коза. Животное из металлических труб сварил местный художник, Мартыньш Вилкарсис. Причиной тому, как и многому другому в моей жизни, был Чак. У него есть стихотворение «Елгава», а там такие строки: «Малый, малый городок, // Символ – белая коза». Некая женщина-литературовед, впрочем, распала доказательства того, что стихотворение вовсе не про Елгаву, что никаким «малым, малым городком» Елгава для Чака не была... Что ж вы думаете, Александр Чак – идиот? Стих называется «Елгава», что вам еще нужно? И коза там стояла железно.

Приблизительно между Башней и Козой, только по другую сторону шоссе находилась эстрада, там и проходил фестиваль «Мы – Башне». На другом берегу Лиелупе стоит дворец. Чтобы попасть на фестиваль, нужно было перейти мост. Два моста: через Дриксу и через Лиелупе. С того все и началось.

В городе говорили, что этот поход через мосты станет для металлистов роковым. Негодяи с короткими прическами решили воспользоваться случаем и перехватить нас в этом узком, уязвимом месте. Отнять кожанки, самих отлупить и сбросить в воду. Одного, говорят, уже выловили в реке. Можно было подумать, что это всего лишь слухи, но выглядело так, что на этот раз все взаправду.

В тот вечер я приближался к мосту один. Как всегда в минуты роковые. Друзья сказали, что им кого-то там надо встретить, что-то там уладить, так что увидимся на месте. И так, я шел один. Совсем, совсем один. Только Эва и Робчик были со мной.

Почти всю дорогу мы говорили об опасностях, ожидающих нас там. На мостах.

Дошли до первого моста, разговор смолк. Я посмотрел на них. Робчик выглядел испуганным. Знаете, уже начинало темнеть. Эва насмешливо заметила:

– За вами как за каменной стеной.

Мы ведь с ней когда-то целовались. А теперь она вот как. Все равно, я сам избрал этот путь. Мир лежал у моих ног (или под ногами, или где

там еще), но я выбрал противостояние, выбрал этот путь через вражеские ряды, где единственный выход – пучины двух рек. Я старался не смотреть вперед, ни на Эву, ни на дорогу, дышавшую угрозой. Нежно, как однажды по ее животу, я скользил ладонью по перилам и вглядывался поверх них в речные воды, как в тот раз, когда я увидел толпу беглых эков. Как давно это было.

И вдруг вода кончилась. Мы прошли второй мост! И ничего, ровным счетом ничего не случилось. Как глупо было верить всем этим рассказам и молчать на мосту, словно мы испугались!

Вот и эстрада. Посреди луга – ряды скамей, в дальнем конце – сцена. На которой что-то уже блестело и копошилось. Еще предстояло пройти мимо охраны, плечистых типов, отбиравших деньги. Надо признать, деньги мне мама дала, получалось ровно столько, сколько требовали за вход. Но в таком случае не осталось бы на пиво.

– Может, попробуем как-нибудь так... бесплатно?

– Каким образом?

– Ну... Каким-нибудь

Робчик пытался думать:

– Если только со стороны реки... Через камыши?

– С ума сошел?

Мне не хотелось брести через камыши.

Кто-то меня окликнул. Я не спеша обернулся, это был где-то мельком виденный металлист, из уважаемых. Я не знал его имени, но он меня знал, и мои дружки это поняли. Я подошел к нему, протянул руку. Но тот мне сказал:

– Смерть передал, чтоб ты ждал здесь.

– Ладно.

И он еще очень эффектно добавил:

– Есть вариант, как пройти.

Я почувствовал себя окончательно человеком. Оглянулся на Робчика и Эву. Незнакомый друг поспешил уточнить:

– Нет-нет! Не всем! Одному.

– Ну конечно. Конечно! Спасибо.

– Жди здесь.

Он исчез, а я подошел к своим, закурил и сказал:

– Хорош, чао! Мне тут надо подождать одного, вы заходите.

Эва повернулась и двинулась к входу. Робчик не понимал, что делать. Я взглядом ему помог: «Иди, иди! Там сбежимся».

Я посмотрел через реку на дворец. Он тянулся так далеко, что казалось, не вздымался, а распластался вдоль реки. Только в одном окне что-то поблескивало. Госпожа Анна, долгожительница и смотрительница дворца, в частной беседе со мной открыла, что дворец полон призраков. Особенно на втором этаже, там, где химический факультет. Один ополченец дежурил там и ночью слышал, как кто-то играет на рояле. Пошел посмотреть. Двери заперты. Он открывает – нет никого, никто не играет. Закрыв дверь снаружи – ха, играет опять. Так несколько раз. Иногда играли даже когда дежурный был там, внутри, слышать он слышал, но при этом никого не видел. Парень разнервничался, кричит: «Есть тут кто?» Никто не отвечает, а рояль все играет.

Может быть, и сейчас во дворце играет незримый пианист, и опять его не слышат, потому как на сцену уже вышли Frontlines. Я хотел бы их услышать поближе. Когда же меня проведут?

Именно в этот миг подошли мои друзья, успешно преодолев оба моста. Вербочка, Смерть, Зомби, Тони. Поздоровались, и Зомби задал логичный вопрос:

– Как прорвемся?

Я ответил на вопрос вопросом:

– А Смерть разве не собирался нас провести?

Зомби свой следующий контрвопрос обратил к другу:

– Ах так?

Смерть замялся:

– Да я не знаю.

– Что ты не знаешь?

– Не знаю, удастся ли.

– А кто знает?

– Надо бы встретить Марека, на этом строился весь план.

– А где он?

– Там небось, внутри.

– Ну так надо пройти внутрь!

На такой ноте Вербочка завершил дискуссию. Мы все обратили взгляд к заветному входу. Тамошние стражи и контролеры, казалось, уже некоторое время наблюдали за нами.

Тони обычно имел что предложить.

– Отойдем пока что, как будто туда и не собирались. А потом проникнем сбоку.

Мы повернулись и пошли прочь. Я думал, выглядит ли это естествен-

но – как будто мы не хотим идти на концерт, а просто так тут сошлись. Я выразил свои сомнения вслух. У Тони был ответ и на это:

– Пусть они думают, что мы еще кого-то встречаем. Что у нас свидание, идем встречать девушку!

Зомби для пущей убедительности крикнул:

– Мадара! Мадара, сучка, ты где?

Вербочка согнулся от хохота, но Смерть, через плечо оглянувшись на вход, зашипел:

– Уймись, они смотрят!

Мы уже выбрались на дорогу, а Смерть продолжал шипеть:

– Смотрят, смотрят еще!

Так мы перешли через дорогу и встали. Может быть, здесь нас уже больше не видели. Тони выложил свой план – по этой стороне пробраться до реки, под нижней кромке опоры под мостом обратно на ту сторону, где эстрада, и там уже напролом через камыши. Эта сторона дороги, по которой нам предстояло красться, жутко заросла. В сумерках нельзя было сказать, что там такое, но мне показалось, что крапива.

Тут с моста к нам подошли две девочки, П-Мея и ее красивая подруга. Вынырнули из темноты, как привидения. К моему изумлению рот открыла первой красивая подруга.

– Вы меня звали?

– Мы?

Я даже не знал, как ее зовут. Да и никто не знал. Но Нелю было не разубедить:

– Это же были вы! Что надо?

Она невесть почему была даже сердитей, чем обычно, в то время как красивая подруга была непривычно весела. Улыбалась, как чокнутая. Однако Неля перехватила руководство:

– У нас есть лишний билет, вам не надо?

На нас напал смех. Непонятно было, что им сказать. Подруга решила нас доконать:

– Берите! Дарю!

Все робко протянули руки, кто-то взял, но это был не я. Подруга продолжала:

– У меня сегодня день рождения!

Мы еще меньше понимали, что следует сказать. Кто сказал «М-мм», кто «О-оо», пока я не нашелся и не сказал:

– Тогда выставь нам пивка!

О, все наши счастливо и благодарно засмеялись. Юбиларша застеснялась и закрыла рот. Неля взяла ее под локоток, идем. Тони помахал билетом и воскликнул:

– Я тогда пошел, найду Марека, и пусть он вас проведет, да? Хорош, встретимся там!

И побежал вместе с девочками через дорогу.

Мы остались. Зомби сказал:

– Поехали!

И нырнул в чащу на обочине. Мы следом, мы следом.

Уже после первых шагов заросли поднялись выше головы, а почва под ногами просела.

– Я уже в реке! – возвестил Зомби.

Мы стояли на узкой, поросшей камышом песчаной отмели у самой воды. Я вдруг вообразил, что Тони – ужасный предатель. Он нас бросил. Сам подговорил пробираться через чащобу. И П-мея – тоже предательница.

Тем временем Смерть принял командование.

– Выпьем!

Вербочка полез во внутренний карман кожанки. Там была бутылка, уже без пробки. По вкусу – Рижская водка с запахом черной смородины по 2,05 лата пол-литра. Смерть также предложил третьлитровую емкость с неизвестным напитком. Все мы закурили, и дымы застлали темный силуэт Елгавы на той стороне; когда-то там стояла синагога, а теперь лишь простые дома и та Башня, ради которой мы в этот вечер и существовали. Когда бутылка, обойдя три круга, шлепнулась в реку, принесся, подобно вести, свою пустоту и последние аккорды Frontlines, мы дружно повернули направо и нырнули под мост.

Я суперосторожно пробирался по узенькой песчаной косе. Рядом что-то плескалось. Это был Зомби, он как забрел в реку, так и оставался там и в данный момент двигался по колено в воде.

– Зачем ты идешь по воде?

– Просто так.

Вот и мост. Мы вошли под него, как под крышу. Песчаная коса кончилась, мы вступили на твердое, но круто вздымающееся наискосок основание опоры. Смерть постучал по одной из бетонных колонн:

– До чего крепкий мост! Может, выпьем?

Как эти его слова прозвучали! Акустика нас напугала, и мы пили втихую (на этот раз я не заметил, кто вытащил емкость). Я глотал сладкова-

тую жидкость, она стремилась вниз, как река, с болезненным всхлипом, которому резонировали перила моста. По мосту проехал огромный, должно быть, последний автобус на Озолниеки. Смерть мочился в реку, воспроизводя звук водопада.

Но еще громче прозвучал голос, произнесший:

– Вы идиоты!

Я глотнул водки, попало не в то горло, и сердце ее оттолкнуло. Голос был женский, притом звучавший сквозь слезы. Не могла бы это быть Белая Дама? Смотрительница госпожа Анна сквозь слезы самолично лицезрела ее во дворе, у большого колокола. Далеко ли отсюда дворец?

Но никакая белая дама то не была. Это была та же самая Неля с подругой. Вербочка с полным основанием разозлился:

– Что вы тут забыли?

– Ничего. Хотели посидеть под мостом.

– У вас, может, есть еще один лишний билетик?

– Нету.

– Где Тони?

– А кто это?

– Тот джек.

– Ну, он там.

Я выпил еще, чтобы успокоить душу. Как глупо, как глупо это все! Разве мы не должны быть давно уже там, внутри?

– Пошли туда!

– Пошли! Дай выпить.

– Почему вы писаете в Лиелупе? Вы что, дебилы? – подала опять голос П-мея. – Это так некультурно!

Я подумал, что она, может быть, все-таки призрак. И в тишине, до того, как Зомби успел заржать, я услышал звуки фортепиано.

– Слышите вы? Рояль!

– Где?

– Во дворце, слышите?

– Ни в каком не во дворце. Акустика обманчива. Да это и не рояль. – Смерть всегда оставался самым рациональным из нас.

– Это же Грустные камни. Пошли, наконец, на концерт.

И мы пошли. Это и в самом деле были Грустные камни, уже можно было слышать слова:

Под светом Луны мои грустные камни

Раскрылись, пурпурный бутон расцветает,

И падают каменные семена,

И вот я ребенок, что жизни не знает.

И вот мы уже у самой эстрады. Контролер меня схватил и держал твердо, хотя я и не пытался бежать. И другие стражи стояли вокруг нас. Тот, что держал меня за шкуру, спросил:

– Что будем делать? Отведем в ментовку или как?

Не у меня он это спрашивал. Но я-то совершенно точно знал, что мне никак нельзя в ментовку, в этом случае в дело были бы вовлечены мои родители, а это ведь никак к ним не относится. Неожиданно вмешалась Неля:

– Они пришли к нам в гости. Я живу тут рядом!

– Где это «рядом»?

Стражи посмотрели на тростники, на реку. К нашему кружку присоединились три новые темные фигуры. Ополченец обратился к ним:

– Поймали! Хотели пролезть через хвощи.

– Да это же мои! Моя группа, им сейчас выступать!

Это был Марек. А с ним рядом – Тони.

Все контролеры посмотрели на Марека, который подтвердил:

– Ну да.

И стал указывать пальцем на всех по порядку:

– Гитарист, солист, басист, второй гитарист и менеджер.

Почему, почему я – менеджер? Почему не кто-нибудь другой?

У ополченца был другой вопрос:

– А ударник?

Марек немного, совсем немного обидевшись, отвечал:

– Я ударник!

Все снова посмотрели на тех, кто не были ни Марек, ни Тони, но выглядели главнее других. Тот спросил Марека:

– Но, но, но разве твои уже не отыграли?

– Да нет же! Следующие!

Главный из пропускающих застыдил, что не знает музыку. Он был точно такой же волосатый, но повзрослее, и он махнул стражам, мол, пропустите. Мы все вошли. Один из контролеров спросил:

– Но что вы делали там...

Другой оживился:

– А девушки? Девушки? Кто они такие?

Тут все обменялись взглядами, а девушки взвизгнули:

– У нас есть билеты!

И таким образом мы все оказались внутри. Тони сердито произнес:

– Где вы шастали? Мы ждали, как последние лохи.

Смерть спросил Марека:

– Ты точно после Грустных камней играешь?

– Давно уже отыграл, – ответил Марек и ушел, тоже сердитый.

Но мы уселись на скамье перед сценой. После всего пережитого мы, как хотите, заслужили право послушать музыку.

Музыка была хороша. Девушка в тяжелой музыке – сама по себе событие, по крайней мере тогда так было. А тут еще и гроулинг!

Земля немая так щемяща...

Публика, правда, была не слишком отзывчива. Перед сценой прыгал один-единственный фан, довольно симпатичная блондинка.

Зомби принес нам всем пива в дрожащих пластмассовых стаканчиках. Я отпил и понял, насколько и правда хороша эта музыка. Хелена выдавала балладу еще чувствительней, и блондинка подсказывала еще выше. Меня охватило волнение, и я попытался пробудить высокие чувства в Зомби тоже:

– Ну ведь клево?

– Да, свинка хрюкает ничего себе.

Таковы его комплименты.

Грустный камень кончили играть, наступила пауза – странно, разве мы не появились здесь только что, изголодавшиеся по музыке? Едва успели устроиться на скамье, Вербочка всего лишь раз облился пивом, а в воздухе уже повис вопрос: «Что будем делать?» И в этот самый миг к нам присоединился тотально незнакомый волосатик и прошептал:

– Нос схлопотал по носу! Пошли!

Мы поднялись и последовали за ним. Он нас привел к сцене, где сгрудилась группа людей. Опершись на край сцены, там стоял Нос и стирал с лица кровь. У него действительно был перебит нос, очень эффектно, темная полоска шла точно посередине, из нее показывались одна за другой крупные алые капли. Нос пальцем снимал их и размазывал по щекам.

С ним рядом стояли два парня. Но не те мои бандиты. Это были наоборот мои друзья детства Анри и брат Дикого, с которым я когда-то впервые в жизни напился. Вокруг этих троих стоял кружок металлистов. Брат Дикого, казалось, ответил на мой незаданный вопрос:

– Но он меня толкнул! Ну, может, и нечаянно, не знаю. Что я, всем позволю себя толкать?

Я сделал шаг вперед и спросил Анри:

– Анри, ты?

Он отрицательно помотал головой: нет, не я. Какой-то кудрявый волосатик, видимо, возглавивший переговоры, жестом показал, чтобы я не вмешивался и убирался. Вышло как-то обидно, и мне захотелось крикнуть моим старым друзьям: «Все равно вам гореть в аду, так заодно врежьте и этому пуделю!» Но я ничего не сказал, однако и не ушел. Анри ни на кого не смотрел и медленно нащупывал что-то во внутреннем кармане куртки.

Только почудилось, что вот-вот начнется, как подошла охрана. Они были почему-то сердиты. Сходу заорали:

– Что тут происходит?

Смерть махнул в сторону Носа – мол, смотрите сами. Подошедшие посмотрели. Нос стирал кровь с разбитого носа и размазывал по лицу. Вопрос был неизбежен:

– Кто это ему разбил нос?

Я подумал, что Носу действительно не везет – и побили, и еще орут. Но почему он ничего не говорит? Молчали и Смерть, и кудрявый, все молчали, и Анри тоже, он смотрел куда-то вдаль и глотал слюни. Нос отрицательно помотал головой, помахал кровавой рукой – оба жеста вышли туманными – и побрел прочь.

Мы молча и не оглядываясь рассеялись по сторонам. Взвыла гитара, очень знакомо, у меня мурашки прошли по спине – что это? Мы со Смертью переглянулись и ринулись к сцене.

Это же были Huskvarn! Во времена, когда для нас все было незнакомо и ново, они уже были знамениты (у меня имелась только что изданная кассета „Bomb Brain Melodies”). Все сломя голову неслись к сцене – йе-е, Huskvarn! Барабаны выпалили, как из пулемета, расстреляли ночь, бывшую до того. Опять взвыли гитары, уже гораздо мощнее. Правда, правда, раскололся весь мир. Мы ловко протиснулись к самой кромке. Тут уже собрались более или менее известные персоны. На ближайшей к сцене скамье, с распахнутыми глазами гения и очками, вlepенными в лицо, разлегся славный Йоневс, полностью погружившийся в мир мечты. Еще ближе к сцене прыгал Густавс, а как же иначе, он был при Huskvarn, точно усыновленный, на всех концертах. Тогда он еще и не предполагал, что вскоре станет рэпером и звать его будут Густаво.

Урбис облапил микрофон и прорычал:

– Здрравствуй, Елгава!

Сам не зная, что в точности повторил пароль латышских стрелков в Рождественские бои Первой мировой. Тут уж духам стрелков нужно было воспрянуть. И они воспряли! Ударник вдобавок ударил со всей силы: такатакатака! По двум бочкам, понятно.

Урбис прорычал еще раз и еще громче:

– Здррравствуй, Елгава!

На этот раз слова разнеслись далеко. На дальнем краю кочкастого луга павший герой рывком принял положение сидя. Он был еще наполовину в земле, и во лбу его зияла дыра. Но он вслушивался. Ближе к Елгаве слышалась канонада. «Уже у Елгавы!», сказал мертвый стрелок и выбрался из земли. Он погрузил руки в болотистую почву и через мгновение достал винтовку Мосина. Перебросил ее через правое плечо, застегнул шинель и сноровистым солдатским шагом двинулся к источнику пальбы.

Мы тем временем уже бросали по воздуху головы. Свои. Теперь мои волосы были достаточно длинными, и я полноправно участвовал в хэд-бенге, роскошном танце металлистов, где не нужно было приглашать девушку и зависеть от ее милосердия, а можно было всей копной волос бить их по задикам, но внимательно, чтобы не врезаться носом куда не надо. Вообще-то старушенции тут не имели никакого значения. Я был не я, а уникальный дух в тысячеглавом теле. Те задика были и мои тоже. Да мне ничего такого и не требовалось, только музыка, что обрушивалась на нас. И мы сами были эта музыка, и мы с грохотом обрушивались на всех.

Я и вправду рухнул. Свалился на доски эстрады, заодно со страшной силой толкнув еще кого-то. Я уже знал, что толкаться здесь небезопасно, и поспешил взглянуть на свою жертву. И увидел девичьи ноги. Мое великолепное воображение за долю секунды нарисовало, как это нечаянное знакомство перерастает в бурный и трагический роман. Я поднялся, поправил воротник куртки и взглянул на девушку. Их было двое, парочка, тьфу, в тесном объятии. От моего грубого толчка их челюсти разошлись и глаза на миг опустели. В ней я узнал симпатию Смерти недавних детсадовских времен; она повернулась, и стали видны коленки необычайной формы. Она заметила Смерть и влажным ртом выдала:

– Я тебя знаю!

Тут Huskvarn выдали тоже взрывной пассаж в лучших традициях Елгавского трэша, и ответ Смерти расслышать не удалось. Девушка смотрела на него с явным интересом и пыталась еще что-то сказать. Джек,

державшийся за нее, в свой черед непонимающе смотрел на девушку. Я стоял и выглядел наверное глупее всех, не зная, куда мне смотреть.

Huskvarn подарили народу небольшую паузу, и девушка сказала Смерти:

– У тебя новая куртка!

Я взглянул на своего друга. На нем была черная кожаная куртка. В самом деле новая? Вроде бы и раньше была черная. Но может быть и новая, у старой был порван рукав.

Смерть помахал мне: пойдём выйдем, и мы вышли.

Жаль мне было моего друга. Я думал – как ему не везет. Я по крайней мере мог смело бродить по местам, связанным с миром метала, ибо хорошо знал, что свою любимую там не встречу, она в надежном месте, в объятиях другого моего друга. А Смерть, бедняга, и шагу не может ступить без помехи. Я бы хотел его как-нибудь утешить, но тогда еще не умел. Что я должен был сделать? Угостить сигаретой? Табачок вместо любви – разве это адекватная замена? К тому же у меня не было сигарет, я сам стрелял их у Смерти. И все же в интересах исторической правды надо сказать: вместе с сочувствием я испытывал нечто вроде радости или облегчения.

Умиравший стрелок склонялся наземь невдалеке от сцены. Он был уже почти рядом, за кабинками сухих туалетов. Подойти еще ближе означало бы оказаться на пустом ровном поле. Он не боялся, но оценивал ситуацию. Стрелок старался вспомнить план операции, буквально выпавший из головы. Оставалось только чувство земли, родной земли.

Внезапно двое возникли прямо перед его укрытием. Эти двое были мы, я и Смерть. У каждого из нас в руке было по банке пива, а во рту – мятые сигареты. Я спросил:

– Ку-дм?

Я не умею говорить с сигаретой во рту. И дым лез, как нарочно, в глаза. Смерть отвечал:

– По-сть.

Стрелок наш язык не понимал, но, когда мы поставили на землю пиво, верно почувствовал, что мы готовимся достать оружие. Он приложил винтовку к плечу, еще не решив, кого убрать первым. Неизвестно почему он выбрал меня.

– Чао, Петерис! – кинул Смерть какому-то симпатичному металлисту, приостановившемуся за кустом тут же рядом.

– Чао!

Стрелок оттянул затвор, посмотрел. Пусто. Последний патрон истрочен, видимо, перед тем, как его самого скосил пулемет. Он сжал винтовку крепче. Есть ведь и штык.

Смерть обменялся парой слов с соседом. Я подошел знакомиться, но не успел.

– Э, мне пора идти играть.

– А ты где играешь?

– Ну как же. В Grindmaster Dead.

И Смерть повернулся ко мне:

– Сейчас начнут Grindmaster Dead!

Но Петерис вскрикнул:

– Ой!

Стрелок вонзил штык ему прямо в сердце. Как положено призраку, он был истощен и невидим, и штык его был точно таким же и одновременно все еще острым, так что Петерис прижал руки к груди.

– Что? – спросил Смерть.

– Ничего.

Но что-то было.

– Идем, идем!

И он поспешил на сцену. Я не понимал, что происходит – хмель ударил в голову, что ли? Но что я должен был понимать. То был уже рассказ не мой, а Петериса.

Grindmaster Dead сыграли просто великолепно. Я не мог поверить, что слышу все это своими ушами, как всегда, когда передо мной происходило что-то чудесное. Настоящий doom, прямо как за границей. Я представил себе, что нахожусь где-то в другой стране, что играет группа из Швеции или, может быть, Голландии. Ей-ей, звучало, как если бы играла первоклассная зарубежная группа. Я не знал, что это чуть ли не последний концерт Grindmaster Dead, что в этот вечер группа фактически завершит свой путь перед моими ничего не видящими глазами.

Я взглянул на Смерть – забыл ли он свои глупые сердечные дела. Он выглядел таким же мрачным, как всегда. Решил подначить:

– Потрепали тебя капитально, а?

– Ну да.

– Чао, бесноватые!

То были Артурчик, тот, кто в детсаду предлагал вместе делать группу, и его друг Чурка. Чудо, что я их не встретил раньше. Пожали руки, и друзья сообщили:

– Ходили в Шестой магазин.

Ага. У Чурки, как обычно, один из карманов джинсовой куртки был заметно оттопырен и оттянут вниз.

– Туда – все нормально, идем обратно – о, да! Рыл шесть их было. Мы так и свалились. Ну, ты может и подержался чуток, а я упал сразу. Лежу, лицо прикрываю. Прикрываю, прикрываю лицо, лежу, надоело. Думаю, долго еще? Посмотрел сквозь пальцы – а там такой амбал меня лупит!

Чурка засмеялся, словно рассказывал о чем-то смешном и приятном. Ему это всегда удавалось так обаятельно, что тупым его могли назвать разве девчонки.

– А бутылка? Что с бутылкой?

– Не учи дедушку кашлять!

Бутылка действительно была выбрана с умом, пластмассовая емкость с водкой. Мы все отпили из абсолютно неповрежденной посуды, и парни двинулись дальше.

– Мы еще обойдем территорию, а дальше встреча на мосту. Будет та еще заваруха.

Артурчик повернулся ко мне:

– Ты обдумал то, о чем мы говорили?

Это прозвучало хорошо – как если бы мы с ним вступили в заговор и намереваемся прикончить герцога. Я, правда, знал, о чем речь, и ответил:

– Обдумал.

Артурчик не спрашивал, к чему я пришел, только помахал рукой и ушел.

А я стал думать: может быть, я ничего такого и не хочу. Зачем мне обязательно играть в группе? К чему эти лишние хлопоты? А если ничего не выйдет? И вообще – играть-то я могу? Ничего мне не надо. Есть же нормальные джеки, которым и в голову не приходит создавать группу.

Тут Смерть спросил:

– Может, сделаем группу?

Именно так, совсем просто и спросил. Мне пришлось ответить:

– Да, нужно бы. Давно пора.

– Ты дома много играешь на гитаре?

– Да.

Не смог удержаться, задал встречный вопрос:

– Что ты бы играл?

– Я буду петь, – вздохнул он. – Вообще-то мне нравятся ударные. Но кто-то ведь должен и петь.

– А кто на барабанах?
 – Есть один джек на примете. Видишь ли, он может и барабаны достать. Но в таком случае хочет сам играть. Да он играет нормально, мне кажется.
 – Это ничего. Петь – тоже дело.
 – А у тебя гитара есть? Электро.
 Неожиданный вопрос. Он ведь сам знает. Или он думает, что я держал бы такую вещь в секрете?
 – Есть.
 – Что? Правда?
 – Пока нету. Но я уже присмотрел.
 – Какую?
 – Хорошую. Отличную.
 Гитара была так хороша, что можно было лишь показать ее, уже добытую, говорить не стоило.
 – Так у тебя что, есть деньги?
 – Есть. То есть пока нет, но есть верный способ добыть.
 Смерть мне поверил сразу. Он видимо решил, что это вечер откровений, мир был распахнут, он сам был открыт и от меня ждал того же. И правильно делал, я говорил чистую правду.
 – Ну что, тогда уже скоро начинать.
 Тут подскочил Зомби, кипя негодованием:
 – Где вы вечно пропадаете?!
 Вокруг ниоткуда возникли все: Вербочка, Тони, Артурчик, Чурка, Неля, Подруга, Хлеб, Гиртс, Диджей, пара незнакомых металлистов и одна девушка в положении.
 Зомби воскликнул:
 – Пошли на бал!
 Но кто-то его охладил:
 – Тс-с, блин!
 Все перешли на другую сторону дороги. Эстрада уже молчала. Когда мы взбирались вверх по насыпи, я поинтересовался:
 – Куда это мы?
 И чей-то не поддающийся идентификации голос ответил:
 – Домой.
 Дом был за двумя мостами. По ту сторону дороги кто-то маячил. Голос тихо окликнул нас:
 – Куда вы, дурни? Вас там уже ждут.

Я подумал: наверное, дома ждут не дождутся кого-то. Хлеб сказал с вызовом, гордо и громко:
 – Нас тринадцать!
 Это, наверное, был прекрасный вид, когда мы все тринадцать подошли к мосту. Нас, похоже, там заметили, на мосту зашевелились тени, тоже тринадцать, нет, больше.
 Наша поступь замедлилась, и кто-то, вроде бы Тони, спросил:
 – Сколько их там?
 – Побольше, чем нас.
 – Зато у нас – цветущая вербочка!
 Это, конечно же, был Зомби, никогда не перестававший шутить. Никто не засмеялся.
 – Что делаем?
 – Перейти-то надо!
 – Покидают в речку.
 – Ну, так что делать будем?
 Тени двигались, качались, у каждой была гладкая голова и текучие ноги (в трениках, ясно!), но мне было все равно. Я окончательно решил, что действовать буду так, как решат другие, могу идти через мост, могу повернуться спиной к мосту, дышащему угрозой; могу остаться на этой стороне, на онемевшей эстраде.
 Тони сплюнул и сказал:
 – Пошли кругом! По железнодорожному мосту!
 – Это ж далеко!
 – Недалеко.
 – Километров пять!
 – Больше!
 – А ну вас в жопу!
 Это был Вербочка. Тони не обиделся.
 – Тогда оставайтесь здесь.
 И независимой походкой пошел через дорогу. Через десять шагов остановился и помахал рукой. Мы все разом, словно проснувшись, последовали за ним. Я немного поотстал, еще раз обернулся к тихой эстраде, мотнул головой, повернулся лицом к мосту и стоял совсем один против всех теней. Не мог понять, видят ли они меня: одинокий, небольшой и темный объект на фоне темной дороги.
 Повернулся кругом и вприпрыжку стал догонять своих. Опять прочь от дороги, в заросли камышей, только теперь мы двигались вдоль реки.

Скоро выбрались на нормальную песчаную тропу. Переход был веселый, все у всех стреляли сигареты, спрашивали выпивку, но ни у кого ничего не осталось. Я подчеркнуто держался на отдалении от Смерти: после заключения тесного союза уместна как бы некоторая холодность. Я шел вместе с Нелей и Подругой, оживленно болтая, может быть, слегка кокетничал с обеими разом. Еще думал – наверное, мне помогает темнота, был тотальный мрак, все непрерывно падали и наталкивались друг на друга. Но нет, тьма не была тем главным. Мне теперь принадлежало нечто большое, нечто свое, и все другое отступило на задний план.

Очень скоро мы оказались на железнодорожном мосту. Идти в темноте по рельсам не так-то просто. Ясно, шли прямо по рельсам, поезда мы не боялись. И ничего другого тоже. Я воскликнул:

– Пошли все обратно, на тот мост!

Все смеялись и кричали:

– Да! Идем!

Но обратно мы не пошли, шли только вперед – обратно в Елгаву. Наконец, река была опять глубоко внизу, под ногами, я в нее кинул камень. Чувствовал себя почти хорошо. Мне было пятнадцать лет, у меня были друзья, мы нашли другой мост и другой путь, и вокруг была тьма.

Владлен Дозорцев

БЭ–БЛОК

(повесть)

Значит, как все началось.

В декабре 1991-го года я был у Егора Яковлева, уже пересевшего из «Московских Новостей» в кресло шефа телевидения. Зачем он меня позвал? Дело в том, что люди церкви Сан Мен Муна хотели в московский эфир, и Егор искал тех, кто писал о дутых Ворлд лидершип конференц преподобного прохиндея, а я же был на приеме у Муна в Вашингтоне дважды.

Там вообще оказалось много хорошо известных мне и Егору людей – начальник Шестого управления МВД генерал Гуров, например, или еще один генерал – Калугин, сбежавший из КГБ в Америку несколько раньше. Была Галина Старовойтова, Ролан Быков, Римма Казакова, рижанин Юрис Подниекс и т.д. Так что за чашкой кофе в Останкино нам с Егором было что обсудить, если бы не свежие события, о которых Егор тут в Москве мог знать, конечно, больше, чем я у себя в Риге. Ну, в разговоре о горячем он и наступил на имя еще одного рижанина и нашего общего знакомого – Бориса Пуго, покончившего с собой вместе с женой Валентиной совсем недавно – 22-го августа. Поговорили о Пуго.

Егор мало что мог добавить к уже общеизвестному: кто в кого стрелял – член ГКЧП в жену или жена в него. Об этом, он сказал, лучше спросить у Григория Явлинского.

У Явлинского?! Я удивился.

– Ну да, он с группой ехал арестовывать министра внудел и был в нехорошей спальне сразу после выстрелов.

– Да?! Я не знал. И что Явлинский?

– Ну, у него же всегда свои неотвеченные вопросы.

– А следствие?

– А никакой конспирологии. Уголовное дело закрыто, конечно.

– За отсутствием состава?

– Да, самоубийство. И по нему закрыто, и по Ахромееву, и по управделами КПСС Кручине – прыгнул с балкона и все. И ты еще, может, не знаешь: сорок дней спустя за ним прыгнул его предшественник Георгий Павлов – он шел по выделенному из дела ГКЧП протоколу 18-6220. Это знаешь, что?

– Это я знал, что – я собирался давать в моем журнале материалы о поисках денег КПСС. Тогда все только этим и занимались. И что следователь?

– Аристов раскопал 7 миллиардов.

– В рублях?

– В рублях, в рублях.

– А остальное?

– А Швейцария отказалась даже обсуждать запрос России... А тут еще через две недели самоубился пом Кручины Лисоволик. А месяц назад отвалил один из распорядителей этих денег Бардыш – застрелился в палате Бэ-блока Четвертого управления Минздрава. Или его застрелили. По нему дело еще не закрыто.

В принципе, Егор не сомневался в первых пяти случаях самоубийств: там и мотивы есть, и предсмертные записки, и вполне прозрачные криминалистические экспертизы, хотя способ самоповешения маршала Ахромеева для военного человека был очень странным – на шнурке под подоконником, сидя. А вот по Бардышу – нет ни мотивов, ни записок, но зато есть тот, кто был при этом.

– Ну, раз есть свидетель...

– Пока как свидетель.

– То есть?!

– Допрашивали лечащего врача. Кстати, рижанку. Некую Ропшину. Ты ее не знал?

Я оттопырил ухо:

– Не Александра?

Егор имени не знал. При мне позвонил своему репортеру, имеющему свои контакты в прокуратуре – с его слов он и знал о случае. Выяснил: Александра. Спросил, откуда я ее знаю.

Я рассказал, что два года назад я послал в Спитак и Ленкорань своего спецкора, и он привез оттуда драматические материалы об армянской трагедии – землетрясении 7-го декабря. Я их публиковал в своем журнале. И какое-то время спустя среди читательских откликов наткнулся на письмо от московской медички, попавшей в Спитак на спасательные работы. Она была огорчена неточностями в публикации, которые по бухгалтерски обстоятельно перечисляла. Под письмом стояла подпись: Александра Ропшина, бывшая рижанка, ваша равнодушная читательница. Случай неприятный, я заставил спецкора письменно извиняться, сам звонил ей.

Из кабинета Егора я связался со своим журналом. Там быстро нашли и адрес Ропшиной, и телефон.

Перед отъездом из Москвы в Ригу я дважды был у Александры Ропшиной в ее двушке на Варшавке. У нас быстро нашлись знакомые по Риге,

и она ко мне сразу расположилась. Подробно рассказала о допросах.

По ее мнению, пока для нее ничего страшного. Да, была при Бардыше по должности всю последнюю ночь. Допрашивают не только ее – ночного дежурного по Бэ-блоку, шоферов Бардыша, секретарей, двух оперов, сына Бардыша, жену. По вопросам поняла, что ищут его людей в Швейцарии. Никому ничего пока не предъявляют.

То есть особой паники у нее не было. Но запастись оглаской своей истории, на всякий случай, все-таки она решила. И во время второй встречи передала мне на сохранение машинописную копию всего, что она смогла вспомнить из событий роковой ночи в загородном доме Бардыша и в Бэ-блоке клиники 40-го управления Минздрава.

– Одно дело, что я говорю на допросах, – пояснила она, – другое – как это было поминутно, пофразно, подетально, – после чего доверительно сообщила, что оригинал она положит в камеру хранения на Рижском вокзале Москвы. Мало ли как дело повернется.

Я, конечно, заметил ей, что она, видимо, совсем одинока в этом городе, если выбрала в конфиденты человека из Риги, которого видит первый раз.

– Но я вас читала и говорила с вами, – она выставила маленькую ладошку, как бы защищаясь. – А насчет этого города... Да, – согласилась она, – я для него – провинциалка. Рига поменьше, потеплее. Может, вернуться?

Это было за неделю до того, как ее задержали и следом арестовали. Об этом я узнал уже в Риге.

Два слова о Ропшиной. 8 лет назад окончила рижский мед. Пахала на скорой. О родителях говорить не хочет: бежала от них в Москву с одним заезжим орлом, о котором говорить тоже не хочет. В Москве ее взяли терапевтом в 12-ю психушку на Волоколамке, по другому – Канатчикову дачу, откуда потом она и попала на спасательные работы в Спитак. По возвращении из Армении пробилась в штат клиники 4-го управления. С чьей помощью, говорить не хочет, хотя туда так просто не попадешь.

30 с половиной лет. Маленькая, блондинка, ладная, стрижка – что-то вроде слоистого каскада. Манеры нежесткие, но говорит с интонацией, которой говорят с пациентами.

Копия ее записей удивила меня, прежде всего, абсолютной грамотностью: кроме нескольких опечаток – ни одной ошибки даже в самых сложных языковых оборотах. Обычно, это хороший личностный при-

знак, как и чрезвычайная тщательность в указаниях времени событий – в часах и минутах.

Что касается самого мяса – кто кому что сказал и что при этом сделал, то совершенно понятно, что рассчитывала не на публикацию своего свидетельства, а на людей, которые захотят или должны разобраться, а поэтому выбрала самый простой способ передачи роковых событий, именуя персонажи, как это делается в пьесах – ИВАНОВ (сказал), ПЕТРОВ (ответил), СИДОРОВ (опрокинул тарелку).

Пьесы читать никто не умеет, кроме людей театра. А так как я хотел, чтобы читающий не только «разобрался», а «проникся» или хотя бы «почувствовал», пришлось местами убирать все эти бесконечные примерные часы и минуты, указания «он мне», «я ему», да еще с психологическими ремарками – то есть переплавить запись в естественное повествование, хотя никаких собственных соображений и рефлексий я себе при этом не позволил. Вот эта история.

Значит, без трех минут 20 позднего вечера Ропшина с белым медицинским чемоданчиком вошла в загородный дом Бардыша – ее впустил его водитель Кривенко. Провел в просторный холл с камином и роялем. Тут же откуда-то вышел недовольный хозяин в спортивном. Не здороваясь, резко спросил:

– Вы... зачем здесь?

– Мне позвонил замначальника четвертого. Сказал, вы просили срочно приготовить палату в Бэ-блоке. И утром ляжете. Я все взяла и сразу – сюда, – и она стала щелкать замками чемоданчика.

Бардыш возмутился:

– Было сказано приготовить Бэ-блок! Я не просил никого на дом! Кто приказал?

Ропшина попыталась смягчить:

– Никто. Я сама. Раз срочно. Значит, что-то серьезное. Вот давайте разбираться, – и открыла чемоданчик, приветливо улыбаясь.

– Вот лягу, тогда и будете разбираться. Отправляйтесь домой. Спать. До завтра.

Ропшина, мягча, вынула стетоскоп:

– Зачем же время терять! До завтра мы успеем составить предварительный диагноз. А то и меры примем. Ну, что болит, что тревожит?

Бардыш выпрямился:

– У меня сегодня нет на это времени. Может такое быть? Все.

Ропшина вынула аппарат для измерения давления:

– Я много не займу. Был трудный день?

Но Бардыш перебил:

– Я что, на китайском говорю? Переведу: мне-не-до-э-того-сей-час.

Стараясь держать улыбку, Ропшина развернула ленту вилькро:

– Вам всем не до этого. Я знаю. У всех все горит, все важно, все, только не собственное здоровье. Ну, прямо как дети. Вы лучше закатайте рукав.

Дальше вышел такой шум:

– Слушайте, Ропшина! Я с вашим предшественником быстрее договаривался.

– Вот он вас и запустил. Вы извините, о покойниках плохо не говорят, но... я думаю, он вас просто побаивался. Вас тут все боятся... Ужас! – и она извлекла пробники для крови.

– А вы, значит, еще совсем не пуганная.

– Да трусиха, как все. Но я с собой работаю.

– Вы работаете со мной! И я вам говорю: не-сей-час! Короче, даю три минуты на аварийные сборы. Три минуты!

Ропшина попыталась удержать улыбку:

– Пять – семь. Я что – о себе? Речь о вашем, о вашем здоровье.

– Да плевать я хотел на мое здоровье! Тут земля уходит из-под ног! (Мягче.) Да, вот так бывает, что есть нечто поважнее, чего вам не понять, – тут он увидел в руках доктора пластмассовую баночку с крышечкой. – Это еще... что такое?

Ропшина протерла баночку салфеточкой:

– Это контейнер для мочи.

Ну тут Бардыш и взорвался, стал хватать все и запихивать обратно в чемоданчик, уронил пластмассовую баночку на пол и растоптал:

– Ну-ка вот что! Давайте отсюда к чертовой матери со своим контейнером! Кто отвечает за персонал, в конце концов!

Ропшина попыталась не обидеться:

– Ну и? Что вы наделали? Где я возьму другой контейнер? – И решила смягчить шуткой:

– Тут же только – вазы для цветов и бутылки из-под коньяка. Можно, конечно, попробовать...

Но Бардыш оборвал криком:

– Ропшина! Тебя, наверное, научили лечить, а вести себя со старшими не научили! Я тебе кто!?

Ропшина было растерялась, но тут же нашлась:

– Вы мне... Вы мне – большой... бюджетный пациент, а я вам – м-а-ленький бюджетный лечащий врач. Метр пятьдесят пять. – Но тут она поменялась в лице и твердо сказала, со стуком возвращая все на стол:

– И отвечаю перед государством за ваше здоровье. И вы мне меша-ете работать. Я держу людей в лаборатории. И чтобы завтра в Бэ-блок я вызвала нужных специалистов, я должна уже сейчас иметь на руках ваши объективные данные и анамнез и всю ночь думать над ним. Что это такое – приготовить Бэ-блок? Смахнуть пыль с мебели?

Бардыш зыркнул на часы, зачем-то снял их с руки, как это делает тот, кто готовится к драке:

– Обычная карьерная демагогия. Слышал тысячу раз. Никогда терпеть не мог. Немедленно прекратите. У меня сейчас тут будут люди. Они уже едут, летят, плывут. Черт с вами. Завтра в Бэ-блоке... делайте из меня... коктейль и салат... Но только оставьте меня сейчас одного!

– Как только получу мочу! – почти нежно заблеяла Ропшина, а потом добавила проще, буднично:

– Мочу, кровь, давление, кардиограмму, жалобы...

Бардыш схватился за лоб:

– С ума сойти, – он вернул часы на место, но закатал рукав. – Только скорее.

Ропшина ловко обхватила лентой вилькро предплечье:

– Да секундное дело, господи. Вы говорите, говорите. Экономим время. Что почувствовали и когда? Опять загрудина?

– Вы вообще как попали в мой обоз?

Ропшина тут же успокоилась:

– Моя кандидатская – по вашему профилю. Вы понимаете, больше никто тут не работает с дисфункцией гипоталамической структуры. Молчим, – стала вслушиваться. – Высоковато. Так, давайте теперь исключим фактор самого сердца. Ложитесь на диван, – она развернула портативный кардиограф. – Закатайте брюки. Я вот что думаю: вы помните, я говорила вам, что однотипность этих ваших болей с инфарктными обычно пугает человека и усугубляет картину. Человек думает: ну все, мотор. Плюс запах сердечных средств. Плюс холодный пот. Ну и пошло. А это обычная ДГС. Когда я вам объяснила, вы стали куда спокойнее. Видите? Вы же мне всем своим организмом помогать должны. Это сложная, малоизученная редкая болезнь. А вы на меня тут напустились.

Ну ладно, ну черт со мной. Я-то не обижаюсь. Вы только мне доверяйте и все, – она посмотрела кардиограмму. – Так, ну тут ничего особенного. Для вашего возраста – обычное сердце. С проблемами, конечно, но другого у нас нет. Будем жить с этим. Так, дайте-ка палец. Вообще, завтра я возьму из вены. Мне нужно посмотреть сахарную динамику. Вот почему за столько лет он этого не сделал? Хотите, я вам скажу, сколько? Всего три!! Это сгорает сахар. Вопрос в том, как подавить излишний инсулин, – и она снова сунулась в чемоданчик.

Пока Бардыш приводил себя в порядок, спросила, нет ли в доме какой-нибудь баночки с крышечкой, но хозяин показал толстую фигуру:

– Только что был в сортире. Нечем и точка! Завтра!

– Ну, завтра. Хотя, знаете, раньше хороший доктор без анализа мочи и гланд не лечил. А как же, – и стала усаживаться поудобнее.

Но дальше все сломалось и вот что вышло:

Бардыш:

– Так, ну гланды у меня в порядке. Их давно нет, – и стал засовывать приборы в чемоданчик. – Давайте, доктор, спасибо, до завтра.

Доктор, (заторапливая):

– Да, да. Вы только несколько слов о главном. Значит, что вы почувствовали?

Бардыш, защелкивая на чемоданчике замки:

– Ну в общем... вот это самое и почувствовал, – и стал почти выпроваживать. – Давайте утром...

Ропшина:

– Сначала вот тут?

Бардыш:

– Вот тут.

Ропшина:

– А потом пошло вот сюда?

– Вот сюда...

– И потом – страх?

– Что-то в этом роде... Значит, утром, да?

– Что за люди?

– Какие люди?

– Которые едут, летят, плывут. Тут что сейчас будет? Вы что, собираетесь работать?!

– Упаси бог! Какая работа!? Отдам последние указания и все. Так сказать, перед тем, как отвалить... В Бэ-блок, в Бэ-блок.

Ропшина добавила строгости в голос:

– Поставьте рядом с собой стакан воды. И по глотку, если что. Никакой работы. Узнаю – жене скажу. И уйду. И пусть вас лечит начальник 4-го. Он большой специалист. Ухожу. На ночь спиртного не пить, утром не есть.

Надела кроличью шубку и убыла. Из служебного помещения вышел Кривенко – проводить до дежурной скорой. Ропшина спросила:

– Имеете на него какое-нибудь влияние?

Кривенко удивился вопросу. Подумал. Потом ответил спокойно:

– Разве что по режиму.

– По режиму, по режиму, – обрадовалась Ропшина. – Он сказал, что будут люди, а ему – спать.

Кривенко сообразил:

– Я не по этому режиму. Он – охраняемый объект.

Ропшина тоже сообразила. Спросила:

– А что за люди?

Кривенко пожал плечами:

– Позвонили только насчет жены и сына, – и, видимо, поняв, что это звучит странно для доктора, добавил:

– Они живут в другом месте.

– Больше никого?

Кривенко потоптался у ворот, потом сказал:

– Он позвонил Рите... Ну, вы знаете ее. Скворцова. Из копировального отдела фонда... Но думаю, она не придет.

Ропшина тоже потопталась, наконец, решила:

– Вас как зовут?

– Я Кривенко.

– А имя?

– Имя? – удивился Кривенко. – Меня по имени никто... Кривенко и все.

– Послушайте, Кривенко, мне все равно из какого она отдела. Я врач.

Вы поняли меня?

Кривенко не сразу, но сообразил:

– Доктор... Это не к нему... Это моя Рита... Бывшая... У нас не получилось. Мы год не виделись! Он считает, что я виноват. Я говорил ему: зря вы, Арсений Дмитрич. Но его же не остановишь! Взял позвонил, поднял с постели. Ночь! Она уже не одна! А он: возьмите такси...

Ропшина pokrutila головой:

– Черт вас мужиков поймет, – она помедлила, смерила Кривенко

взглядом и добавила, уже садясь в машину:

– Между прочим, может взять такси. Может.

Через полтора часа Ропшина поднялась на свой этаж в Бэ-блоке, передала дежурной лаборантке материалы, проверила смежную спецпалату и перед уходом домой включила настольный свет, чтобы еще раз открыть историю болезни Арсения Бардыша, прикрепленного к 4-му управлению 8 лет назад. Там, конечно, накопилось – в 57 лет здоровых не бывает. На стол легла литература – что-то нужно было полистать здесь, что-то взять домой – Александра вела высокого пациента только второй год.

В это время позвонили. Ропшина взяла трубку, вскочила:

– Кто?! Где?! Внизу?! Господи, он же сказал: утром! Ой, спасибо, что набрали, – она бросила трубку, вырубил музыка, врубила общий свет в кабинете и в палате. Вспомнила про себя, сбросила тапочки, влезла в туфельки, метнулась к зеркалу, что-то поправила в прическе и выхватила из шкафа белый халатик. Ну, тут и вломился Бардыш. Разговор вышел такой:

Ропшина (застегиваясь):

– Вы же сказали: утром...

Бардыш:

– Сказал. Но вы же сказали: полный покой. Попробуй сейчас там...

Вот за полным покоем и приехал. А вы почему не дома?

Ропшина потянула носом:

– Вообще-то я еще сказала: не пить. Вы, конечно, тут же и послушались. Пижама – в шкафу. Душ?

Бардыш (пройдя в смежную палату):

– Вы во сколько утром приходите?

Ропшина (через открытую дверь):

– Я не ухожу. Вы во сколько утром встаете?

Бардыш:

– У вас – дежурство?

– Арсений Дмитрич, вам стало хуже?

Вошел Кривенко с дорожной сумкой. Бардыш забрал сумку:

– Мне так же. Вы где живете? Это далеко отсюда?

– На Варшавке.

Бардыш (Кривенке):

– Отвези доктора. И сам – тоже домой. Мне больше никто не нужен.

Кривенко:
 – Арсений Дмитрич...
 Бардыш (твердо):
 – Если понадобится, я вызову дежурную машину.
 Ропшина:
 – Арсений Дмитрич...
 Бардыш (твердо):
 – Если потребуется, я вызову дежурного врача. Давайте, ребята, – и взялся закрыть дверь. Закрыл.
 Ропшина (Кривенке):
 – Подождите меня внизу, – и вышла в смежный кабинет, но он зашел следом. В кабинете сказала ему:
 – Вы поезжайте. Я остаюсь, – она выключила чайник.
 Кривенко кивнул. Потом вполголоса:
 – Доктор, я не знаю, как вам сказать... Но вы смотрите за ним. По-моему, он говорит не все...
 – Он на что-нибудь жаловался? Только буквально, – и заварил два чая.
 – Включил какую-то оперу. При отъезде. Ну, музыку. Такую... похоронную... По дороге сказал, что ему не по себе. И держался за грудь. Вот так (Показывает.) Я спросил: сердце жмет? А он говорит: а знаешь, Кривенко, а вот вообще... хорошо умереть от сердца. И смерть легка и хорошо звучит: перестало биться сердце... Правда, потом смеялся. А то, говорит, помрешь от почек... Как в газетах написать? Что перестало-то?
 – Что у него было днем?
 Кривенко нахмурился:
 – Был в аэропорту. Там же Сакаев прилетел. То есть... вы не знаете? (Не сразу). Вам лучше поговорить с Татьяной Павловной. После вашего ухода она была. Был большой крик. Там что-то случилось. По обрывкам фраз я не понял, решил, что из-за сына, – Кривенко вроде хотел еще что-то добавить, но потоптался, бросая взгляды на дверь палаты, дал номер Татьяны Павловны и все-таки собрался уходить.
 – Кривенко, – остановила его Ропшина, – Рита была?
 Кривенко посмотрел на доктора, а потом в пол и ушел. И вовремя, потому что появился Бардыш. Увидел Ропшину, ругнулся одними губами:
 – В чем дело, доктор?
 Но Ропшина нашлась:
 – Я хотела бы... оставить вам... на ночь... кое-какие препараты... И вот вам чай...

– Ну... оставьте.
 Ропшина (приходя в себя):
 – Весь вопрос в том, что оставить. Видите ли, я не совсем понимаю, что с вами происходит.
 – Со мной происходит... сложное. Давайте на этом и попрощаемся.
 – Кривенко сказал, что вы по дороге... – она показала на свое сердце.
 – Давайте так: вы оставьте что-нибудь от сердца и успокоительное. Этого достаточно.
 – Может, еще одну кардиограмму?
 – Утром!
 – Может, вызвать профессора Чернова?
 – А-а, я понял. Вы боитесь ответственности. Хотите, я напишу бумагу: в моей смерти прошу лечащего врача не винить. На чье имя? – он откашлялся и стал набирать номер телефона. – Я жду сына.
 – Он придет сюда?
 – Нужно повидаться (протягивает руку для прощания). Вас дома как зовут – Саша или Шура?
 – Аля.
 – Аля... Знаете, Аля, у вас в жизни все будет хорошо. Вы мне поверьте.
 – Что это вы вдруг? С чего это...
 – Нет, правда. У меня рука легкая. Вот я вам говорю – и будет.
 Аля попыталась высвободить руку:
 – Слушайте, вы меня пугаете. Вы куда собрались?
 – Господи. Ну просто... хотел сказать вам... что-нибудь... от сердца. У вас такое лицо, что на него... можно долго смотреть. Вот и сказал.
 Аля было растерялась, но стала вырывать:
 – Ну ладно, пусть будет у меня... все хорошо... Я, собственно, не против. (Мягче.) И даже очень хочется, – наконец, она забрала свою руку и вошла в палату. – Как вы расположились? Уже! Накурено! Пижаму нашли?
 – Я не терплю пижам, – крикнул Бардыш из ординаторской. – До завтра!
 Ропшина попыталась зацепиться, продолжить разговор:
 – Я тоже... не терплю. (Вдруг.) А в чем спите?
 Бардыш вошел, ответил не сразу:
 – Тут я, конечно, должен был бы спросить: а вы? Но не в этот раз. Эта прозрачная фраза была оценена доктором:
 – Извините... Я ведь тоже хочу, чтобы у вас все было хорошо. И тоже

от чистого сердца... Хотя на лицо ваше мне долго смотреть... не очень спокойно.

– Это почему?

– Ну уж не потому, что вы – большой начальник, – она открыла окно. – Выйдите пожалуйста, пока сквозняк, – и выпроводила в ординаторскую. – Сигареты я, конечно, отнимать не буду, но если какая-нибудь бутылка, то сразу давайте ее сюда, – и стала с шумом передвигать кресла, переставлять сумку, вешать что-то в шкаф и поправлять постель. Перекладывая подушку, наткнулась на пистолет. Панически накрыла его подушкой. Села на кровать, пораженная. Тут же вскочила, выхватила пистолет и заметалась с ним, пробуя спрятать в урне, в шкафу, на себе, но сунула обратно. Крикнула в ординаторскую:

– Там ваш чай. Нашли?

Но он уже вошел.

– Закрою окно, – засуетилась она.

– Оставьте, – остановил ее Бардыш. – Насморк мне уж точно не грозит.

Но она закрыла и, не найдя повода зацепиться, медленно пошла вон. Однако тут же вернулась с подносом, нашла ему место на прикроватной тумбочке и назидательно сказала:

– Чай вечерний, не атомный.

– Спасибо. Не хочу, – ответил он.

– А я выпью, – вдруг неожиданно для себя заявила Ропшина, взяла чашку и села с ней на кровать.

Бардыш скрестил руки, отметив некоторую вольность доктора:

– Ну а потом... вы все-таки уйдете?

Аля с трудом сделала вид, что не обиделась:

– Ой, конечно. А что это вы меня все время так грубо гоните? Меня еще в жизни так никто... Вообще, так с женщиной не говорят.

– Вообще-то это моя постель, – и он показал на кресло.

Пришлось пересесть:

– Я не пролью. Я спросила у Кривенки, какой был день. Но он же молчит, как на допросе. Вообще, вот почему вокруг вас все такие... темнелы? Я вот раньше работала в 12-й лечебнице... Люди улыбаются... И если плачут, тоже понимаешь, почему. Ты спрашиваешь – тебе рассказывают, и им легче. А тут я – как не в своих туфлях. Спросить неудобно. У меня в институте был один... ну друг... Полковник ВВС. Я прямо не знала, о чем с ним говорить. Бывало, хочу спросить. А может, нельзя? Вроде хочу выведать военные секреты...

– Полковник... Может, лейтенант?

– Почему? Полковник.

– Я к тому, что возраст полковника... для студентки...

– А-а. А у них в авиации и генералы молодые, – она подумала, но все-таки добавила:

– Мне всегда нравились мужчины сложившиеся. Немного уставшие, немного помятые...

Бардыш попытался поменять тон:

– Аля, сейчас придет сын...

– Вы давно не виделись?

– Почему? На выходных он был у меня.

– Я думала, вы год не виделись. Я никогда вас не спрашивала: он кто?

Бардыш счел, что короче будет ответить:

– Он будет дипломат.

Ропшина панически искала продолжения разговора. Сказала почти заискивающе:

– Вы, наверно, его очень любите.

– Как любой отец сына.

– Вы, наверно, с ним дружите... У вас с ним – свои разговоры...

– К сожалению, нет. Мне кажется, мы ничего не знаем друг о друге. У меня не было времени на сына... Как будто в жизни есть что-то более главное, чем успеть поговорить с сыном... Вам этого не понять.

Ей показалось, что зацепиться удалось, и она зачистила:

– Как это! То есть у меня, конечно, нет никакой семьи, но я понимаю. И это хорошо, что это вас мучает. Вы так искренне сказали... Значит, вы все понимаете...

– Все про себя все понимают... А творят черт-те что. Вопрос в том, что мы делаем. Что мы творим, господа!

– Ну, так у вас впереди – столько времени, чтобы наладить... Я никогда его не видела. Он на вас похож? – у нее было еще много чего в запасе, но Бардыш ответил резким вопросом:

– Кто сегодня дежурит по блоку?

– Доктор Башмет. Сейчас придет засвидетельствовать свое и так далее. Под каким-нибудь предлогом.

– Свяжитесь с ним, чтобы не беспокоил, – приказал он.

Ропшина (не решаясь оставить одного):

– То есть... прямо так и сказать? Он рехнется от страха. Он решит, что его увольняют.

– Найдите слова.

Она шумно отхлебнула горячего, собираясь встать, но в этот момент вломился доктор Башмет.

Ропшина вскочила с кресла, пролила содержимое, зачастила:

– Вот... Я уберу, – и бросилась в душевую за тряпками.

Тут вышел несерьезный мужской треп:

Башмет:

– Я только поздороваться, Арсений Дмитрич, – и протягивает руку.

Бардыш (с намеком):

– А ты почему без стука?

Башмет (не растерявшись):

– Дык Дима ваш звонит из машины... Он на подъезде...

Бардыш (переступая, чтобы не мешать Ропшиной затирать лужу):

– Тут у меня девушка... понимаешь... чай пьет... в полночь...

Башмет:

– Девушка... В полночь... Это серьезно...

– А он вламывается, – Бардыш нахмурил брови.

– А говорит, сердце..., – Башмет показал все тридцать два вставных зуба.

Ропшина (орудуя тряпкой и щеткой):

– Ну-ка... вы давайте в ординаторскую, пока я вытру. Разыгрались тут... гусаки... Вышли! Вышли!

Она выгнала мужчин, закрыла за ними дверь, заметалась по палате, схватила урну, взяла из-под подушки пистолет, сунула его на дно и сверху устроила тряпку. Прислушиваясь к голосам за дверью, которых, как ей показалось, стало теперь много, попыталась найти место для урны, но никакой вариант ее не устроил, тогда она решила, что лучше урне стоять не здесь, а где-нибудь в ее ординаторской. И вышла с ней к Бардышу и Башмету, наткнувшись там на третьего человека, которого шумно обнимал Башмет, весело тараторя:

– Ну, я тебе говорил! Уже оклемался. Да он моложе тебя! Подержим пару дней и отдадим, – после чего сказал шефу:

– Значит, если бессонница – звоните. Распишем партию. У меня неразрезанные колоды. Да. И на рубашках – вечнозеленая! Теперь других не продают, – и, козырнув, вымелся.

Ропшина с мусорником, тряпкой и щеткой, проходя мимо молодого человека, притормозила:

– Вы... Митя.

Митя, видимо, приняв ее за уборщицу, ответил холодно:

– Вроде того... До свидания.

Но Бардыш его одернул:

– Не до свидания, а лечащий врач.

Митя смутился:

– Я потом могу с вами поговорить?

– Ты со мной поговори. Спокойной ночи. Аля, вы помните? Все у вас будет хорошо. Пошли, – и увлек сына в палату.

На какое-то время Ропшина застыла посреди ординаторской, потом решительно двинулась, открыла белый шкафчик, накапала себе валокордина, залпом выпила, вынула из потяжелевшей урны тряпку, сгребла туда со стола ворох бумаг и брошюр, села за стол, устроив урну между ног, быстро выбрала шариковую ручку и стала набрасывать на бумагу то, о чем следовало хорошо подумать. Иногда ее отвлекали отдельные голосовые обрывки из-за дверей, если они были слишком громкие. Там происходило что-то неприятное. То есть настолько нервное, что хлопнула дверь, вышел сын и, не попрощавшись с доктором, ушел к лифтам.

Наступила полуночная тишина. Такая, что Ропшина почти слышала собственный пульс, не унявшийся от валокордина – она хорошо понимала, что сейчас должно произойти и готовилась к этому, то резко выпрямляясь спиной, то нависая над столом, раздвигая на нем мешавшие ей предметы. Ну и, конечно, началось: ворвался озверевший Бардыш, увидел ее и неожиданно ровно произнес:

– Ропшина...

Аля вскочила:

– Я здесь...

Бардыш еще успокоил голос:

– Ропшина... Немедленно. Без единого звука. Дайте его сюда. Вот сюда. Тихо положите на стол.

Ропшина:

– Вы о чем?! Арсений Дмитрич, вы о чем?

Бардыш (пытаясь не сорваться):

– Аля... Пистолет на стол.

Аля:

– Где пистолет...? Какой пистолет?!

Бардыш:

– На стол. И я вам не скажу ни слова. Просто забудем.

Аля:

– Господи, Арсений Дмитрич! Что вы такое... Пистолет?!

Бардыш (сдерживая голос):

– Который вы взяли из-под подушки...

Аля:

– Я?! Из-под подушки?! Никакого пистолета...

Бардыш (перебивая):

– Возможно, потому, что вы не знали, что это за предмет.

Аля:

– У вас был под подушкой пистолет?!

Бардыш:

– Или возможно, потому, что вы сошли с ума. Мне все равно. (Сорвавшись.) На стол!! (Пытаясь ощупать доктора.) Где пистолет?!!

Ропшина (вырываясь):

– Не трогайте меня! Господи, это ВЫ сошли с ума! Тихо! – она потеряла руку и поправила одежду. – Если вы хотите говорить...

Возникла пауза.

– Кроме вас тут никого не было, – твердо сказал Бардыш.

– А ваш сын? А Башмет?

– Аля! Не валяйте дурака. Я сейчас позову людей. Я вызову соответствующие службы.

– Вызывайте. Только не волнуйтесь, Арсе...

– Ропшина! Вы понимаете, что вы творите? Вы крадете личное оружие. Вы соображаете, чем это для вас кончится?

Ропшина подала ему телефонную трубку:

– Пожалуйста. Только успокойтесь, Арсений Дми...

Бардыш схватил трубку и возвратил на место:

– Вас могут обвинить в покушении на мою безопасность! На мою жизнь!

– Арсений Дмитрич! Ну это же вызовет смех! Вы что! Вообще!

Бардыш (срываясь совсем):

– А, черт бы меня побрал! Пистолет где?! – он бросился к столу, рывком открыл ящики. Распахнул шкафчики с препаратами на стене. Перевернул кушетку.

– Арсений Дмитрич... Дорогой... Любимый... Ради Бога... Сядьте, пожалуйста... Ну хоть на секунду... Ну что вы, в самом деле... Остановитесь! Вы мужчина! Неприятно смотреть. (Вдруг криком.) Да я могла тысячу раз выбросить его в окно!

Бардыш потрясенно двинулся к окну:

– Это какой этаж?

Ропшина поправила трубку:

– Ну, наконец. Ну вот. Я отвечу на все ваши вопросы. На все. Только тихо. Иначе я замкнусь и вы у меня слова не вырвете. Если даже будете пытаться. Я буду только молча стонать. Во так: м-м...

Воцарилась пауза. Бардыш, успокаивая голос, подошел вплотную:

– Вы взяли пистолет? – он нажал на взяти.

Ропшина было начала свое:

– Какой!.. С ума сойду, – но резко передумала и с вызовом выбросила:

– Взяла.

– Зачем?

– Сейчас... – она с трудом подобрала слова:

– Мне показалось... что вы... хотите им... воспользоваться, – и тут же добавила:

– Нет?

Бардыш ответил не сразу и тихо:

– Какое вы имеете право... вмешиваться в мои намерения? В любые намерения. Вы можете предполагать любой бред, но никаких действий! Воспользоваться! Идиотизм!

Ропшина обрадовалась:

– Правда? Арсений Дмитрич! Правда? Ой, господи, я так испугалась за вас! Ой, правда? Ну, я дура. Простите меня, простите! – она схватила его руку, прижала к себе.

Бардыш руку высвободил:

– Верните мне оружие и... забудем.

– Сейчас. Вы понимаете, ужасный день: тут вы срочно ложитесь в Бэ-блок. Показаний никаких, все в норме. Тут вы говорите со мной, как будто собрались на Марс. Поднимаю подушку – взбить... Пистолет!!! Ужас! Зачем ему пистолет в больнице? Ну, действительно, зачем? Нет, вот скажите!

– А вы не думали, зачем вообще пистолет положен человеку моего ранга?

– Положен пистолет? А зачем? – захлопала ресницами Ропшина, решив, что уж лучше выглядеть девушкой пин-ап, чем влететь в тупик разговора.

Бардыш счел за лучшее набраться терпения:

– Из соображений безопасности.

Ропшина сразу бросилась к дверям и повернула ключ:

– Господи! Я никого сюда не пущу! Ни одной души! А если что – можете на меня... Я за вас жизни не пожалею! – ляпнула она с явным заносом.

Бардыш пошел, отпер дверь и положил ключ на стол:

– В другой обстановке я бы поаплодировал. Ну, хорошо. Я говорю вообще. Иногда я ношу его с собой. Вот взял.

– Там же такая охрана внизу...

– А по дороге?

– Вы же пешком не ходите! У вас – Кривенки разные. У них тоже, наверное, пистолеты...

Бардыш начал раздражаться:

– Аля! Я не хотел бы сейчас копать этот вопрос... Давайте его сюда.

– Я... боюсь, – выдавила из себя подобие улыбки Ропшина и, предупреждая возражения, зачастила:

– Подождите. Я объясню...

– Никаких объяснений. Верните и все, – он тоже попытался улыбнуться. – И я еще подумаю, как с вами поступить. Черт знает, какая самодетельность! Давайте.

Ропшина все-таки переборола сомнение:

– Подождите. Ну не могу я так. Я живой человек. С нормальной головой. И если у меня тут, – она постучала себя в висок, – не все сходится, я не могу ничего сделать. Пока не пойму, что происходит. У меня – каша. Я хочу понять...

Бардыш хлопнул себя по ляжке, но сдержался:

– Что вы хотите понять? Только короче. Коротко!

– Пожалуйста не давите на меня своим уровнем. Я его не боюсь. Ну вы же видите, кто перед вами! Вы можете мне угрожать, выкручивать руки, вешать на гвоздь... Я буду висеть и говорить свое. Я не реагирую на боль, – попыталась она продолжить дурной театр, но тут же пожалела об этом.

– Все. Я звоню, – пригрозил Бардыш.

– Куда? – не поверила Ропшина.

– Куда надо, – отрезал он и действительно стал набирать номер. – Будет команда с металлоискателями... Обыщет все вокруг в радиусе триста метров... Если вы и выкинули в окно, – он, наконец, дозвонился и стал кричать в трубку:

– Каютов? Ты где физически? Я – в Бэ-блоке. У меня только что пушку сперли! Возьми оперативника и сюда, – он повернулся к доктору:

– Сейчас приедет.

– Вот и хорошо, – согласилась Ропшина, в самом деле успокаиваясь.

– На вас он наденет наручники, – пообещал Бардыш.

Но Ропшину это не смутило. Она села в свое офисное кресло и заявила поставленным голосом:

– Вот я ему все и скажу. Значит так. Я говорю: Я как врач... подозреваю... ординарную суицидальную попытку. И пока вы не разубедите меня в этом, никакого оружия я вам не выдам. Точка, – она протянула руки. – Можете выкручивать.

Возникла пауза. Наконец, покрутив головой, Бардыш сел на край стола, почти касаясь доктора:

– Доктор... С жизнью можно покончить десятком способов. Можно выброситься из окна...

– Тут второй этаж и внизу – клумба...

– Тут – шкаф с препаратами группы А, – начал набирать обороты Бардыш. – Разбомбить стекло и выпить все, что там стоит!

– Упаси бог! Будет большой понос.

– В конце концов, разбегусь и треснусь головой об стену!

– Тут вокруг – сплошной регипс! – отшибла она с улыбкой, чего не следовало делать. Но ее было уже не остановить:

– Пойдут бинты, швы, ремонт стен...

Ну, тут Бардыш и взорвался:

– Это не ваше дело! Я никому не обязан объяснять, что я хочу и что сделаю в следующий момент! Тем более вам! Партизанка! Я уничтожу тебя, как моль! Как мышь! Как...

Ропшина запаниковала:

– Вот видите... Вот что получилось... – она быстро закурила и стала совать ему сигарету:

– Вот стоит себе позволить. Сделайте несколько жадных затяжек. Я запрещаю вам говорить.

– Вы? Мне?! – он выхватил сигарету и затоптал.

– Я вам. Ровно минуту мы молчим. Вот восстановим дыхание и тогда я вам скажу одну важную вещь. Очень важную. Для вас. И отдам. Молчим, – она подошла к зеркалу на стене. Посмотрела на себя некоторое время:

– Как моль... Как мышь... Какой кошмар!

Она достала расческу, распустила волосы. Причесалась. Поправила халатик. Подумав, расстегнула верхнюю пуговицу. Подумав еще – ниж-

ною. Взяла еще один стул. Поставила против Бардыша. Близко. Села. Сделала несколько пассов:

- Ну вот. Почти.
- Вы еще и экстрасенс!
- Не знаю. Не уверена. Некоторую помощь могу оказать. Вот сбить напряжение. Снять головную боль, – она попыталась выкрутиться шуткой:
- Улучшить потенцию...
- Разговаривает со мной, как с психом, – пожаловался кому-то Бардыш. – А я здоров!
- Абсолютно здоров, – медитативным тоном согласилась Ропшина.
- И никаких опасений...
- И никаких опасений!
- И доверяю вам как врачу и человеку...

Тут Бардыш сломал весь гипноз, но уже без крика:

– Посмотрите на нее. Вы вообще-то прекратите работать! Прекратите! Я требую нормальных отношений! Здорового со здоровым!

Но Ропшина еще не сдалась:

– Здорового со здоровым. Только логика. Пистолет не нужен – значит, он у меня. Пистолет у меня – значит, нет причин для волнений. Ну, пусть полежит. Он ваш. Я его отдам. Расскажите мне ваш сегодняшний день.

Бардыш решительно встал:

– Вы думаете, завели эту пластинку и я буду... Смех. Посмотрите на нее. Расстегнула пуговички. На меня не действует.

– Да? – Ропшина немедленно стала застегиваться:

– Тут я должна была бы сказать: о-о, тогда дело совсем плохо... Но не в этот раз. Это я не про вас! Это я про себя! МОЕ дело плохо...

– Такой, значит, арсенал, – он нехорошо засмеялся: – Можем ответить, – и взялся за пряжку ремня – будто бы расстегнуть.

– Да вы что! Как вам не стыдно! – деланно запротестовала Ропшина.

– Да просто тут жарко вот и все.

– И поэтому распустила волосы..

– Ой, господи... Ну, я не знаю... Ну, вы тут сказали: мыш, моль. Я глянула в зеркало – почти. Вы знаете, столько работы! Я себя совершенно запустила, – она снова подошла к зеркалу. – Обидно. Мышь... моль... Вы меня больше не обижайте. Ладно?

Какое-то время Бардыш молчал. Потом сказал:

– Ладно. Простите меня.

Тут Ропшина решила, что самое время просто и по-честному объяснить:

– Я ведь чувствую, что с вами что-то случилось. Что-то совсем нехорошее. А я – врач. И нужно... Чтобы не было хуже. Человек себе может так навредить, что и непоправимо. И тут этот пистолет. И я уже думаю черт-те что. Вокруг только и делают что вешаются, стреляются, прыгают из окон... А вдруг – суицид! И что же я? А вот окажись вы на моем месте. Вы бы не дернулись? Неужели вы, умный, опытный, сильный человек не можете этого понять... Вот и взяла.

– Я больше не буду, – успокоился Бардыш. – И никакая вы не моль. Вообще, вы – в порядке. Это я вам говорю. Честно. Я быстро понимаю, кто – из натуральных материалов, а кто – из пластмассы. Достаточно двух слов, – он смотрел на нее так пристально, что Ропшина решила: самое время нажать:

– Я только задам несколько вопросов. Значит, у вас никаких задних мыслей... Да?

– Ни задних, ни передних.

– И день у вас сегодня был...

– Суббота.

– В смысле коллизий.

– Никаких. Я даже не был на работе. Наловил столько всякой дряни! И все наловили. Все, кто был со мной.

– Какой дряни?

– Рыбы разной.

А потом?

– А потом был обед. Съели столько всякой чепухи! В той же компании.

– Без этого? – она щелкнула себя по щеке.

– Обижаете.

– И потом?

– Смотрел какое-то сентиментальное повидло по телику. Просто снотворное. И – легкий ужин. Вот и все. Замечательный выдался денек. Здоровый, пустой, длинный. Один из вечности. Что еще? – он взял сигарету, закурил.

– И Татьяна Павловна?

– Что Татьяна Павловна? А-а. С ней – вообще никаких коллизий. Она живет отдельно, я – отдельно. И давно, – он нарисовал сигаретой какие-то фигуры в воздухе.

– Поразительно, – призналась Ропшина. – И к ночи я застаю вас в та-

ком состоянии... Это что же? Это, значит, надо искать в подкорке? Следы одиозного накопления?

Бардыш забеспокоился:

– Пождите, подождите, ничего не надо искать. А в каком состоянии? В нормальном. Попросил приготовить Бэ-блок. Ну и что? Ну, может, ложная тревога. С человеком бывает.

– Но у вас был такой вид... Такой затравленный вид... Как будто вы бежали от вервольфа! И потом, вы так говорили со мной... Как будто не со мной... И такие странные вещи... И потом: хотели лечь утром – нагрянули в полночь. При норме показаний. Пугали Кривенко шутками о смерти... Вызвали сына... Прямо в палату... Я села за стол. Я набросала такой лексический ряд произвольных показателей состояния. Мы называем их вербальными предвестниками. Вот смотрите, – она схватила бумагу, – это – ваши слова: плевать я хотел на мое здоровье... Земля уходит из-под ног... Хорошо умереть от сердца... В газетах напишут... В смерти прошу не винить... Успеть поговорить с сыном... У вас будет все хорошо... Это мне. Вот такой ряд. Вы следите? По Фрейду... С коэффициентом вашего нерва, вашего тона... И наконец, под подушкой – пистолет... Да любая практикантка... И теперь, когда вы требуете оружие... Так что давайте серьезно. По часам. Вплоть до прилета этого... Как его? Сакаев?

Бардыш резко встал.

– Сидите, сидите, – Ропшина выставила ладонь.

– Ну, вот что, девушка. Черт бы меня побрал. Если бы мне кто-то сказал, что я... на своем пути... столкнусь... с таким диким существом... Совершенно неуправляемым! Не понимающим своего положения! Я запрещаю вам копать в моих внутренностях! Ковырять подкорку! Я запрещаю повторять мои слова! Записывать! По Фрейду! Я – суверенное существо! Я имею право на личную жизнь!! На любую мою тайну! Я ни с кем не хочу делиться моим состоянием, потому что оно – мое! – он ткнул в себя горячей сигаретой. – И если бы я даже решил свести счеты с жизнью – это мое частное дело! И сколько мне жить и как умереть...

– Подождите, – внезапно оборвала его Рощина, – я сейчас что-нибудь нечаянно уроню, – она взяла со стола глиняную вазу с цветами и разжала пальцы.

Бардыш с ужасом глянул на разлетевшиеся осколки, стряхнул с брючин брызги воды, глубоко затянулся сигаретой:

– Вот так вы, значит, затыкаете.

Ропшина промолчала. Потом сказала ровным, почти бытовым голосом:

– Я вообще-то философски смотрю на жизнь и смерть человека. И раз уж... человек конечен, почему, собственно, он сам... не вправе назначить себе предел! Я не верующая и не вижу тут греха. И есть в этом шаге даже... что-то сильное. И достойное человека. Если это, конечно, сознательный, здоровый итоговый шаг. А не вспышка потрясенного сознания. Мне бы сейчас – полглотка коньяка. Или виски, – она потянула носом. – Вы же взяли!

Бардыш пошел в палату, достал из сумки. Открыл, стал искать, куда налить. Но Ропшина забрала бутылку и не очень умело, но все же отхлебнула из горла:

– Я много раз дежурила на телефоне спокойствия. Вот звонит человек и говорит: я хочу покончить с собой. Как тут себя вести? Конечно, есть целый арсенал уловок, чтобы человек не бросил трубку. И там, в разговоре, может быть... зацепить его за жизнь. Обычно первая фраза: что случилось? А потом!.. Бывает, даже говоришь: как вы хотите это сделать? И вот начинается ужасная технология. Выслушиваешь, уточняешь, даже советуешь. А сама выясняешь для себя только одно: ты говоришь с больным человеком или со здоровым? То есть, человек не справляется с собой или с внешними факторами. Это – чудовищная работа. Значит, или гиперманиакальная идея... или – сознательное подведение итогов... под давлением внешних обстоятельств. Ну, в первом случае – долгий и вязкий разговор с целью заполучить на визит. Во втором – сложнее. Там главное – не уговаривать и не пугать. Там – только критика обстоятельств: почему стала невозможной жизнь. Действительно ли она невозможна. Правильно? (Пауза.) И если так, то почему я должна становиться поперек? Если жизнь невыносима, а смерть – избавление от мук. Зачем обрекать человека на новые муки? Правда? – какое-то время она всматривалась в остановившиеся, почти стеклянные глаза своего пациента. Потом вдруг добавила:

– Но иногда звонит подросток. Девочка... Вот ужас! – она медленно встала, вернула ему бутылку, спросила в упор:

– Почему вы не отвечаете? Скажите мне что-нибудь.

Но он молчал, и тогда она решила идти до конца:

– Я знаю, что что-то случилось... Это непоправимо?

Бардыш ответил не сразу и как бы не ей, а в ноги, в осколки глины, в пятна ржавых цветов, рассыпанных по луже:

– Да, Аля.

Ропшина было отшатнулась от него, но тут же взяла себя в руки и произнесла почти бытово, как бы перечисляя обыкновенные неприятности:

– Ну вот, приехали. В висках, конечно, стучит, пульс – триста, руки, конечно, дрожат. И у нас – не-по-пра-ви-мо. И больше вы ничего не скажете.

– Ничего, – так же просто подтвердил Бардыш.

– Ни-че-го, – машинным голосом и вроде самой себе повторила Аля:

– Как это чаще всего и бывает. Ну, вы, конечно, понимаете, что мне нужно как-то собраться... Я ведь видела вас... таким решающим... Таким ироничным... Таким... Мне казалось: вот человек, который живет, излучая... – вдруг она поменялась в голосе:

– Арсений Дмитрич, я понимаю, что я ни на что не имею права... Но, может, еще можно...

– Нельзя, – твердо сказал Бардыш.

Но Ропшина все же сделала последнюю попытку:

– Что-нибудь очень личное? Вот только это скажите, чтобы я не сошла с ума.

– Вы обещали, – Бардыш решил на этом и закончить.

Ропшина обреченно поплелась к урне, подняла ее, повертела в руках, что-то решая. Вдруг сгребла со стола какие-то бумаги, сдвинула их в урну и поставила ее на место – под стол:

– Вы понимаете, что вы делаете со мной? – спросила она как можно мягче. – Я – врач. Которая клялась... не давать яда даже безнадежному... И должна теперь...

Но Бардыш с готовностью отозвался:

– Мне жаль, что вы невольно вмешались в мою жизнь. Видит бог, я не хотел.

Вот тут Ропшина и лопнула:

– И это все? Все, что вы нашли для меня... Я тут кручусь, как червяк на крючке... Это ваш бог видит? Этот запах гари... Вы обо мне подумали? – и она почти выкрикнула:

– Это не я... в вашу жизнь, а вы в мою! Да, вмешались в мою жизнь! Вы были неосторожны... со мной! И теперь не имеете права вот просто так... Заткнуть... Он, видите ли, решил! А куда деваться мне, которая все знает? Или ваш бог позволяет вам все... Я сейчас нажму тревогу! Я пожалуюсь...

– Нет человека, которому можно пожаловаться на меня!

– Я скажу вашей жене!

– Жена знает.

– Что?! – Ропшина подошла вплотную, всмотрелась в его лицо и, наконец, выбросила:

– Вы... Вы врете? Вы все врете! Вы думаете, я совсем? Вам не нужен никакой шум. Вы думаете, я совсем уж такая дура? Наговорили всем про сердце, отправились в Бэ-блок... Чтобы... якобы... в результате сердечного приступа?

– Доктор, – вдруг остановил ее Бардыш, – вы вообще где живете последние годы? Это было в ходу лет пять назад – пышный некролог, государственные похороны, аплодисменты при выносе тела! Сердце не выдержало! – он зло засмеялся. – Где же оно выдержит, когда в нем вот такая дыра... О чем вы, девушка! Кого это теперь волнует! – он сделал глоток из бутылки и вдруг решительно направился к столу. У стола резко развернул рабочее кресло доктора, сел в него, пристально всматриваясь в Ропшину, и сказал:

– В юности я имел дело с одним психиатром – у меня были всякие там... плечевые тики. Он их снимал. А развлекал меня тем, что просил спрятать в кабинете какую-нибудь штучку, задавал мне какие-нибудь чепуховые вопросы, вот как я вам... И находил! – он твердо поставил урну на стол. – Знаете, как это называется?

– Стойте! – упавшим голосом запротестовала Ропшина. – Не надо. Все. Я не могу сражаться с металлоискателями. И вообще... Ни с кем я не могу... И боли я боюсь... Это я – со страху... Берите. Берите ваше оружие. Можете, – она старалась не разрыдаться. – Можете и при мне... – она медленно открыла платяной шкаф, прикрылась дверцей и стала переодеваться. Но тут же вылетела из-за дверки, полуодетая:

– Не трогать! Я еще не ушла!

Некоторое время Бардыш недвижно сидел, потом подошел, закрыл дверку шкафа.

– Аля, – он обнял ее за плечи, – В самом деле... Вы-то уж совсем не причем... Простите... – И видя, что она вот-вот разрыдается, стал гладить ее голову, как бы укачивая:

– Чш-ш-ш.

Раздался звонок внутреннего телефона. Ропшина медленно освободилась, как со сна взяла трубку и мертвым голосом проговорила:

– Я... Да, доктор Башмет. Со мной? Ничего... Просто задремала... Нет-нет, ничего не нужно... У него? Никаких пожеланий – он давно спит... Хорошо спит... Давайте лучше утром... – она дала отбой.

– Аля, – позвал ее Бардыш, севший в углу кабинета на пол с бутылкой

в руках. – Идите сюда, – он показал место рядом с собой.

Ропшина медленно опустила на пол в своем углу. Бардыш повременил и перебрался к ней. Так сидел какое-то время. Потом тихо заговорил:

– На месте этого Бэ-блока когда-то был детский дом. До четырнадцати лет я был его житель. Потом дом снесли, но я его помню. Осталось огромное старое дерево во дворе. Дуб. Теперь он – перед вестибюлем, вы его знаете. Когда строили Бэ-блок, его решили не рубить. А строить вокруг него. На нем ножичками вырезали имена. Мое тоже там есть. Под деревом мы закапывали наши слезы. Те, кого обижали. Выскребали ямку между корней и хоронили записочки, – он снова закурил. – Меня много обижали. Дети сразу знают, кого можно. Я даже вешался на этом дереве вместе со своими прыщами. Не получилось. Вообще, меня никогда никуда не приглашали. Приглашали красивых. И сильных. Я был слабый и некрасивый, – он усмехнулся. – Нет, ну со временем оброс телом и морда запсовела, конечно, но... Лет до двадцати пяти сильно комплексовал. У меня было отвратительное чувство спины. Не знаете, что это такое? Ну вот когда ты где-нибудь... поворачиваешься, чтобы уйти, и кажется, что все смотрят тебе в спину... И сквозь одежду видят... весь твой омерзительный костяк и весь механизм ходьбы... И даже твой хвост, хотя его нет. – Он вдруг резко встал:

– Аля! Меня вот-вот схарчат!

– Схарчат? – переспросила Ропшина, вникая в это грубоватое словцо, за которым скрывалось что-то служебное, не бывающее без ужасных потерь, но с чем, возможно, еще стоит бороться, если знать детали. Но в детали ее не пускали. И она не удержалась – спросила, глядя на него снизу:

– За что?

Бардыш помрачнел, ответил в сторону и не сразу:

– Ну, в общем... за то..., что все плохо.

– А все плохо? – все-таки попыталась она втянуть его в разговор.

Но Бардыш недружелюбно посмотрел на нее:

– Нет, все замечательно! Мчится трактор по горным вершинам. Что вы детские вопросы задаете!

Его просто снимают, – решила она, – и что?

– И что? – вырвалось у нее с ожесточением.

– В смысле – наплевать? Ну, я все-таки не дворник как бы.

– А дворнику что – легче, когда его харчат? Дворник – он тоже Пуш-

кин, только стихов не пишет, – она вдруг обернулась на всю эту ночь и на себя в ней:

– Это же надо так с собой носиться, что сразу в петлю полезть?

– Грубовато, – отметил Бардыш. – До сих пор, доктор, было тоньше и глубже. И ваше философское отношение к жизни и смерти... Оно еще актуально? – он вывернул урну на стол, посмотрел на то, что из нее вывалилось со стуком. – Или это был просто телефон спокойствия? Зацепить за разговор, заполучить на визит... Чтобы я не бросил трубку... Я, доктор, не ношусь с собой. Я не хочу жить жизнью оципанного человека. Меня ведь в покое не оставят. Будут выдергивать перья... из крыльев, из хвоста, – он показал, как это будет, вынимая из кучи бумаг по одной и подбрасывая их, пока не открылся пистолет. Вынул и его. – Будет позорная голая тушка. За что цепляться? За какую жизнь?

Возникла пауза.

– Я, доктор, умирал много раз. Мысленно. Как всякий мыслящий человек. Это нормально. И вот я думал: что лучше? Ждать унижительной немощи? Или решить самому, когда и как. Выбрать время и способ. Навести порядок в себе. Приготовиться без суеты. Может, даже приготовить всех, с кем жил. Вообще, устроить прием... И дать дуба. Добровольно. День Добровольного Дуба! ДДД!!! Доктор! Почему это предосудительно? Это должно стать нормой! Смерть – это самый последний праздник в жизни человека...

– Подождите, – оборвала его Ропшина, – я что-нибудь еще раз нечаянно уроню, – она и вправду стала искать что-нибудь бьющееся. Не найдя, сдернула со стены застекленный пейзажик с видом голубых елей у Кремлевской стены. – Есть такое понятие: черный пафос. Некоторых захлестывает. Не могут остановиться. Научились думать, но не научились вовремя тормозить, – она все-таки вернула пейзажик на место.

– А вы, значит, умеете, – огрызнулся Бардыш, вдумчиво вращая пальцем пистолет на столе.

– Чтобы не сойти с ума, – объяснила Ропшина, мягча и поглядывая на оружие. – Называется гигиена мышления.

– Вы, значит, научите... А зачем? – он прищурился. – Чтобы некто дрогнул и начал сомневаться? Вы посмотрите на себя. Сколько тщетных попыток! Сколько мелкой суеты! Сколько нервов и ради чего! Ради того, чтобы зацепить одного дурака за жизнь? – он взялся за бутылку, но вместо того, чтобы сделать глоток, сказал:

– Доктор... Мне утром... закрыли небо на вылет.

Вот после этого в ординаторской что-то произошло, что-то отодвинулось на такое расстояние, что он, бывший почти рядом, стал маленьким, как будто она смотрела на него в обратную сторону бинокля. И туда, где он был, где он подкручивал совсем крошечный пистолетик вместе со своей тайной, нельзя было докричаться, чтобы он услышал раздирающие ее вопросы, на которые она не имела никакого права. И поэтому она решила только на один:

– Арсений Дмитрич, вы... виноваты? – медленно, подбирая слова, спросила она. И так как он ничего не ответил в этом своем далеке, она поправила:

– Нет, я не так хотела... Вы сильно виноваты?

Он долго не отвечал. Наконец, спросил, но не так, как спрашивают, когда ждут ответа:

– Перед кем?

Она посмотрела на него снизу. Потом сказала мягко, как объясняют близкому человеку:

– Мне все равно, кто там над вами. Я спросила: перед собой.

Вместо ответа Бардыш дернулся, включил настольную лампу и направил ее свет в угол, в котором сидела Ропшина. Прямо на нее. Она не стала заслоняться от света, только опустила глаза:

– Жаль, что вы – не верующий, а я не поп. А то – исповедовались бы.

– Не поп... Не поп, – прищурился Бардыш, всматриваясь в нее.

– Жаль. Вы знаете, что я сейчас – самый близкий вам человек? Потому что... последний.

Тут он встал, взял оружие. Случилось вот что:

– Ропшина, вас кто прислал?

– Арсений Дмитрич... – забеспокоилась Ропшина.

– Вы на кого работаете?

– Я?!

– На тех, кто хочет надо мной процесса?! Вы вообще-то куда лезете? Вы почему меня не боитесь, женщина? Вот пистолет, – крикнул он, угрожая. – Там восемь штук смертей... И придурак, решившийся на одну... А вы его за руки хватаете... Мало ли... Может, помешался...

– Может..., – не сразу согласилась Ропшина. – Но я-то не помешалась... Вам не нужны мексиканские страсти с двумя трупами. Одним мужским и одним женским. Представляете, какой подарок для прессы! – она грустно улыбнулась.

Бардыш затормозил, как бы представляя себе, какой это будет пода-

рок. Открыл молнию дорожной сумки, сунул туда пистолет:

– Аля... простите меня.

– И вы меня... тоже... Я не должна была... Но все время думаю о вас...

– Да вот я тоже все время думаю о вас: чтобы с таким упорством... Это из какого интереса? Из профессионального – смешно. Это из любопытства что ли?

– Не верите? – спросила Ропшина. – В женское любопытство, – уточнила она. – Профессиональное, да. Женщина – это такая профессия! Если рядом – мужчина... В ее вкусе. Ну вот... Арсений Дмитрич... Теперь можете смеяться надо мной.

– Аля! – позвал Бардыш, оглядываясь, – вы сошли с ума... Аля... Не смейте мне такое говорить! Вы так молоды и прекрасны... Вы посмотрите на меня, девочка... Вы должны бежать от меня, как от ужаса! Господи! Где тут огнетушитель?

Аля встала:

– Ради бога... Вас это ни к чему не обязывает. Мало ли что Але в голову пришло, – она села в свое кресло на колесиках. – Это только мое. Переживем. Поплачем и переживем. У нас у женщин есть это преимущество – поплакать...

Бардыш заметался по ординаторской, подошел, опустился на колени.

– Господи, слезы... – растерялся он.

Вот как раз в это время и вошел Каютов с оперативником. Ну и пошло-понеслось:

Каютов (не смутившись и не здороваясь, оперативнику):

– Работаем!

Оперативник (расчехляя металлоискатель, Каютову):

– Тут же полно железа!

Бардыш (поднимаясь с колен):

– Отбой! Он уже у меня.

Каютов Бардышу:

– Вы не перезвонили – я выехал...

Бардыш:

– Ну пока мы тут... с доктором... разбирались... Извини. Сворачивай.

Каютов:

– Пушка в порядке?

Бардыш:

– Не смотрел. Отбой, отбой. Взяла – отдала. И все.

Каютов (подозрительно глянув на доктора):

– Отбой-то отбоем. Но вызов зафиксирован. Некоторые процедурные мелочи...

Бардыш:

– Мне этого не нужно. (Показывая на оперативника). Мы тут сами...

Каютов:

– Это свой. (Акцентно). Совсем свой. Дайте ему глянуть.

Бардыш (отдавая сумку):

– Я не хочу никаких процедур. Мне это совсем...

Каютов:

– Потом порвем бумаги. (Оперативнику). Работаем.

Оперативник (натягивая резиновые перчатки и достав оружие, Каютову):

– ЗИГ зауэр – P238, 81-го года выпуска, номера нет. На предохранителе, – он вынул обойму:

– Обойма полная. – Он все-таки проверил, есть ли в стволе патрон – направил оружие в пол и щелкнул курком.

Каютов (Ропшиной):

– Как получилось, доктор?

Бардыш (теряя терпение):

– Каютов! Я тебе потом расскажу. В лицах. Оставь доктора.

Каютов (доктору настойчиво):

– Вы не волнуйтесь. Просто формальности, раз уж был вызов. Значит, как было дело? (Оперативнику) Дай доктору.

Оперативник передал Ропшиной оружие без обоймы. Та механически взяла.

Каютов:

– Просто покажите, где взяли, куда положили. Что-нибудь с ним делали? Ну, снимали с предохранителя, двигали что-нибудь? (Оперативнику) Покажи доктору.

Оперативник в ее руках показал ей, как перемещается предохранитель и взводится пистолет.

Бардыш:

– Да она вообще не знает, с какой стороны дырка! Отвези девушку домой. Аля! До завтра. Завтра придете – и договорим.

Ропшина (возвращая пистолет оперативнику, растерянно):

– Арсений Дмитрич! Завтра? Я ведь вам главного не сказала...

Бардыш:

– Я вам тоже, Аля. Вот утром.

Ропшина:

– Арсений Дмитрич...

Бардыш:

– Аля... Я вам обещаю, – и добавил совсем мягко, от чего ей стало тепло и спокойно:

– Таких, как вы, не обманывают.

Каютов (оперативнику):

– Заканчивай. Мы ждем в машине. Доктор! – он жестко взял ее за предплечье.

Ропшина (высвобождаясь):

– Вы поезжайте. Я – в лабораторию. Мне надо отпустить людей, – она взялась прибирать стол, собирать с пола бумаги, оставив Каютова в некотором недоумении.

Бардыш (оперативнику):

– Кривенко смотрел, мазал.

Оперативник (себе под нос):

– Все-таки... Побывал в чужих руках...

В резиновых перчатках он еще раз проверил механизм, дослал обойму и, поглядывая на шефа, липкой пленкой стал снимать отпечатки пальцев с корпуса пистолета. Пленку положил в спецпакет.

Каютов (Бардышу):

– Так что?

Бардыш (забирая пистолет и укладывая его в сумку):

– Созвонимся.

Каютов спокойно попрощался, дал знать оперативнику и они вымылись. Время было 2.30 ночи.

– Я проветрю палату? – спросила Ропшина, намереваясь открыть окно.

– Доктор, – улыбнулся Бардыш, – я выкурю еще сигарету... Перед сном... И потом – сам открою.

– Ну ладно, – согласилась Ропшина. – Ну, хорошо... Я спущусь в лабораторию... И вернусь попрощаться. – Она помедлила и спросила:

– Можно?

– Возвращайтесь, – тепло кивнул Бардыш.

Ропшина вышла в длинный прямой коридор этажа – к лифтам. Нажала вызов. Лифта не было долго – стоял где-то на 10-м этаже, и она уже дернулась спуститься по лестнице, но в лифтной шахте что-то все же началось. Кабина подошла, Ропшина шагнула в нее, втопила нужную

кнопку и лифт тронулся. В самый этот миг она услышала где-то на периферии слуха странный хлопок. И тут же – еще один. Ропшина рванулась к панели кнопок – остановить! Дрожащие пальцы не попадали на стоп! Наконец, кабина остановилась и медленно поползла назад! Скользя и спотыкаясь на плитке коридора, Ропшина рванула дверь ординаторской! Там никого не было! Медленно, как шупают ногой пол, она приблизилась к двери в палату. Постучала. И тогда дернула дверь на себя!

На полу, прислонясь головой к ножке кровати, раскинув руки, с широко открытыми глазами и окровавленным виском лежал Бардыш. На его белой рубашке – на левой ее стороне – алело рваное пятно крови, стекающей вниз двумя широкими полосами – как чудовищный красный орден с парадными лентами.

– Бардыш! – позвала Ропшина, пытаясь прощупать пульс и понимая, что никакая помощь уже не нужна. Тогда она добралась до кнопки тревоги и ударила по ней.

Примерно час Ропшина сбивчиво отвечала на вопросы неприятных ей людей с погонами и без, понаехавших в Бэ-блок. Один вопрос поначалу поставил ее совсем в тупик – читает ли она по-французски: ей показали книгу, подобранную в палате при обыске – ее она почему-то не заметила. Сказала, что по-французски не читает и книга не ее, но вдруг, увидев на обложке имя автора, ахнула:

– Это Эмиль Дюркгейм, – объяснила она, – там все про суицид.

Сильно жалея, что не догадалась грубо влезть в дорожную сумку Бардыша, в которой, видимо, и была книга, она оделась в свою кроличью шубку, спустилась вниз, вышла из холла и остановилась у огромного старого дуба, как бы пробившего своей силой московское зимнее небо. Мощная кора была помечена полустертыми, полузаросшими буквами и цифрами, и она какое-то время искала среди них что-нибудь похожее на знакомое имя – с тех пор, когда питомцы приюта врезались ножичками в кору, прошло почти полвека. Пока она стояла, справляясь с тяжестью случившегося этой ночью, к ней подошла девушка:

– Не скажете, где здесь блок Б? Бэ-блок...

– А вы там к кому? – не сразу спросила Ропшина и показала на вход.

Девушка замялась и Ропшина пришла ей на помощь:

– Я – оттуда. Вы вообще кто?

– Меня там ждут.

– Тут сложная пропускная система, – объяснила Ропшина. – Кто ждет?

– Бардыш.

Ропшина вздрогнула от имени. Спросила:

– А вы ему кто?

Девушка совсем растерялась:

– Он приказал приехать.

– Бардыша больше нет, – не сразу сказала Ропшина. Потом показала на вырезанные в коре подобия букв:

– Теперь он... где-то здесь, – и, увидев, что девушка ничего не поняла, спросила:

– Вы Рита?

Девушка забеспокоилась.

– Рита, – сказала Ропшина, – Большое несчастье... Купите завтра газету... Или телевизор...

Наступившим новым днем у себя на Варшавке она пыталась спать с частыми пробуждениями на кошмары, похожими то на сны, то на явь. Кроме того, вскрикивал телефон, который она не могла отключить, поскольку неприятные люди в погонах и без них обещали вызвать. Но вместо них ее добивались то из 4-го управления, то коллеги по клинике, которые уже все знали и хотели посочувствовать ее ужасу, хотя на самом деле просто любопытствовали, желая получить информацию из первых рук.

На похоронах она была. Народу было немного, но среди них было много одинаково одетых людей. Некоторых из них она видела в прежние годы в прессе или на экранах. Никаких речей. Только скрипка, под которую точеные стюардессы крематория с длинными молоточками в руках перемещались вокруг отлетающего пассажира с изяществом подтанцовщиц. В первых рядах стояли жена и сын. В тылах Ропшина заметила Кривенко. Она подошла к нему, чтобы проговорить слова соболезнования. Но он ответить ей не пожелал.

Несколько недель от Ропшиной не было вестей, и я стал звонить на Варшавку. В разное время дня. Даже ночью. Пустые гудки насторожили.

Я пошел по цепочке – нашел Егора, он – своего репортера, у которого был там кто-то в прокуратуре.

Репортер нашел меня звонком в Риге, а из этого звонка я выяснил, что тот, кто был у него в прокуратуре, уже зачищен и, грубо говоря, торгует семечками или вертолетами – такое это было смешное время.

Но у репортера был еще кто-то в Московской коллегии адвокатов – у него везде кто-то был. Этот кто-то назвал репортеру своего коллегу, который брался за это дело и который имел не совсем бросовую фамилию – Кронштейн. И дал его телефон, который я тут же напряг, представившись родственником Александры, поскольку репортер предупредил, что адвокаты открывают рот только для родственников.

Адвокаты – как врачи: успокаивают пациента и пугают родственников. С Кронштейном вышло наоборот. Он сразу сказал: доктор была задержана и арестована семь дней спустя после случившегося. Но дело не стоит пробки от пива, и он, Кронштейн, вытаскивает доктора сразу, как только поступит повторная баллистическая экспертиза, а первую и заключение судмедэкспертов он, Кронштейн, уже читал. И ему, Кронштейну, смешно: в деле нет предсмертной записки Бардыша, но есть целый учебник по суициду на французском, который доверенное лицо Кручины прихватило в палату. Более того, он, Кронштейн, засек в описи вещей при обыске загородного дома еще одно любимое чтение доверенного лица Кручины – старую машинописную копию пьесы «Самоубийца» Эрдмана! И даже раскопал, как эта самиздатовская копия попала к Бардышу!!

– Бардыш ее купил у бывшей прислуги Фадеева!!! А у Эрдмана же был роман с Анжелиной Степановой, которая стала женой Фадеева!!!! – кричал восторженный своим открытием Кронштейн.

Я, конечно, сказал Кронштейну, что я потрясен и аплодирую, чтобы он не отказал в моей просьбе – дать знать, когда дело будет закрыто.

Примерно через месяц на мой звонок Кронштейн сообщил мне, что он не только вытаскивал Ропшину, но и помог ей обменять двушку на Варшавке на комн ату в общей квартире за кольцевой, чтобы она могла, как он сказал, наварить, потому что ей были нужны средства на эмиграцию. Эту манипуляцию я хорошо знал – в советское время к ней прибегали еврейские семьи перед эмиграцией в Израиль – меняли свои квартиры на комнатухи, которые было не жаль бросить.

Я просил его найти какие-нибудь зацепки на сведения о ней. Ну, хотя бы в какую страну она подалась! Но Кронштейн дал понять, что у него точно не будет времени на это, потому что он сколачивает сейчас какую-то правую партию и намерен куда-то баллотироваться.

Дело шло к новому 1992-му году. К этому времени люди Егора Яковлева, ведущие мартиролог высоких самоубийств в послепутчевой стране, перешагнули тысячу имен.

Екатерина Ливи-Монастырская

СПРИНТЕР, ДОГОНЯЮЩИЙ СМЕРТЬ*

(О книге: Илья Асаев. Мы затеяли жить. Издание второе, исправленное дополненное, с приложением CD – переложенные на музыку стихи в авторском исполнении. Публикатор Л.Асаева. Подготовка текста и составление: В.Блюменкранц, Б.Равдин. Художник – В.Матисон. – Рига. Латвийское общество русской культуры, 2018)

Затёртые до дыр некрасовские строки «Бывали хуже времена, / но не было подлей», произносимые вот уже полтора века с момента их написания, абсолютно универсальны – надеваются, как перчатка на руку, на любую ситуацию, эпизод, событие, эпоху. Это, пожалуй, можно сказать и о последних годах СССР. Но «хуже» или «подлей» – немного не те слова по отношению к ним. Кругом было какое-то зияние, беззвучие, тянущая пустота. Нет, не тишина. Воздух уже вибрирует на неосознаваемых частотах ощущением края, неизбежного краха, падения в пропасть. Ощущение самоубийцы в оконном проёме – только сделать шаг.



*Илья Асаев. Под Днепротетровском.
1986 или 1987 год*

*Ступайте в душу, как в окно –
Самоубийцы!*

Был ли в СССР поэт, точно передавший именно это ощущение, как Блок передал ощущение последних лет Российской Империи в Петербурге? Нет же, не было, скажете вы. Разве что Гребенщиков с его многозначительными и размытыми и в то же время предельно рации-

* <http://textura.club/sprinter-dogonyayushhij-smert/>

онально, как у хорошего маркетолога, выстроенными формулировками, за красотью которых теряется ощущение, будто сердце камнем падает и душа уходит в пятки – ощущение предпадения, предкрушения... Может быть, Башлачёв? Да, близко. Но обидно, что невероятно одарённый поэт изо всех сил тянулся к тому, что ниже него, пытаюсь изо всех сил стать «рокером». «Мы пришли с чёрными гитарами»... Эх, все эти «биг-бит, блюз и рок-н-ролл» не стоят простого поэтического слова. (Это есть и у Асаева – авторская песня. Хорошая, в принципе, вещь. Ведь Орфей же пел, аккомпанируя. И Аполлон-кифаред. И песня – сестра песни. Но всё же. Есть какая-то небрежность в стихах под гитару. Не слишком хороши они на бумаге. Ведь стихотворение – это не текст. Это куда шире и глубже).

Тем не менее, был такой поэт – Илья Асаев. Днепропетровчанин, рижанин, исколесивший с гитарой (а куда ж без неё – в те времена гитара в России больше чем гитара) весь СССР от Ташкента до Прибалтики, влюблённый в Крым, молодой и красивый – спринтер наперегонки с жизнью, догоняющий смерть.

Читая эти стихи, ощущаешь то, что невозможно уловить у более маститых современников – старших, циничных, матёрых, – то, в чём, собственно, и воплощается поэзия. Искренность на разрыв, отворение вен, а не игра словами, не ловкачество, не стёб. Не читка, а полная гибель всерьёз.

Читая Асаева, я видела все до одного образы-метки, по которым можно определить эпоху, – когда знаешь, какие песни слушал, какие книги читал, как те дети из «Баллады о борьбе» Высоцкого, метки, оставленные спелеологами в лабиринте подземных коридоров, найденные после обрушения и гибели экспедиции.

Более того, я словно бы увидела себя даже не в зеркале, а в зазеркалье – сквозь слои потемневшей амальгамы, за засиженном мухами стеклом, или скорее в окне позднего сумеречного часа:

*Когда уже ни горечи, ни зла
И сумерки касаются стекла,
Я прислоняюсь к тёмному окну
И сквозь его густую тишину
Смотрю – близнец из прошлого встает
И смотрит, и меня не узнаёт.*

Окно в книге – сплошная метафора. О чём это говорит? О болезненном ребёнке, постигающем мир через стёкла, что не впускают в замкнутый мир квартиры стужу и непогоду:

<i>Спи, мой детский человек,</i>	<i>Из кухонного окна</i>
<i>Не о нас горюет век.</i>	<i>В небо выпрыгнет луна,</i>
<i>Не о нас наш дом грустит...</i>	<i>Ты тихонечко уснёшь,</i>
<i>Ничего. Ты просто спи.</i>	<i>Тоже в небо уплывёшь.</i>

О герое – и отражении как единственном собеседнике для него. И страшном, безысходном одиночестве. Не «окна» во множестве, нет – окно, окно и ещё раз окно – почти на каждой странице.

<i>Когда ни словом, ни слезой</i>	<i>В окно. И голосом струны</i>
<i>Не наполняется тетрадь;</i>	<i>Отправь кружиться мотылька</i>
<i>И на манер лихой борзой</i>	<i>Вокруг искусственной луны</i>
<i>Жизнь обгоняет возраст, – сядь</i>	<i>В квадратном небе потолка.</i>

*Качнётся улица в глазах
Вдоль покосившихся домов,
Где, словно в брейгелевских снах, –
Тела чернеющих стволов.*

.....

«И тихо смотрит исподлобья, / Как будто в зеркало – в меня». Окно и зеркало, кстати, практически синонимы в словаре Асаева. «Но сколько стёкла ни меняй, / все зеркала похожи. / В какое зеркало ни глянь – / везде одно и то же». «Город вмёрз в крестовину окна. / Город схвачен в засаду зимы». «И в стылые окна... И в мёрзлые окна / Глядят под погонами не юнкера...» (здесь – единственный раз во множественном числе). «Бутафория жизни, отчизн / за студёным декабрьским окном». И – опять-таки, редкое – тончайшая пейзажная зарисовка, сделанная, разумеется, из окна (точнейшая, кстати: дома средневекового рижского центра действительно «крылокрышие», крыши под снегом как опущенные белые крылья):

<i>А на дворе себе зима,</i>	<i>Скатившись с сонного крыльца,</i>
<i>Метафоричная, как Пушкин.</i>	<i>Гребут ипионскими шагами,</i>
<i>И крылокрышие дома</i>	<i>Неся в гробницах тел сердца –</i>
<i>Плывут вдоль улиц. И старушки,</i>	<i>Столицы собственных страданий.</i>

Пейзаж осенне-зимнего межсезонья, глухого захолюстья среди времён года, намертво вморожен в окно. Это не только окраина мира, но и окраина времени – «На краю и страны, и столетья!..» Окно – не просто проём, дающий дневной свет и воздух или позволяющий увидеть то, что вне жилища, а куда большее:

*И кажется, что весь небесный свод
Смыкается у крыши в единый конус.
И человек – качни его вперёд, –
Качнётся не во двор, а прямо в космос,
<...>
И вдруг, стряхнув задумчивость, узрит
Существенные, в общем, измененья
В пейзаже и впервые осящит
Отсутствие земного притяженья.
<...>
И сам себе не может объяснить
Всей чехарды создавшейся проблемы,
Что оказался, выйдя покурить,
Намного дальше солнечной системы.*

Окно – выход в иной мир, через него постигается иное:

*Не потому, – что за черту
Смотрю, как розовый романтик.
А потому, – что, как лунатик,
В окно за звёздами иду.*

*И наяву, а не в бреду
Я в полночь бегая по крышам,
И голоса родные слышу,
И руки на небо кладу.*

За окном Ильи Асаева мы не увидим майского солнца и зелёной листвы. Там – вечные ночь и зима. Окно чаще всего идёт в паре с лунной.

*Гудит клаксон. В дыре окна
Горит огонь несовершенный.*

*Скользит оккультная луна
У негритянских губ Вселенной.*

Стоит отметить, что луна у оккультистов действительно властвует над тьмой – ночная владычица, покровительница не просто влюблённых, а именно – беззаконных возлюбленных, тёмных практик, самоубийц, безумцев и меланхоликов.

Скованность недугом – ещё одна сквозная тема Асаева. Недостаток дыхания, удушье, астма, «гиблая болезнь» – образы, биографически обусловленные (как гласит предисловие Бориса Равдина к книге, «в апреле 1993 года, на Пасху, едва пройдя своё двадцатидевятилетие, И. А. ушёл, взял и ушёл, через запястья, на волне очередного приступа астмы»).

*Безвоздушную речь через горло продев,
Удаляясь в ничто, возникая нигде,
Расплываясь во времени, как по воде,
Чтобы рухнуть в забвенье.*

Образы «высохшего горла» и «рассохшихся лёгких» – так же, как луна и окно – повторяются в стихах множество раз. Вот характерное:

*И я, с объедками в зубах,
Свой корм воздушный
Таскаю в поднебесье лба
Сквозь рот и уши.*

<...>

*Не суетитесь – всем на смерть
Достанет дёрна,
Спешите музыку свистеть
В свистульку горла.*

Дыханье ведь однокоренно с вдохновением и, по сути, – есть жизнь, а невозможность дышать – смерть. Астматик ходит по этой грани. «И жить, и дышать, и любить» – это не просто перечисление, это синонимы. И это не красивые слова. Жить – значит слышать «...голоса друзей / Рядом! – а не в телефонной астме...».

*Каждый вздох мой равняется тысяче роз,
Умереть в этой каторге счастью равно,*

*И трамвай-мастодонт, разрезая мне мозг,
С нарастающим визгом вползает в окно.*

*Распухает душа, словно рыбий пузырь, –
Мой беспомощный вождь, мой слепой поводырь
Снова булькает в бронхах. И шило – в висок...
Впору вспарывать вены, а в венах – песок...*

Отсюда и ещё одно очень часто повторяющееся слово – «засос» – казалось бы, достаточно смешное, из подросткового лексикона. Но у Асаева – иначе. «Ночь в свой засос затягивает дом, – / Пространство с камнем празднуют взаимность». Или: «Скользит последняя постель, / С предсмертной лирикой любви / Соединив своих детей / В засосе боли». Это та же нехватка воздуха, вакуум, засасывание живого в пустоту небытия. Это пустота эпохи, тянущая, засасывающая.

У меня нет особой ностальгии по юности и младости. Но – «времена не выбирают: / в них живут и умирают» – словно отвечает Некрасову Александр Кушнер ставшей почти столь же затёртой, а стало быть, крылатой фразой. Двадцатидевятилетнему мужчине, пусть даже неизлечимо больному астмой, для сведения счётов с жизнью нужен веский аргумент. Рассказываемая близкими поэта романтическая история с нагаданной цыганкой ранней смертью – отнюдь не повод, разве что для своеобразного кокетства. Какой же уважающий себя юноша-поэт-бард не хочет видеть себя слепком с Лермонтова? (А Лермонтов – любимый поэт Асаева. И да, действительно, мы становимся похожими на тех, кого любим). Этого цыганка не могла не видеть – отчего ж не польстить мальчишке? Но для действительного сведения счётов с жизнью кокетства или подражательства кумиру – недостаточно. Невыносимость бытия – причина веская.

Первое определение временам, на которое я наткнулась в книге, «скорченные». Действительно – скорченные – в позе эмбриона ли, скорченные ли, от боли и ужаса или же скорченные в гримасу, в смеховой ли истерике идиота... «И держава встаёт, как Кощей, / Чертежами дорог и полей». Страна мертва и бессмертна в бессмысленной и одновременно всеместной казённости. О своей службе во внутренних войсках Асаев пишет:

*Казённая утварь, казенное утро,
Казённая совесть – КАЗНЕННЫЕ МЫ!!!*

Но дело не только в «месте», но и во времени: век – штука враждебная поэту, потому что он не от века, не от мира сего:

*Я до века незряч и для века незрим.
Но я знаю, что станет со мною и с ним.
Мне близка его слабость и чужд его пыл.
Никогда я его барышей не делил,
Кроме капельки ночи в артерии дня.
И давно не гнетут и не тешат меня
Ни счастливой свободы слепая резня,
Ни нужды, ни достатка пустая возня.*

У Мандельштама – и «век мой, зверь мой», и «век-волкодав», и «... никогда ничей я не был современник», но в то же время – «попробуйте меня от века оторвать». У Асаева – иначе:

*И в полстроки достало бы мне жизни,
И полсвечи, чтоб догорал ночник.
Ни города, ни века, ни отчизны
Не нужно мне, – ни отзвука от них.*

Это почти блоковское «О доблести, о подвигах, о славе», – но куда страшнее и безнадежней.

«Книжные дети, не знавшие битв» поколения Асаева стали в 1991 году героями событий, о которых можно говорить разное, но исход один: «Не могу осознать, оказавшийся тут, / В человеческом счастье и зверстве, / Что иные народы язык мой сотрут, / как шумерский и хеттский». Асаев пел песни у костров на Домской площади в дни рижских баррикад, был свидетелем перестрелки ОМОНа с латвийской милицией, а вернувшись домой, как бы шутливо сказал: «Эх, не удалось погибнуть героем». Бог миловал.

*Ещё обжора-век меня
В труху и пепел
Не изломал, не сплёл ремня,
тем боле – цепи.*

*Не искалечил злобой рот,
Как он умеет!*

*Но я ведь знаю – и сплетёт,
и перемелет.*

<...>

*В облове жизни – из трубы
Пустой эпохи
Душа, что мышшь, в дыру судьбы
Таскает крохи...*

Это были действительно крохи. Весь карнавальный реквизит, все эти звёздные плащи, луны, свечи, гадания, маленькие принцы, снежные королевы, каи-герды, сказочные аллегории – как же узнаётся по этим практически архетипам позднесоветская матрица, подменившая настоящее ностальгией по настоящему, а реальные чувства, плоть и кровь – чем-то театральным, маскарадным. Недаром в искусстве позднего СССР наиболее распространён «карнавальный стиль». У Асаева все эти клишированные символы становятся чем-то иным, вырастают до подлинно трагических масштабов, потому что в мире поэзии не может быть балагана, балаганчика – мишуры, притворства. Всё по-честному. По живому. Никакого клюквенного сока. Только кровь.

И – по прочтении стихов Асаева почему-то подумалось: как всё мелко. И вся мишура и папье-маше в серебрянке эпохи, и даже падение, распад, ужас, удушье, смерть, – как всё это мелко перед поэзией, которая одна остаётся и одна наследует грядущее.

Н. Вольнщикова

ЧИТАЯ КЛАССИКУ ВРЕМЕН НЭПА...*

*Человек не должен судиться. Это пошлое занятие.
И.Ильф и Е.Петров. «Золотой теленок»*

Предмет нашего исследования не совсем обычен: криминальная практика небезызвестного гр. О.Бендера в бессмертном произведении Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» как зеркало отношений личности и государства в эпоху дряхлеющего НЭПа. И не только.

Лимит отпущенной журнальной площади позволяет рассмотреть лишь очень короткий период бурной деятельности упомянутого гр. О. Бендера, а именно – старгородский.

Цель исследования двояка:

Во-первых, в который раз напомнить читателю, сколь тонка грань, отделяющая законную деятельность от незаконной.

Во-вторых, попробовать не согласиться с устоявшимися (и опасно обманчивыми) стереотипами нашего представления все о том же гр. Бендере – такой ли он законопослушный (на чем авторы «Двенадцати стульев» и собственно О.Бендер упорно настаивают).

Ожидаемый результат (для читателя) также носит двоякий характер:

- а) ни к чему не обязывающее времяпровождение;
- б) приобретение некоторого опыта в части общения с Законом при проведении внешне безобидных коммерческих операций и житейских контактов третьего вида.

За неимением под рукой ничего лучшего, чем Уголовный кодекс Латвийской ССР, принятый в г. Риге 6 января 1961 г. и с дополнениями действовавший более 30 лет (кодекс как кодекс) попробуем им и воспользоваться при рассмотрении некоторых сомнительных эпизодов, имевших место в 1927 году в городе Старгороде.

Приступаем.

Эпизод 1-й.

Первое же появление главного героя романа приводит его на старгородский развал, втискивает в шеренгу продавцов и создает отчетливо криминогенную ситуацию, а именно – реализация некоей астробии за 3 (три) рубля.

* Из архива журнала «Даугава». Имя автора воспроизводится по памяти. С учетом истекшего времени в редакции Альманаха статья подверглась некоторому редактированию.

Рассмотрим эпизод в деталях.

Налицо факт продажи товара, происхождение которого пока неизвестно, однако, учитывая род занятий гр. О.Бендера и его не слишком привлекательное прошлое, можно допустить (с известными оговорками) в этом эпизоде состав преступления по статье 93-й: *«Приобретение или сбыт государственного имущества, заведомо добытого преступным путем, – наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок».*

Так гласит 1-я часть упомянутой статьи. Во второй же части статьи речь идет об операциях в крупных размерах или в виде промысла, что инкриминировать гр. Бендеру в случае с астроябией можно лишь с чудовищной натяжкой, а таковая цель нами не ставится.

Впрочем, не стоит мелочиться, доказывать и уличать подозреваемого в преступных манипуляциях с геодезическим инвентарем – дело очевидно неблагодарное. Не случайно агент Старгуброзыска два раза прошел мимо гр. Бендера, но оперативно-розыскных действий не предпринял. Учтем, что впереди и без того еще очень много волнующего.

Эпизод 2-й.

Нарушение паспортных правил, выразившееся в проживании у Тихона в дворницкой. Вспомним-ка гениальный диалог после совместно выпитого вина:

- *Так я у тебя переночую, – говорил новый друг.*
- *По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.*

Привлекать? Пожалуй, нет, невинная мелочь, хотя и подпадает под статью 193-ю, как-то: *«Злостное нарушение паспортных правил... – наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок, или штрафом в размере до пятидесяти рублей».*

Исходя из суммы, вырученной при реализации астроябии, все же отметим, что даже штраф для гр. Бендера мог оказаться непосильной ношей, поэтому уточним подробности 193-й статьи (*«...нарушение... если оно совершено лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному воздействию за такие же нарушения...»*) и отпустим нарушителя с миром. Ведь в Старгороде с ним подобная неприятность впервые, будем же отходчивы и милосердны.

Эпизод 3-й.

Совсем другое дело – создание совместно с гр. И.Воробьяниновым поисковой концессии (ну да – сокровища гр. Петуховой, как же, помним!).

Гр. О.Бендер:

– Кстати, нам с Вами нужно заключить небольшой договорчик.

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия.

Тут шутки заканчиваются, и впервые на горизонте появляется уже настоящая, совсем нескучная, статья 148-я, часть вторая:

«Частнопредпринимательская деятельность... или... коммерческое посредничество, осуществляемое частными лицами в виде промысла или в целях обогащения... – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества».

Ну как?! А мы-то думали – милые шуточки, целевое времяпровождение. Впрочем, по части конфискации имущества с гр. Бендера поживиться государству особо рассчитывать не приходилось, но до 5 лет – звучит внушительно.

Однако, надо спешить дальше – гр. Бендер направляется во 2-й дом Старсобеса и открывает целую серию преступлений по своей коронной статье.

Эпизод 4-й.

Охота за первым стулом упомянутыми в романе методами сильно отдает признаками статьи 89-ой: *«Хищение государственного или общественного имущества путем мошенничества».* При этом целиком проникаясь первой частью статьи 89-ой: *«Завладение... имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)»*, – гр. Бендер сразу вписывается и в часть вторую этой же статьи: *«... совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц...».* Что ж, если в первой части мы читаем: *«Наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами до одного года»*, то в соответствии со второй частью кара приобретает более внушительный вес: *«наказывается лишением свободы на срок до шести лет»*, – и никаких тебе исправительных работ.

К счастью, стул из 2-го дома Старсобеса уперли еще до прихода гр. Бендера, но впереди еще редакция газеты «Станок», театр «Колумб» – еще будет, где подставиться.

Отметим также, что в данном случае мы имели место с мошенничеством в сфере государственно-общественной (а не личной), и здесь, как говорят в Одессе, две большие разницы – за личную собственность дают не так больно. Но личная сфера (м-м Грицацуева, а позже, в Москве – семья Шукиных, Авессалом Изнуренков) тоже будет задействована.

Эпизод 5-й.

Признаться, рука не поднимается инкриминировать гр. Бендеру статью 187-ю: «Самовольное присвоение звания или власти должностного лица...», уж больно лихо и продуктивно выступает он в роли пожарного инспектора в том же 2-м доме Старсобеса, а что делать – приходится, состав преступления налицо, ведь:

Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:

– Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны.

Впрочем, уточним: статья подразумевает присвоение, «сопряженное с совершением на этом основании каких-либо общественно опасных действий». В нашем же случае, кроме участия в обеде, приготовленном супругой Александра Яковлевича, и конструктивных действий при обходе помещений, никаких криминальных действий не установлено, поэтому то, что «наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года», в этом эпизоде доказывается с большим трудом. Поэтому поспешим дальше.

Эпизод 6-й.

Страшноватый, очевидный и безобразный: получение взятки во 2-м доме Старсобеса от Александра Яковлевича:

В коридоре к уходящему уже Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.

– Это 114-я статья Уголовного кодекса, – сказал Остап, – дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

Но деньги взял.

Вроде бы, все коротко и ясно: часть первая статьи 114-й (в новой редакции – 164-й) вполне к месту. Но все же всмотримся в статью, прочитаем внимательно: *Получение должностным лицом лично... в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего какого-либо действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения...*

Так-так, интересно, и что же за это? Ага: «наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества».

Ну, с имуществом гр. Бендера мы разобрались несколько выше. А вот насчет «должностного лица и должностного положения» обвиняемого как-то опять не все вытанцовывается: да не занимал он никакого служебного положения, равно как и не был никаким должностным лицом!

Что ж, не получается здесь привлечь гр. О. Бендера. Разворачиваемся лицом к статье 142-й.

Мошенничество: «Получение личного имущества граждан или прав на имущество путем злоупотребления доверием или обмана... – наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года». Весьма скромно... Но сразу же отметим, что повторный подобный фокус и уже в теплой компании-концессии с гр. Воробьяниновым формулируется несколько иначе: «Мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группы лиц...» и влечет за собой такой расклад: «лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без такового».

Вот и связывайся с гражданами после этого! Поэтому возьмем небольшую передышку, а затем продолжим.

Эпизод 7-й.

Совершенно безобидное перевоплощение гр. Воробьянинова в Конрада Карловича Михельсона неожиданно также подпадает под уголовную ответственность по статье 190-й: «Подделка или использование поддельных документов, печатей, или штампов».

Напомним:

Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.

– Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член союза с 1921 года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый.

Все это чревато «лишением свободы на срок до 2-х лет или исправительными работами на срок до одного года или штрафом в размере до 50 рублей».

Можно поспорить – а кого же, собственно, сажать (или исправлять или штрафовать): гр. Бендера или новоявленного Конрада Карловича, но зато какая замечательная ясность – преступление налицо!

Эпизод 8-й.

Получение ордеров у гр. Коробейникова можно было бы с легким сердцем квалифицировать по уже известной нам статье 142-й (мошеничество), однако перечитаем роман (в который раз!): а кто он такой, этот самый гр. Коробейников?..

Спина старика долго извивалась и наконец остановилась в положении, свидетельствовавшем, что служба в градоначальстве – дело давнее и что все упомянуть положительно невозможно.

Не стоит ли закрывать глаза на этот эпизод, ведь в некотором роде вор у вора... Да и для плавно-поступательного развития сюжета без ордеров – никак.

Переходим к эпизодам 9 и 10, куда напрашиваются диалог с отцом Федором в коридоре «Сорбонны» и угрозы в адрес Паши Эмильевича во 2-м доме Старсобеса.

Сухо и протокольно – налицо все признаки славной мускулистой статьи 204-й и намеки на уныло-дряблую статью 205-ю. Вот:

...Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного – Остап Бендер, в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел.

– Покупаете старые вещи? – спросил Остап грозно. – Стулья!? Потроха? Коробочки от ваксы?

Да ведь это вполне потянет на статью 204-ю (хулиганство): «...умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу...». Ну, и что там, в УК, по этому поводу предлагается? Читаем: «Лишение свободы на срок от шести месяцев до одного года или исправительные работы на тот же срок, или штрафом от тридцати до пятидесяти рублей». Впрочем, благодаря усилиям авторов романа, действия гр. О.Бендера вполне могут быть квалифицированы как «злостное хулиганство, т.е. «действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом или особой дерзостью». А тут уж, извините, совсем другие расценки за выполненную работу. Не угодно ли:

– Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа?

Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию – дешевле будет...

Да ведь это монолог с претензией на лишение свободы «на срок от одного года до 5 лет». Как говорится, делайте свой выбор, господа!

Что же касается Паши Эмильевича и статьи 205-й, то вспомните-ка: – *Набил бы я тебе рыло, – мечтательно сообщил Остап, – только Заратустра не позволяет...*

Налицо статья 205-я: «Угроза убийством, нанесением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества...». И пусть здесь чуть полегче, чем «дерзкое хулиганство», а все-таки: «...лишение свободы на срок до одного года или ссылка на срок до трех лет или исправительные работы до одного года».

Букет прямо скажем не слишком симпатичный.

А теперь, внимание, гвоздь программы, для чего, вообще-то, и собрались.

Эпизод 11-й.

Как-то совсем незаметно мы добрались до наиболее громкого преступления гр. О.Бендера – создание пресловутого, подпольного «Союза меча и орала».

– *Тайный союз меча и орала! – зловеще прошептал Остап. «Десять лет», – мелькнула у Кислярского мысль.*

– *Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!...*

Разумеется, можно восхищаться мастерством гр. Бендера при проведении необходимых организационных работ, однако 11-й эпизод попадает уже в другое ведомство. Здесь славная милиция, облегченно вздыхая, умывает руки, и неумолимо надвигается статья 67-я с очень длинным названием (приводится полностью): «Организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению особо опасных государственных преступлений... а равно участие в антисоветской организации», – после чего никакие ссылки на помощь беспризорным детям уже не помогут – стоило ли ради этого ехать из Берлина (Парижа)?

Наказание по статье 67-й формулируется довольно туманно: «соответственно по статьям 59-66 настоящего кодекса». Т.е. просто предлагается перевернуть страничку назад и тут же захлопнуть мышинный томик – куда не глянь, сплошь «наказывается лишением свободы на срок» (далее варианты) «от трех месяцев до семи лет... от трех месяцев до десяти лет... от восьми до пятнадцати лет» и т.п.) с (опять варианты) конфискацией имущества и со ссылкой (снова варианты) и так вплоть до заволаживающего «или СМЕРТНОЙ КАЗНЬЮ с конфискацией имущества».

Надо останавливаться – безобидная игра зашла слишком невесело. Честно говоря, такой поворот со злополучной статьей 67-й не позволяет серьезно сосредоточиться на мелочах типа эпизодов 12, 13, 14, 15.

Получение денег под организованный «Союз меча и орала»:

– Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям и никому другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.

Чистейшей воды мошенничество, знакомая нам до боли статья 142-я.

А как насчет кражи стула и прочего имущества мадам Грицацуевой, как-то: *...золотой броши со стекляшками, дутого золотого браслета, полдюжины золоченых ложечек и чайного ситечка...* Т.е. «... тайное похищение личного имущества граждан наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года».

Далее: «Вымогательство государственного или общественного имущества», имевшее место не только в Старсобесе (читайте-читайте роман!), «наказывается лишением свободы до четырех лет» (статья 91-я).

Или сплошь и рядом сопутствующая деятельности гр. Бендера статья 128-я (оскорбление). Помните случай его обращения к почтенному отцу Федору:

Панаша, вы пошлый человек!

Или обращение к Паше Эмильевичу во 2-м доме:

Ну, ты, жертва аборта <...>!

Что причитается по статье 128-й? Поистине детский призыв в виде наказания «исправительными работами на срок до шести месяцев, или штрафом в размере пятидесяти рублей, или общественным порицанием».

Хочется просто убежать и спрятаться, и никогда более к подобным исследованиям не возвращаться. Впрочем, мы уже у цели и пришла пора сделать необходимые выводы. А надо ли?

ДИАЛОГ С ВЕТРОМ

Размышления о поэзии Владимира Френкеля, по случаю выхода в свет 9-й книги его стихов под названием «Имя ветра»

Что это, книга – пароль?.. Разгадав его, мы сможем войти во внутрь того мира, откуда берет свое начало поэтическое творчество Френкеля?.. Беседы с ветром автор ведет давно, ветер для него – живое лицо, герой, собеседник, участник событий. Только зная имя ветра, мы сможем его окликнуть.

Автор, словно дразнит нас, выстраивая композицию книги так, что она начинается первым стихотворением из диптиха «*Ты говоришь, что ветер – имя / Мое. И в этом ты права*», и завершает ее вторым.

*Ты говоришь, что ветер – имя
Мое. И в этом ты права.*

*Лишь ветер крыльями своими
Глухие донесет слова*

*Издаю. Но я не слышу,
О чем он говорит со мной,
Когда дожди стучат о крышу
И хаос движется ночной.*

Литература началась с поэзии. Поэту, благодаря способности к творческому созерцанию, дано видеть, понимать и отражать внутреннюю суть вещей и явлений. Его задача – дать образ и удалиться, как бы сойти на нет, не стоять между читателем и поэзией – для этого и надо быть одиноким.

По словам Иосифа Бродского, «поэзия – и сочинение ее, и чтение – есть искусство отъединяющее, гораздо менее социальное, нежели музыка или живопись. К тому же поэзия испытывает несомненный интерес к пустоте, начиная, скажем, с пустоты бесконечности».

Стихи Владимира Френкеля, говоря «простыми» словами об обычных предметах и событиях, дают им вертикальное измерение, ибо его поэзия отражает Источник, которым она светится. Читая его стихи, мы попадаем во внутренний мир, обычно невидимый, мы попадаем в другое пространство. Хотя, все земные приметы и реалии на месте, но стены раздвигаются, окна и улицы ведут в бесконечность.

Лирическая поэзия живет игрой и переливом смыслов, и умирает от прямолинейности и однозначности расшифровки. Творчество основано на свободе, которая есть Святой Дух. Но творчество – это вызов. Творчество – это риск. Тайна его сокрыта в жизни человека. За тайной поэзии стоит тайна жизни, тайна бытия. Как говорит о себе Борис Пастернак: «Жизнь переходила в художественное претворение, как оно рождалось из судьбы и опыта».

Поэт проживает свою поэзию, как обычный человек проживает свою жизнь, и книги поэта – как его дневники, в которых может сегодня вспоминаться и осмысливаться то, что прожито год тому назад. Поэтому в поэтических сборниках Френкеля встречаются стихи, вошедшие в прежние книги.

В стихах Френкель не только немногословен, он, скорее, сдержан и сжат, его стихи лишены даже «обстоятельности». По стремительности движения мысли, образа он близок к Пастернаку. Порой эта стремительность не дает расшифровать его мысль, она, словно птица, пробегает перед тобой и взмывает ввысь, хотя поэт, кажется, ничего не прячет, не скрывает, не старается зашифровать. Такова поэтика Френкеля, и его мысль целиком вписана в его поэтические впечатления.

ПЛАЧ

*Приветствую от имени дождя,
Бормочущего, надо ли, не надо...
Как плачет он, на землю снизойдя
В компании ночного листопада!*

*Заладил и не знает, что несет,
Как будто он один лишь в этом мире
Не может спать, и речь его течет
Бесстрастно, точно чтение Псалтири.*

*Конечно, знаю – дождь не виноват,
В конце концов и он не бесконечен,
Ну, а пока что с головы до пят
Он вымок, невезением отмечен.*

*Приветствую от имени... Но нет
Названья у дождя, у неудачи.*

*Да ведь и мы являемся на свет
Без имени и в безутешном плаче,*

*Без имени, без речи, как-нибудь
Вступаем в жизнь, без мысли и без слова,
И если плачем, то лишь в этом суть
И жизни нашей вечная основа.*

Но как узнать имя ветра – только найти его в стихах и открыть, что он может быть со вкусом и ароматом, а бывает он и «влажным», а может быть окрашен философски: «безнадежный ветер». С ним могут быть отношения у автора: «знакомый ветер шатается...», «ему своих хватает бед».

Метафорические стихотворные формы позволяют автору «воплотить» воображаемый мир: «нет того, что было, и чего не было». Подробно описывая дорогу к дому, и как туда войти и жить, поэт вдруг говорит: «и пусть тебя не смущает, что этого дома нет» («Из городского путеводителя»). Или – «Погоди... я придумал, и все это было не так» («Небывшее»).

Посмотрим, кто обитает в поэтическом мире Френкеля: город, дождь, ветер, море, улицы (мокрые, ночные), небо, фонари, кафе, пейзаж; ожидания, встречи, любовь, время, расставания, свобода, одиночество. Они идут наравне с автором-героем. «Вот он, город, вот он – я» («Вот плывет луна в тумане...»). «Я в своем городе иностранец» («Посещение»). Всем и везде, всегда – чужой. «Я и сам никого не знаю, / Я свободен, я ни при чем» («Соглядатай»). Одиночество – метафизическое, экзистенциальное, человеческое. Одинокое духовное странствие, и только стихи – свидетели пути поэта. Поэзия, как и любовь – удел не юности, но – старости, и связано это с возрастанием личности, с глубиной мирозерцания, с опытом сердца, откуда и рождается художественная зрелость.

Читая книги Владимира Френкеля, можно ощутить его корни, его поэтическую родословную: это и Батюшков, и Баратынский, и Тютчев, Анненский, Ходасевич, Георгий Иванов, Арсений Тарковский. Но пусть читатель не думает, что для восприятия творчества Френкеля необходимо знание всего поэтического наследия русской культуры. В литературе все закономерно, и здесь важен единый Источник и единый язык искусства. Как написал В.А. Жуковский: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли».

И что еще важно. Владимир Френкель, со школьных лет писавший стихи, хуже всех, – по его собственным словам, – когда-то «начал писать, отвечая за слово. Это был уже путь». (Из книги «Обратная перспектива», с. 126)

Какую весть несет нам мир поэзии Френкеля? Основной урок: это свобода. «Даже когда это свобода одиночества в пустом кафе – это твое право» (Из книги «Обратная перспектива», с. 126).

И последнее: какой смысл в диалоге с ветром? Есть ли в этом какая-то польза, может быть, это бессмысленно, и пора с ним, наконец, расстаться?

Возможно... но автор думает иначе:

*Важно лишь то, что никому не приносит пользы,
Верю только тому, у чего даже нет названия,
Сбудется только то, что еще не бывало вовсе,
Никогда, никогда не кончится наше свиданье.*

(«Свидание», 2008. Из книги «Витраж»)

Дмитрий Драгилёв

БУДИЛЬНИК ЗАВЕДЕН НА «ОТПРАВЛЕНИЕ»

О книге Сергея Морейно HYPNOSES

СМ, т.е. Сергей Морейно – домосед. Иногда мне кажется, что он сидит в своих Саулкрастах безвылазно. Благо солнечный берег. Но еще больше он любит путешествовать. Особенно по Европе, передвигаясь собственным транспортным средством по одному ему ведомому маршруту (маршрутам) между Берлином, Варшавой, Калининградом и Ригой, периодически заглядывая в кантоны Швейцарии. Путешествия дарят новые встречи. Не секрет, что пилигримничанье, несмотря на дорожные миражи и прочие отвлекающие факторы (а, может быть, как раз благодаря подобным штукам) позволяет особенно пристально всматриваться в гримасы пространства, пространно и подробно размышлять, дает время и пищу для анализа сделанных тобой наблюдений. Не забудем и о том, что Морейно толмач, лауреат премии Андрея Белого по ведомству перевода. Эта роль посложнее функции паромщика, подразумевая движение через различные КПП, будь то хрестоматийная корчма, избушка на курьих ножках, верещагинская таможня. Граница у Морейно – процесс. Дорога – состояние. Проникновение автора в латышский язык состоялось давно, его появление в качестве латышского прозаика вполне закономерно. Переводческий опыт привносит дополнительный эффект, когда КПП превращается в реле: здесь мы можем говорить об изменении (увеличении) числа значений, коннотаций и смыслов. Кроме того, усиливается та самая «трансцендентальная сеть», упоминаемая в одной из частей книги «Hypnoses», вышедшей в 2018 году в рижском издательстве «Literatūras kombains».

Что-то гипнотическое определено есть в этой книге, тянущееся, при- и затягивающее, поглощающее тебя. Женскими образами, более или менее роковыми, будь то неведомые и такие узнаваемые Мёд и Ора или легендарная Ася Лацис, пересечением примет, стёжкой-дорожкой как таковой и остановками на пути. Некоторые читатели увидели в книге Морейно своего рода road movie с Джеймсом Спейдером в главной роли. Не понимаю, почему именно с ним. Едва ли это сравнение однозначно. Есть центральный персонаж по имени Алекс, существующий вне времен и стран, который ищет тепла, а находит физиологию, ищет сердце, а находит деньги. Или не находит. Можно говорить про топос, о том, что внешне тонкая душевная организация героинь на поверку оказывается сложно организованным бреднем, неводом с волокушами. При чтении главы «Московский дневник» мне почему-то пришла на па-

мать проза уральского латыша Яниса Грантса «Луи с Грабаркой», действие которой происходит в период первых пятилеток. И почему-то (а как не хотелось!) даже пресловутый «Заплыв» Сорокина. Честно говоря, сорокинский хоррор мне не по вкусу. Поневоле напрашивался вопрос об утопии, о правомерности рассматривать идею страха в разных качествах: о страхе как творческом начале, о левых интеллигентах революционной поры, стремившихся к разрушению старого мира, наполненного страхом (страхами?), но на полпути ощутивших необходимость в страхе большем. «Мы забыли о латышских большевиках-романтиках, научившись рисовать их монстрами», – сказал мне однажды коллега. В образе Акменьлаука Морейно рисует человека, который не является трусом и лизоблюдом, с радостью констатирующего, что «у вождя есть харизма». В тексте он то Акменьлаукс (т.е. с "с"), то без – просто Акменьлаук, в переводе – Полекамень, как отметили студенты Латвийского университета. Случайно или нет, но учитель Акменьлаукс – главный коммунист-подпольщик из знаменитой «Долгой дороги в дюнах».

А в ситуации с немцем Эйженом Бертом возникает отсылка к Бертольту Брехту, оставившему Маргарете Штеффин в СССР лечиться (умирать) от туберкулеза. Между тем, «Эпидемия» – вторая часть «Московского дневника», где орудует Эйжен Берт, видимо, постоялец отеля «Люкс», довоенного места жительства немецких коммунистов-эмигрантов, в еще большей степени рискует вызвать ассоциации с так называемыми сорокинскими лекалами (некоторые из них на самом деле уходят корнями в тургеневскую прозу) и российскими фильмами начала 90-х в духе «Прорвы» Ивана Дыховичного. Впрочем, можно возразить, что случай Берта – убийство из страха и отчаяния, за этим не кроется резвость автора, позиционирующего себя вне зла, демонстрирующего или даже смакующего убийство как ритуал или апофеоз равнодушия, остроты и чернухи ради.

Конечно, от СМ не следует ждать «обычного нарратива». Латышский писатель Арвис Колманис в своей рецензии сравнил его с Кортасаром, а другой латышский писатель Андрис Зейботс уподобил «Nurposes» хорошо темперированному клавиру. Морейно играет. Более того, он по-прежнему поэт. Три части «Московского дневника» заканчиваются центонными пародиями. В первой части это, в частности, Чак («В окнах плачет туман...») в сочетании с Линардом Лайценом (Хо-Таи), во второй – все тот же Брехт («Сотри следы») на пару с Петерисом Юрциньшем («Иволга»). В третьей – комбинация из Валдиса Гревиньша («Kavalieru

gads» = кавалерский, холостяцкий год) с «Интернационалом». А в четвертой уже не центон, а настоящая дайна, которую можно перевести так: «Есть такие, есть сякие, темноты сам-друг боятся, темноты-то не боюсь, звездотканую попоной согрет мой жеребец, у меня моя невеста да из звезд попоны ткет...»

Подобные находки мне куда ближе, чем ретроспективная политическая канва, окажись она даже нейтральной, или – как в других частях – спорные переключки с какими угодно дорожными записками и знаками предшественников. Я люблю и исторический жанр, и путевые заметки, и интеллектуальную манеру письма, но более всего ценю элегически меланхоличную, ностальгическую, щемящую интонацию. Этого «инвентаря» у Морейно немало: воронье, которое самобытно в каждом краю, пустой перрон и постоянный двор, ранний утренний час, туман в придорожном воздухе, невозможность привыкнуть к новым приметам той, что пришла на смену далекой возлюбленной, женщина, которую вспомнишь, когда все будет позади. Читаешь Морейно и понимаешь, что все эти «архетипы» не стерлись. И никогда не сотрутся. По крайней мере они до тех пор будут «работать», пока работают такие авторы, как СМ.

Но вернемся к идее, проблеме, точнее феномену перехода на латышский язык. Что приводит автора в другое языковое пространство, пусть даже автора, вооруженного пониманием необходимости такой задачи и инструментами для ее успешного воплощения? Что помогает ему? Лингвистический слух, которым СМ безусловно обладает. Желание напрямую обратиться к «новому» кругу читателей – к латышской аудитории, – минуя переводческие костыли, кордоны и шлюзы. Уже упомянутый опыт переводчика, столь часто купавшегося в чужих водах, чтобы смело вынырнуть в новой ипостаси – литератора, пишущего на «чужестранном». Не забудем про способность находить эквиваленты и «крючки», дабы выстроить повествование аутентично и адекватно. Конечно, Морейно предлагает свободно конвертируемые истории, они не насыщены реалиями, четко привязанными к определенной языковой культуре, субкультуре, лексике или локальной эстетике. При этом даже имена героев взяты все-таки из некоего условного западного гумуса, а не из российского шума. Характеры тоже не несут в себе ничего такого, что следовало бы, допустим, подвергать сложной трансформации. Исторические и псевдоисторические персонажи «Московского дневника» не в счет. Более того, Морейно создает свою топографию.

Нельзя, тем не менее, не упомянуть формальности, наконец, опечат-

ки, связанные, по-видимому, со следующим обстоятельством: Сергей Морейно подспудно (и вполне естественно) желает остаться в латышском языке русским. Как американец, австралиец или, скажем, индус не стремятся стать англичанами. Однако дотошный СМ порой чересчур усердствует в данном вопросе. На мой взгляд, одно из проявлений, дающее подобный эффект – архаизация регистров, которой автор придерживается с известным упорством. Далее можно указать на кальки с русского. Кроме того, Морейно старается, к примеру, соблюсти некую свободу или, если угодно, позволяет себе произвол словесного «нано-порядка» при построении фраз, где встречаются русские конструкции (не буду на них отдельно останавливаться), сознательно применяет деепричастия на -ams, – ama, отличающиеся от причастий на –jot, (в литовском они вообще называются полупричастиями, поскольку имеют род и число). Контекстуально ему многое удастся. Но, увы, по слухам, текст, именно в силу вышеназванных причин, выдержал бесчисленное число корректур, а у семи нянек...

И все же честь и хвала редактору Вице Лагановской, редактору книги «Nurnoses» Алде Бароне и корректору Кристапу Вецгравису не только за эту работу, но и за саму идею серии "Pierobeža" («Приграничье»). Быть может, именно так произойдет децентрализация литературы? Или следует говорить про Zwischenräume? О «межпространствах» и залах ожидания? В комментариях к своему переводу поэмы Майкла Палмера SUN на русский язык, сноской к строке «Будильник заведен на „отправление“» Алексей Парщиков упоминает сложные и мучительные отношения Бенямина и Лацис, московскую стужу, от которой страдает Вальтер. Бенямин «забредает на [...] вокзал и смотрит на поезда, отправляющиеся в Сибирь. Буфет [...] заставлен пальмами, откуда <открывается> вид на зал ожидания, выкрашенный в голубой цвет. Бенямин чувствует себя как в клетке для зебр. Он прихлебывает чай и думает об отъезде».

Думаю, что рассказы Морейно – истории с продолжением. Читателю всегда интересно, что наблюдает и чувствует, думая об отъезде, сегодняшний лирический герой – вечный путешественник. Полосатые верстовые столбы и шлагбаумы или что-то другое? Можно ли сказать, что децентрализация означает прорыв из клетки? В клетке ли мы? Следует сказать, что главы из книги «Nurnoses»: «Ковчег», «Паранойя» и «Смерть в Лейпциге» печатались в журналах Latvju Teksti, Domuzīme, Jaunā Gaita, а сейчас русский перевод «Смерти в Лейпциге» готовится к публикации в «Иностранной литературе», что является продолжением все той же безумной игры ментальностей разных народов.

СВЕЧА МЕЖ ДВУХ ЗЕРКАЛ

(впечатление о книге Владлена Дозорцева «Другой Юрканс»)

Не люблю слово «мемуары».

Известный популяризатор науки, начинавший как литературный критик, Даниил Данин написал как-то: «слово «проза» вмещает всю свободу изображения прожитого, которой требует замысел автора, а слово «мемуарная» вмещает все ограничения этой свободы, которые диктуют память и документ...»

Скажу сразу – я прочитал книгу Владлена Дозорцева «Другой Юрканс» не как второй том воспоминаний писателя, а как очень крепко сбитый (как и многое, что написал Дозорцев) политический триллер. Это настоящая художественная проза в применении к историческому материалу. Да и вообще слово «мемуары» для меня никак не вяжется с деятельным и стремительным обликом Дозорцева. При всех рамках, что диктовали документы и события, нарратив коллажно яркок. И документы, вправленные в него весьма искусными лоскутами, дополняют координату достоверности.

Это история из первых рук. Из первых уст. Без посредников.

Янис Юрканс, мужчина в расцвете лет, имеющий в трудовой книжке разительно отличающиеся записи: служба костела, сержант спецвойск связи, преподаватель английского, маляр и матрос-спасатель – энергичный, востребованный, получающий явное удовольствие от совершаемой им деятельности – это ли не герой, о котором нужно писать? Тут в строку и классическое филологическое образование главного героя, и диплом по Джеймсу Джойсу, который он защищал на английском...

Дозорцев полностью в теме, да и как же иначе, если он был, по сути дела, одним из акушеров молодого латвийского государства... Он цепко держит в поле зрения воспоминания современников и соратников, аккуратно и точно ставит бакены, знаки, флажки, обозначая свою, индивидуальную, линию фарватера в бурной и мутной реке нашего времени, населенной сциллами и харибдами.

Автор не скрывает полемическую необходимость обсудить, а порой и оспорить суждения тех, с другого берега. Да и о самом Юркансе он пишет не только как о друге и единомышленнике, но порой и как об оппоненте. Главное – стараться следовать исторической правде. Ощутимо – альтруистическое ли, дружеское ли – стремление сберечь для потомков образ (даже: -ы) современников, не заслуживающих, по его мнению, забвения. В триллере Дозорцева немало не замечна зачастую

главенствующая во многих жанровых аналогах тяга (попытка, цель, умысел...) оправдаться и оправдать – и самого себя, и свою эпоху. Что касается этой нашей с вами эпохи, здесь автор сразу обозначает свою позицию, ссылаясь на высказывание своего соратника по Народному Фронту Латвии, Дайниса Иванса: «... сразу после эйфории (полосы признания) в НФЛ и парламенте “произошел тихий переворот”, покончивший с романтикой Третьей Атмоды и начавший “омерзительную эпоху борьбы за власть новых победителей”» (Дайнис Иванс. «Воин поневоле». Изд. «Виeда», 1996).

И все-таки, несмотря ни на что – «блажен, кто посетил сей мир...». Жемчужным светом центристских, в известном смысле, романтических идей окрашены первые главы повествования...

Впоследствии, правда, освещение изменилось.

Тут мне на память пришел знаменитый «роман века». Ушедшего, XX-го. Помните – «Бурный поток», незабываемое произведение клуба «12 стульев» шестнадцатой страницы «Литературной газеты»? Он начинался скупыми фразами писателя-людоведа Евгения Сазонова: «Шли годы. Смеркалось.»

Думая о настоящем, впору писать новую главу и начать ее так: «Прошли годы. Смеркнулось...»

Дозорцев обладает счастливым талантом говорить просто о серьезных вещах.

Персонажи заповедных парламентских куц, знакомые по газетным полосам и новостным порталам, по плоским – цветным ли, черно-белым ли – фотографиям, частью уже нашедшие убежище в Википедии и/или отдалившиеся от политической кухни в дальние или ближние частные уголья, вдруг оказались в непосредственной близости, предстали объемными, живыми, с им присущими отчаянными поступками (разными) и слабостями, эмоциями и чувствами, твердыми (или нет) убеждениями и симпатичными (или нет) заблуждениями...

Дистанция сократилась.

Дозорцев, как искушенный, даже я бы сказал – трендовый, режиссер, стер границу между сценой и залом, создал эффект on-line трансляции.

Он ведет свое повествование неторопливо, словно стоит на башне сегодняшнего времени и с высоты черно-белого опыта смотрит вниз. Его зоркий (Дозорцев!) взгляд по-прежнему остро различает детали, полутона, пунктиры отношений, которые уже заслонены витринами с

толстым (и недомытым) стеклом в пару десятилетий. Впрочем, иногда он вспыхивает и прищипывает текст, который майнридовским мустангом, пронзительно цокая, мчит по бульжникам Старого города...

Я же читаю книгу, сидя дома, когда осенний сад за окнами уже расстается с майскими иллюзиями листвы, но присутствие автора настолько явственно, что мне кажется, будто мы вместе сидим на летней террасе под зонтиками, где-то у воды, скажем, в «Aqua Luna», и беседуем, потягивая кофе и глядя на проплывающие мимо яхты, которые парусами медленно нарезают горячий воздух так, что он слой за слоем падает в воду реки, согревая ее... Я проживаю год за годом – историю «евроремонта страны на берегу Рижского залива», страны, в которой я живу...

Дозорцев приводит слова Нила Муйжниекса, который еще в те давние, еще романтические (см. выше) времена, будучи руководителем Центра по правам человека, предупреждал: «Латвия может быть либо демократической, либо латышской...». Муйжниекс оказался прав. Принстон дает своим выпускникам отличное образование.

Мне очень приглянулась режиссерская идея автора – описать падение министра иностранных дел Латвийской Республики Яниса Юрканса в 1992 году через два полярных журналистских мнения. Словно свеча стоит меж двух зеркал – выпуклым и вогнутым... И отражается в каждом зеркале по-разному. В криволинейной (полярной) системе координат...

А потом он дает слово самому герою, о котором поэт Янис Петерс, мудрый и объективный человек, сказал в конце 90-х годов двадцатого века: «Он был лучшим из трех министров иностранных дел Балтии и одним из немногих латвийских политиков, свободно конвертируемых на Западе.» (Должен заметить, что Дозорцев умело и своевременно использует вставки «ПРЯМАЯ РЕЧЬ», что добавляет сюжету упругости и динамичности.) И появляется отражение в традиционном плоском зеркале, которым мы привыкли пользоваться ежедневно. Но оказалось, что уже тогда, а тем более сейчас, – никому оно не было нужно, старомодное, нормальное, венецианское... Правильное отражение – теперь антиквариат, даже ветхость, ну, в лучшем случае кто-то расщедрит по этому поводу отсыпать, как монетку нищему, словечко «винтаж»... Ведь теперь в моде – музеи оптических иллюзий. Да и не только музеи. Актуальный мир настолько иллюзорен, что стал похож на фестиваль победившего субъективного идеализма.

А вот Дозорцев – по-прежнему – на стороне ортогональной трехмерности. И предпочитает все называть прежними, «винтажными», именами. И всем сестрам досталось по серьгам. Он знает, о чем пишет. Не зря же на вопрос журналистки, с кем бы он пошел в разведку, Юрканс ответил, что только с Дозорцевым...

В начале новейшей истории государства был даже момент, когда поляка Юрканса, который стал основателем целого политического движения сложной судьбы под немодным теперь названием «Согласие», считали самым вероятным претендентом на пост президента Латвии. Думается, что именно в этот момент стройотряд этнократии поставил «птицу» против его фамилии. Все, что случилось потом, происходило неторопливо, но настойчиво, и медлительная Тортилла в бронезилете с лиелвардским узором обогнала тренированного Ахиллеса. Победило поколение «nothing special», поколение аккуратно причесанных мальчиков, которые умеют (правда, не все и не очень) говорить ни о чем, потому что больше говорить не о чем, умеют улыбаться как ни в чем не бывало... Но ведь это уже бывало! «Вы говорите так красиво, а это попросту морковь...»

Однако, как ни крути, «на дворе – правая погода» (Я.Юрканс – 1994 год), за околицей – постмодернизм.

Герой мыслящий, вспомним Гамлета, доктора Фауста, князя Мышкина, чеховского Иванова, герой чувствующий, вспомним графа Резанова, Тевье-молочника, Дона Ламанчского, уходит с театральной, и с социальной и, естественно, с политической сцены, уступая поначалу персонажам Олби, Вампилова, а после миллениума так и вовсе фрикам-унисекс с блеклыми поступками, невнятной мотивацией, которым еще недавно место было разве что в рубрике «Нарочно не придумаешь».

Театр – и политический, в том числе – сегодня таков, каково общество, а оно ... (впишите собственную версию). Мировая тенденция не миновала и балтийские берега, отразившись в латвийской капелке воды...

И все-таки хочется вернуться к герою книги и отметить еще одно поразительное его качество. Юрканс предстает на страницах книги и как политический ясновидец.

Он с точностью до месяца предсказал обретение Латвией независимости.

В 1992 году он писал: «...до уровня Италии нам идти еще достаточно далеко, таким образом у итальянцев есть и будет больше поводов опасаться потока мигрантов из Латвии». Как видите, в этом абзаце нужно сделать минимальную манипуляцию – заменить Италию на Ирландию...

Очень интересный пассаж от Юрканса последовал зимой 1993 года (из интервью Алле Петропавловской): «Тысячи этнических россиян, спасающихся бегством из районов войны, несут с собой в центр России вопль унижения. Средняя Азия, Северный Кавказ, Закавказье. На очереди – Крым». Без комментариев.

А к его глубоко аналитической лондонской лекции 2016 года, думаю, еще придется вернуться. И не раз.

Талантливый автор заслуживает, чтобы у него был понимающий читатель. Это я не о себе, это я о потенциальном читателе книги. Однако, к моему великому сожалению (штамп, но точнее не скажешь), я уверен, что даже среди талантливых читателей немного найдется тех, кто серьезно и отстраненно вникнет в динамичную вязь повествования о латвийской политической кухне.

Пришлось вспомнить о несовершенствах принятого закона о гражданстве, на которые и я вместе с автором наивно напоролся в те – уже далекие, но не ставшие от этого менее крапивными, – девяностые... Важно – помнить, хотя обладание хорошей памятью всегда вредило ее обладателям...

Я благодарен Дозорцеву – он помнит. Не забыл.

А ведь у всего на свете нынче – китайские сроки годности.

Агротехника и селекция разумного, доброго, вечного вышла из моды давным-давно, а теперь и вовсе стала почти что лженаукой.

Тем не менее, кое-что все-таки радует.

Во-первых, книга Владлена Дозорцева уже стала частью литературы и истории, и все интересующиеся сейчас и впоследствии могут обратиться к ней и попытаться найти ответы на некоторые вопросы.

А, во-вторых, свою лондонскую речь (рекомендую прочитать и речь, и книгу) Юрканс закончил словами: «...войны не будет!»

Он что-то знает, предчувствует. Ясно видит.

Похоже, ему «дано предугадать...».

ВОСПОМИНАНИЯ

Владимир Новиков

ВСЛЕД ЗА КАРИКАТУРОЙ

Начало пятидесятых прошлого века. Однажды после долгих дождей процедур я простудился. И даже заболел. Да так, что уложили меня в постель. А когда температура спала, стали потчевать детскими книжками. Вскоре все картинки в них были рассмотрены-пересмотрены. Читать-то я до школы не умел.

Знакомство с «Крокодилом»

Мама задумалась: «Как же дальше удерживать Вовку в постели?». И придумала! Говорит папке:

– Миш, дай Вове свои «Крокодилы». Там ведь картинок много.

Отец мой хорошо рисовал. До сих пор храню его наброски природы и коллег по малярной бригаде. Так вот, на работе поручили ему выпускать то ли стенгазету сатирическую, то ли листок «Не проходите мимо!» А там рисовать карикатуры на пьяниц, прогульщиков и других антигероев, тормозивших построение социализма. Отец попытался отказаться: «Я карикатуры рисовать не умею». «И не надо! – заявил председатель профсоюзного комитета стройуправления. – Будешь срисовывать карикатуры. Получай номера журнала „Крокодил“, его мы выписываем в контору. Смотри, как тут изображен госсекретарь США Джон Фостер Даллес или канцлер ФРГ Конрад Аденауэр... Бери – и перерисовывай их в кладовщицу Норкину, которая грубит рабочим, или подвыпившего каменщика Мурникса».

С тех пор в нашей квартире постоянно росла горка номеров «Крокодила». И мама вручила мне журналы, с целью удержания сына в постели до полного выздоровления. Точный год этого события я определил потом, когда в монографиях карикатуристов увидел знакомые мне рисунки с годом их публикации в «Крокодиле» – 1952. Так что могу точно определить: моя любовь к карикатуре возникла в пятилетнем возрасте.

Особенно мне нравились многофигурные рисунки. Такие, как карикатура Юлия Ганфа, на которой изображен вышедший прогуляться генерал Мэтью Риджуэй. В 1952-1953 годах он являлся верховным главнокомандующим вооружёнными силами НАТО в Европе. Композиция карикатуры сложная, на ней – более полусотни участников прогулки генерала: здесь и пехотинцы, и оцепление улицы, и кавалеристы, и мотоциклисты, и бронемшины, и свора служебных собак. Изображенные герои переполняют и дорогу, и тротуары.

Как мне помнится, я разглядывал каждого героя рисунка, давал солдатам характеристики: этот сердитый, этот равнодушный, а этот – очень добрый. И в собаках старался определить, какая из них самая умная. Тогда я понял: самые интересные рисунки это те, на которых изображено много героев. Такими же в журнале «Крокодил» были многие карикатуры Ивана Семёнова. Его рисунки, как правило, были на внутрисоюзные темы. И для детей Семёнов рисовал много. Помню книгу «Круглый год – 1954». Там каждый месяц открывался многофигурной композицией Ивана Максимовича. И пусть рисунки эти были не цветными, все равно разглядывал я их часами.

От простуды я выздоровел, но заболел карикатурой, через несколько лет изучил почерк всех художников-крокодилцев и к своему десятилетию в еще нечитанном мной номере «Крокодила» узнавал авторов практически всех рисунков. Другим-мальчишкам казалось, что я великий фокусник.

Волшебный дом

Лишь я пошёл в первый класс, отец записал меня в 20-ю рижскую детскую библиотеку на улице Аптиекас. Сейчас на её месте находится двухэтажный кирпичный дом, в нем – библиотека-клуб «Саркандаугава». Там я часто выступаю перед детьми со стихами и рассказами, а как-то посчастливилось быть и Дедом Морозом. А в пятидесятые годы для меня на этом месте стоял волшебный дом. Вокруг него разрослись кусты неломаной сирени. Сам дом был неказист: деревянная избушка, обшитая досками, которые от воздействия ветров и дождей стали серыми. Но когда ты заходил вовнутрь «избушки», она расширялась и удлинялась, становилась настоящим дворцом. Здесь была и комната-читальня, и комната с книжными полками, откуда две женщины-библиотекари без отдыха даже на минутку, приносили книги. Приносили к барьеру-«прилавку».

Новые книги выдавались только после того, как расскажешь библиотекарям содержание взятых в прошлый раз. Выдавали читателям домой и подшивки журналов. Главное – и «Крокодила»! Правда, подшивки были по полгода, так как этот журнал выходил каждые 10 дней, 36 раз в году – и годовую подшивку было не поднять читателю-первокласснику.

В первые походы в библиотеку меня сопровождал папка, но вскоре я освоился и днями пропадал в читальне. Бороздил строки «Мурзилки», страницу за страницей. А когда учился в третьем классе, случилось

чудо! На выставочном стенде библиотеки появился новый журнал! Детский юмористический журнал «Весёлые картинки», в котором почти все рисунки сделаны моими любимыми художниками-крокодильцами! Они ринулись на страницы детского журнала потому, что здесь не было ни «крокодильской» идеологии, ни политики. Там можно было шутить без оглядки. Ведь журнал «Весёлые картинки», как пишут, даже не подвергался цензуре. Наряду со многими в новом издании трудились и мэтр советской карикатуры член-корреспондент Академии художеств СССР Михаил Черемных (о нём Самуил Маршак писал: «Михал Михалыч Черемных большой любитель благ земных»). А также, хоть и не крокодилец, но тоже член-корреспондент Академии художеств СССР Алексей Михайлович Лаптев (автор классического образа Незнайки); активно работал в журнале истинный крокодилец, впоследствии член Академии художеств Аминадав Моисеевич Каневский (автор образа жёлтого Мурзилки, созданного им в 1936 году). Юлий Абрамович Ганф, чей рисунок я разглядывал в пятилетнем возрасте, занял свое место среди членов редколлегии. Кстати, когда в 1960 году вышел альбом Ганфа в серии «Мастера советской карикатуры», в нем меня неожиданно поразили рисунки этого «полит-художника» на бытовые темы – столько в них было добрых улыбок!

Константин Ротов

Перечисляя авторов «Крокодила», следует с большой благодарностью вспомнить художника Константина Павловича Ротова. Многие не называли его иначе как истинным Моцартом юмористического рисунка. Когда я впервые встретился с Виктором Александровичем Чижиковым, автором олимпийского Мишки, мой главный вопрос был о Ротове – ведь в пятидесятые годы молодые художники с удовольствием выполняли поручения редакции, связанные с посещением квартиры Константина Павловича. Виктор Чижиков рассказал:

– Ротов был настоящим волшебником. Ему не требовалось делать наброски, эскизы, несколько вариантов рисунка. Он брал лист ватмана, остро-отточенный карандаш, – и на бумаге сразу рождалась сложная композиция с характерными для темы лицами героев. Большая работа, выполнение которой у другого художника заняло бы неделю, у Ротова рождалась за несколько часов.

Для меня лично Константин Павлович Ротов больше чем художник, он – самый любимый художник. Линия его рисунка неповторимо живая.

Его героям не надо отправляться в мультик – на листе бумаги они живы и близки тебе всей своей сутью. Думаю, что со мной согласятся многие. Разве можно не восхищаться иллюстрациями к «Приключениям капитана Врунгеля» Н. Некрасова, к «Старику Хоттабычу» Л. Лагина, к «Дяде Стёпе» С. Михалкова, к «Трём поросётам»... В двадцатые-тридцатые годы К. Ротов дружил с И. Ильфом и Е. Петровым, рисовал карикатуры к их фельетонам, иллюстрировал ещё журнальный вариант «Золотого телёнка». Позже Ротов стал главным художником «Крокодила» и нарисовал сотни карикатур для этого журнала. Константин Павлович являлся автором эскизов оформления советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939-1940 гг. Пригласили его в творческую группу художников как мастера многофигурной композиции, – на панно были представлены знаменитые люди страны советов. Правда, уже в процессе работы некоторых героев панно приходилось заменять, так как они подверглись репрессиям.

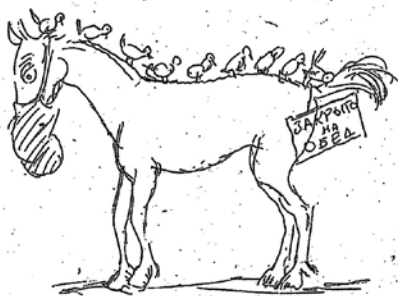
Беда на долгие годы

С рисунками Ротова я познакомился позже: до 1954-го он находился на вольном поселении в Красноярском крае в поселке Северо-Енисейск. В общей сложности его путь домой из мест заключения, а затем поселения занял почти 14 лет, с небольшим перерывом на свободу в 1948 году.

В лагерях Константин Ротов оказался из-за доноса. Если есть Моцарт, то должен быть и Сальери. Но здесь другой вариант: обвиненный в шпионаже коллега-художник, от которого требовали назвать сообщника по заговору, доведенный пытками до изнеможения, до потери и физических и душевных сил, чтобы прекратить невероятные мучения, назвал имя заговорщика – Константина Ротова. И до конца своих дней не простил себе этого...

Как мне рассказывали, арестовали К. Ротова в июне 1940 года по статье ПШ – подозрение в шпионаже, осудили, как известно, по статьям «измена Родине и участие в контрреволюционной организации» (ст. ст. 58-1а, 58-11).

В придачу к шпионажу Константина Павловича обвинили в действиях, порочащих социалистический строй. Здесь уже было «доказательство». Еще в 1934 году на темном (от слова тема) заседании в «Крокодиле» Ротов нарисовал смешной рисунок: лошадь ест овес из торбы. Вдоль всей ее спины – воробьи, которые с грустью смотрят на табличку у хвоста кобылки с надписью «Закрывается на обед». Все присутствующие



*Такая карикатура была мною
выполнена в 1934 или в 1935 году.
(точно не помню). Данный рисунок
крошечный приложил к протоколу допроса
от 31 мая 1954 года.*

К. Ротов

К.Ротов.
Закрото на обед.
Не предназначавшийся
для печати рисунок
1934 года с пояснениями
автора

посмялись шутке, когда же через шесть лет о рисунке прослышали в кабинетах НКВД, и уже было показание коллеги Ротова по «Крокодилу», немедленно выписали ордер на арест расшутившегося художника. Нашёл над чем смеяться! Понятно, на что намекает: воробьи – это советский народ, которому якобы нечего есть, да если и найдут изображенные воробьи пропитание, качество его – сами понимаете.

Ордер на арест художника подписал сам Берия.

Потом, после освобождения, Константин Павлович много беседовал с карикатуристом Евгением Гуровым, вместе с отцом которого он отбывал срок в лагере. В девяностые годы Гуров на страницах «Крокодила» вспоминал о пережитом Ротовым, который рассказывал, как следователь-майор направлял свет настольной лампы в глаза допрашиваемого, не давая отвести взгляд. Не получив ожидаемых признаний, майор снимал наручные часы с левой руки и переносил их на правую. Следователь был левшой, Ротов понимал: «Бить будет». И не ошибался. Невыносимым являлось пребывание в камере-пенале. Практически в узком шкафу, где подвергаемому пыткам не только прилечь, но и присесть невозможно. Отправляли в него на целые сутки... И разве мог такой художник, как Константин Павлович Ротов, не рисовать! Это потом, после получения приговора, он стал заведовать лагерной художественной мастерской. А во время следствия у Ротова не было ни карандашей, ни бумаги. И он рисовал обмылком на брюках. Изрисовывал их, затем старательно стирал мыльные линии – и опять рисовал. Мастер не терял мастерства.

Кто-то нынче заявляет, что Сталин и не знал о беспределе палачей. Все пытки и издевательства проходили без его ведома. И о расстрелах знал он только понаслышке. Даже подписывая расстрельные списки...

Народные художники Кукрыниксы во время войны обращались к руководству страны с просьбой смягчить приговор популярному художнику. Тщетно.

Так случилось, что в 1947 году во время, когда Ротов руководил художественной мастерской лагеря, на Соликамской пересылке остановился состав, направлявшийся на лесоповал под Чердынью. Среди заключенных был впоследствии знаменитый поэт Михаил Танич. Как рассказывал Михаил Исаевич, Константин Ротов выбрал из заключенных его и одного его товарища и взял их в мастерскую. У них обоих за плечами был один курс института с архитектурным уклоном. Как вспоминал Танич, в лагерной мастерской делали многое, даже детские игрушки! На них было написано, что изготовлены они в «Усольлесотресте», а не в «Усольлаге МВД». Конечно, зайчики, мишки, лошадки мастерились по эскизам Константина Павловича Ротова. Оформляли художники лагерь к праздникам, писали копии с картин Айвазовского, Шишкина, других классиков. Картины эти продавались в магазинах «на воле».

За несколько лет до встречи в Риге с Михаилом Таничем я приобрел два большеформатных альбома карикатур Константина Ротова. Один из них подарил Михаилу Исаевичу, к большой его радости. Ротов всегда был в дефиците.

После отбывания первого срока Константин Павлович получил второй. Система боялась тех, кто оказался после лагерей на свободе. Они не будут относиться к вождю с соответствующей любовью. И их старались опять отправить подальше. Ротову после первого освобождения было запрещено жить в ста городах страны. Конечно, в том числе и в Москве. Как рассказывал мне В.Чижиков, однажды Ротов остался с вечера у столичных родственников. В ту же ночь его арестовали, и лишь после смерти Сталина пришло освобождение.

Тысячи реабилитированных возвращались к своим семьям, к оставленной на годы любимой работе.

Константин Ротов теперь выпускал большие комплекты открыток с иллюстрациями к сказкам, оформлял новые детские книги, рисовал карикатуры для «Крокодила» и создавал многофигурные рисунки для «Весёлых картинок».

Юлий Ганф писал о работах Ротова: «Все смешно, все интересно, все можно без конца рассматривать, находить все новые и новые подробно-

сти. А прекрасные его иллюстрации для детских книжек К. Чуковского, С. Маршак, С. Михалкова! <...> Дядя Костя Ротов никогда не сюсюкал, уважал своего маленького читателя, любил его так же горячо, как любил свою работу».

Памяти учителя

За годы лагерей и ссылки здоровье художника сильно подорвалось. Вернулся к нормальной жизни он в 1954 году, а в январе 1959 года Константин Павлович Ротов не стало. В том же году в киосках Союзпечати появилась книжка, посвященная памяти самого доброго советского художника, – пожалуй, больше такого издания история не знает. Называлась она «Веселые картинки для взрослых». В этом, вышедшем в «Библиотеке „Крокодила»» сборнике, представлены работы, которые выполнили семь карикатуристов. Среди них ныне прославленный иллюстратор Виктор Чижиков и ставший знаменитым режиссер Александр Митта.

А через пару месяцев после этой книжки вышел небольшой черно-белый альбом карикатур Ротова с емким названием «Юмор». Как рассказывал мне В. Чижиков чтобы сохранить четкость линий, цветные карикатуры в черно-белые – пером и тушью – перерисовал художник Юрий Федоров, идеально сохранив почерк Ротова.

Надо сказать, что в молодые годы А. Митта не только рисовал карикатуры, но однажды написал стихотворение для детей. Оно понравилось Ротову, и художник проиллюстрировал его многими рисунками, напечатанными в «Весёлых картинках».

Тогда Митта только поступил во ВГИК и часто бывал в редакциях «Крокодила» и «Веселых картинок». Думаю, будет интересно узнать его мнение о карикатуристах тех времен, в семью которых Александр Наумович стремился. Вот оно: «Вообще крокодилские художники-сатирики поразили меня в первую очередь полным несоответствием внешнего облика с предполагаемым. Все они оказались добрыми, славными людьми, любителями розыгрышей и шуток в быту. На взгляд голодного крысёныша, вылезшего из лабиринта московских подворотен (таким я, видимо, был в те далекие годы), все эти люди как-то отличались от остальных. И если найти одно слово, которое определило бы их общность, я бы сказал, что это слово было – доброта. По сути, они были маленькой кучкой грустных клоунов трагической эпохи. Но даже среди этих добрых и насмешливых людей Константин Павлович Ротов отличался мягкостью и какой-то особой добротой».

И еще вспоминает Александр Митта: «Арестовали Ротова на даче. С этой дачей, кстати, связан один его рассказ. У Ротова на участке росли помидоры. Заботился он о них мало. А за забором на ровных окученных грядках росли ухоженные помидоры соседа по даче. Как-то утром Ротов вышел с банкой гуаши и аккуратно раскрасил в красный цвет свои зеленые помидоры. Сосед встал попозже и по обыкновению стал поливать свои розовеющие помидоры. И вдруг застыл в изумлении: заросшие сорняками ротовские грядки краснели десятками ярких плодов <...> Этот рассказ я вспомнил, когда снимал фильм «Гори-гори, моя звезда». В фильме есть персонаж – художник. Он разрисовывает радугами яблоки на погибшей яблоне. И художник этот, молчаливый талант, погибший в круговерти гражданской войны, и сцена с яблоней были моим поклоном умершему учителю».

«Сверчок», «Чиж» и «Ёж»

Ротов сотрудничал и в выходившем еще в 1937 году детском журнале «Сверчок», в котором подзаголовком было: «Весёлые картинки для маленьких детей». Практически это был первый подобный веселый журнал для малышей. Судьба его, как и судьба его создателей, – трагична.

Главным редактором «Сверчка» стал драматург, поэт, прозаик Николай Олейников. Активными авторами выступали Александр Венденский, Даниил Хармс. Из-под обложки «Сверчка» вышли рассказы в картинках Николая Радлова, теперь они превратились в классику подобного жанра.

Журнал был познавательным, увлекающим детей, с добрым, ненавязчивым юмором.

Очень смешные иллюстрации делал Бронислав Малаховский, первый иллюстратор сказки о Буратино Алексея Толстого. Алексей Николаевич писал очередную главу, читал Малаховскому, а тот иллюстрировал ее для продолжения приключений деревянного мальчишки на страницах газеты «Пионерская правда». Малаховский был увлечен юмористическими рисунками с раннего детства.

Корней Иванович Чуковский вспоминал о нём:

«Это был самый застенчивый мальчик, какого когда-либо я знал. Войти в комнату и сказать людям „здравствуйте” было для него истинной мукой. Застенчивость связывала его по рукам и ногам.

В кармане у него всегда был альбомчик. Забившись в далёкий угол и впиваясь глазами то в одного, то в другого из нас, он быстро бегал по



Б. Малаховский. К. Чуковский и С. Маршак. Юмор. М. Крокодил. 1963. С. 44.

овалом лица, весь как пожаром охваченный всепожирающей страстью к искусству».

Книга «Золотой ключик, или Приключения Буратино» с иллюстрациями Бронислава Малаховского вышла в Детгизе в 1936 году.

Вскоре после этого художник был арестован. Как и Н. Олейников. Этому предшествовала озверевшая нелепая критика «Сверчка», нового журнала для малышей, где художники упрекались в том, что рисуют детей с большими головами на тонких ножках, где литераторы обвинялись в пустом юморе, без идеологии и революционной направленности. Олейников отредактировал четыре номера журнала, пятый вышел уже без него. Арестовали редактора в мае 1937-го, по обвинению в троцкизме, а расстреляли в августе того же года. Реабилитировали 13 сентября 1958 года. Казнили и Б. Малаховского, за месяц до его 35-летия, как польского шпиона. Реабилитировали 8 января 1958 года. Нашлись статьи обвинения и для А. Введенского, и для Д. Хармса. Их арестова-

бумаге карандашиком, и никакими силами нельзя было заставить его, чтобы он показал свой рисунок <...>.

Его семья жила недалеко от нас. Как-то я посетил её, когда мальчика не было дома. Его бабушка, гордясь своим внуком, показала мне его рисунки.

Едва я глянул на них, я чуть не закричал от удивления.

Оказалось, что этот тихоня – на самом деле беспощадный насмешник, для которого каждый из нас – уморительно забавная фигура <...>.

– Он не рисует лишь тогда, когда спит! – говорили о нём в семье. <...>.

Во времена его широкой известности я встречал его редко, и в моей памяти он навсегда сохранился как застенчивый мальчик с пухлыми губами, с детски нежным

ли позже. Хармса 23 августа 1941 года, он умер в 1942 году в больнице тюрьмы «Кресты». Реабилитирован 26 июня 1960 года. А. Введенский арестован 27 сентября 1941 года, скончался от плеврита 19 декабря того же года. Реабилитирован 30 марта 1964 года.

Самуила Яковлевича Маршака Союз писателей призывал отречься от «недостойных» детских писателей. Он отказался сделать это. А сотрудничество Маршака с ними было давним. Он пригласил Олейникова, Введенского, Хармса к работе над журналами «Ёж» – «Ежемесячный журнал» (1928–1932) и «Чиж» – «Чрезвычайно интересный журнал» (1930–1941). Одно время эти журналы редактировал Николай Олейников. И именно в «Еже» появились стихотворения Даниила Хармса «Иван Топорыжкин пошел на охоту...» и «Иван Иванович Самовар», а также рассказы Виталия Бианки, Бориса Житкова и Михаила Зощенко, стихотворения Корнея Чуковского, произведения других авторов. Иллюстрировали журнал Владимир Лебедев, Владимир Конашевич, Евгений Чарушин, Николай Радлов. С потрясающим чувством юмора в «Еже» давались репортажи Олейникова, герои которых зачастую были вымышленными, почти сказочными.

В справочнике «Советская сатирическая печать 1917–1963» (М. 1963) о «Сверчке» читаем: «Детский юмористический журнал. Единственный номер вышел в 1937 году с подзаголовком: „Весёлые картинки для маленьких ребят...“. По-видимому, составители справочника решили забыть о четырех номерах, отредактированных Николаем Олейниковым. Справочник не упоминает среди перечисленных авторов журнала ни самого редактора, ни Бронислава Малаховского, ни Даниила Хармса, ни Александра Введенского...»

Киоск на углу улиц Тилта и Патверсмес.

В моей библиотеке хранятся подшивки журнала «Крокодил» с 1959 года. В семье выписывали только газету «Советская Латвия». Вожделенный «Крокодил» я спрашивал в киоске на углу улиц Патверсмес и Тилта. Он был как раз по дороге в мою 39-ю среднюю школу на улице Симаня. Спрашивал журнал я и по пути в школу, и возвращаясь домой.

Где брал деньги?

Экономил на школьных обедах. Стоил «Крокодил» после денежной реформы 1961 года 12 копеек (за 13 копеек продавалось сливочное мороженое). День не пообедал – и листай-читай, разглядывай карикатуры в своё удовольствие.

В зону моих интересов вошли и журнал для детей „Zilite” («Синичка») – он начал выходить с 1958 года, и сатирический „Dadzis” («Чертополох») – появился в 1957 году.

Добрая киоскерша оставляла для меня журналы, и когда я подходил к киоску, вытаскивала их из-под прилавка. Временами киоскершу подменяла ее дочка, молодая девушка. Ей уже были даны инструкции относительно меня, и я получал вовремя не только журналы, но и альбомы серии «Мастера советской карикатуры» (каждый – стоил 20 копеек). Как сейчас помню, самый первый выпуск – карикатуры Михаила Черемных (как судоводитель, не могу не упомянуть, что почти двадцать лет – с августа 1973 до декабря 1992 года – перевозил грузы по морям и океанам теплоход «Михаил Черемных»), во втором – Юлия Ганфа, в третьем – Аминадава Каневского.

Не думаю, что описанное ниже подтолкнуло меня к занятиям карикатурой. Но запомнилось мне, как мама ставила папке в пример жившего в соседнем доме инженера завода РЭЗ по фамилии Ткаченко. Это был очень изобретательный человек. Например, он приделал к самокату (были такие, с большими колесами) моторчик, соорудил сиденье – и гонял на самодельном «мотоциклике» по Красной Двине. Нет, мама не призывала папку стать изобретателем. Этот инженер А. Ткаченко хорошо рисовал, и его политические карикатуры регулярно появлялись на страницах «Советской Латвии». Мама знала, что мой папка рисует не хуже и старалась убедить его последовать по пути инженера-художника-карикатуриста. Отец на это улыбался, а когда мама была особо убедительна, говорил:

– Политика не для меня.

Зато я, воспитанный рисунками Ганфа, Ефимова, Кукрыниксов, первые свои карикатуры делал сплошь на политические темы и с класса седьмого стал разносить их по редакциям газет и журналов.

Моя мамочка всплескивала руками:

– Вы только подумайте! Наш Вовка, такой тюфяк, сам находит адреса редакций и носит туда рисунки!

Знала бы моя мамуля, сколько сил и напряжения возникает при визите, скажем, в редакцию «Советской молодежи». Так, заходишь в дом на улице Дзирнаву, минуешь мирно дремлющую вахтершу, огороженную снизу фанерой, повыше – стеклом. Она всегда одинакова, словно олицетворяет скульптуру из музея восковых фигур. Поднимаешься на второй этаж. А там – поворачиваешь налево и с дрожащим сердцем

идешь по длинному неосвещенному коридору. В его конце – открыта дверь, которая выпускает из комнаты дневной свет. Знаю, что это дверь отдела иллюстрации. Вначале волнуюсь не очень, но с каждым шагом растет ощущение стыда, приближение позора, – опять буду показывать свои примитивные рисунки, опять сердце ускорит в пятки...

Переступаю порог царства иллюстраторов-ретушеров, где часто можно было встретить Валерия Ардашева. Заведующий отделом и его заместитель сидят друг напротив друга за составленными вместе огромными письменными столами. Перед каждым из них – пузырек черной туши, баночка белой гуаши, блюдечко с сотней оттенков серой краски, полученной от смешения туши и гуаши, скальпель, лезвие, которыми снимается с фотографии глянец, чтобы можно было высветить белилами, скажем, светлую голову члена политбюро, или поставить черное пятно, организующее всю композицию фотографии. На столе – повсюду – карандаши, тонкие кисточки и ручки с ученическими перьями. Тут же – металлические клише рисунков и фоток.

Тогда, в самом начале шестидесятых, практически во всех журналах и газетах печатались карикатуры. Но не мои, политические, а юмористические, на бытовые темы.

Однажды заведующий отделом иллюстрации «Молодежки», если правильно помню, по фамилии Завгородний, сказал мне:

– Хватит тебе лупсовать империалистов и реваншистов! Рисуй то, что с нами рядом и чему можно улыбнуться. Только, как и капиталистов, не трогай пьяниц! Эта тема уже настолько истрепалась, а пьянство – хоть бы хны – непоколебимо, борись с ним – не борись...

Многие рижские редакции были мне известны: «Советская Латвия» – на улице Вейденбаума (сейчас это Базницас), газета «Ригас Балсс» и журналы „Zvaigzne”, „Liesma” и «Наука и техника» – на Персес, „Dadzis” на Вальню (там, где нынче Министерство образования), „Zilite” и „Pionieris” – на тогдашней Горького, на первых этажах дома была типография глубокой печати, (сейчас – это здание на улице Кришьяна Валдемара – напротив Дома конгрессов). Редакции газет „Siņa” и „Radomju jaunatne” располагались на улице Блауманя...

В то же время я отправлял свои карикатуры по почте в журнал «Крокодил». Конечно, никто и не думал меня печатать, но магически действовали ответы, которые всегда начинались словами: «Уважаемый товарищ В. Новиков...». Я думал, что если ко мне обращаются так по-взрослому, значит и рисунки мои вполне «совершеннолетние».

А однажды в 1960 году в журнале «Пионер» я прочитал условия конкурса карикатуры «Смешинка». Послал рисунки – и стал победителем! Голова кружилась, ноги летели, словно в сапогах-скороходах! Зачем-то я запрыгнул в трамвай. Ехал и время от времени открывал журнал и удивлялся: надо же – напечатали мой рисунок!

С тех пор большую радость я испытывал при каждой публикации, многие годы.

Второй мой рисунок, и первый в Латвии, опубликовала газета «Советская молодежь» осенью 1963 года. Тогда я проходил плавательскую практику на трехмачтовой баркентине «Капелла», учебном судне Рижского мореходного училища. На судоводительское отделение я поступил в 1962-м. Но с карикатурой не расстался – в училище выпускал еженедельную сатирико-юмористическую стенгазету «Пёстрые кадры», стихотворные подписи в ней сочинял мой однокурсник Миша Епифанов. Иногда у него не было творческого запала, а может, парень немного капризничал. Но стенгазету оставлять без стихов было нельзя – и мне самому приходилось подбирать рифмы. Мишка против этого не возражал, и практически никто из курсантов не знал, что подписи сделал я. Таким образом, в 1963 году появились мои первые неуклюжие стихи. В дополнение к публикациям в стенной печати я бегал в самоволку, разнося по редакциям карикатуры. Изредка они появлялись в газете «Советская молодежь». Ждал публикацию каждого рисунка с нетерпением. Однажды в начале недели художник газеты Аркадий Юшечкин сообщил, что карикатура моя будет опубликована в четверг. «Как,



1. Я всем интересуюсь. 2. Увлекаюсь рисованием. 3. Веду борьбу с плохими отметками. 4. И голова у меня неплохо работает -- почему же меня не принимают в пионеры? Рисунки прислал на конкурсе «Смешинки» Володя Новиков, Город Рига, школа № 39.

и мне самому приходилось подбирать рифмы. Мишка против этого не возражал, и практически никто из курсантов не знал, что подписи сделал я. Таким образом, в 1963 году появились мои первые неуклюжие стихи. В дополнение к публикациям в стенной печати я бегал в самоволку, разнося по редакциям карикатуры. Изредка они появлялись в газете «Советская молодежь». Ждал публикацию каждого рисунка с нетерпением. Однажды в начале недели художник газеты Аркадий Юшечкин сообщил, что карикатура моя будет опубликована в четверг. «Как,

В.Новиков

Почему меня не принимают в пионеры? // Журнал «Пионер».

Москва. 1960 г. № 10

– удивляюсь, – в четверг?» Ответ – короткий: «Увидишь». Действительно, мне было непонятно. Ведь по четвергам «Советская молодежь» не выходила. Но вопреки всему в названный день я отправился к газетному киоску. Киоскер как отрезала: «Не бывает по четвергам!» Звоню в редакцию. В ответ мне: «Приходи». В замешательстве вхожу в отдел иллюстрации... и получаю свежий номер газеты «Советская молодежь», с припиской под заголовком: «Для строителей Плявиньской ГЭС». Действительно, в рубрике «Немного юмора» была моя карикатура. И в будущем в этой рубрике публиковались мои рисунки. Правда, без гонорара. Да и зачем он был мне нужен тогда. Ведь в мореходном училище я находился на «полном государственном обеспечении».

Золотое, радостное время настало для меня в 1964 году: мои карикатуры в своей рубрике „Asā slota” («Колючая метла») регулярно стала печатать газета „Padomju jaunatne” (тоже «Советская молодежь», но не переводная, а со своей редакцией и своими журналистами). Заведующему отделом „Asā slota” по фамилии Леитис приглянулись мои карикатуры, и первый рисунок в этой газете я сделал по данной им теме.

Большим событием и для авторов, и для читателей «Советской молодежи» были проводившиеся редакцией так называемые Наши юмористические олимпиады (НЮО). Проводились они раз в два-три года. В трех из них я принимал участие. Курировали НЮО Энли Плетикос и Евгений Марголин. Тогда же, с конца 1964 года, заведующим отделом иллюстрации стал работать художник Михаил Негелев, человек талантливый, интеллигентный, тонкий. Он не стремился утащить тему у начинающего художника и получить за рисунок трешку гонорара, как бывало порой. Позже, в восьмидесятые годы Негелев работал художественным редактором в журнале «Шахматы» и помогал мне делать макет моей первой книги в издательстве „Liesma”. Публиковался Михаил и в «Крокодиле». Помню его рисунок: кошка хочет поднять кота с кровати и стягивает с него одеяло. Кот «рычит»: «Не буди во мне тигра!»

Первая НЮО проводилась в конце 1964, начале 1965 годов, я предложил принять в ней участие двоим курсантам – завсегдагатаям училищных КВНов – тому же Михаилу Епифанову и Игорю Станкевичу. Втроем мы вышли на трассы юмористической олимпиады. Состояла она из трех туров, в каждом из которых было по пять заданий. Например, разгадать и самому предложить загадочные рисунки «друдлз» («друдлы»), придумать подпись к карикатуре, написать рассказ из названий кинофильмов, а также детектив из пятидесяти слов и много еще чего.

Ход олимпиады весело освещался на страницах «Молодежки»: ответам участников регулярно предоставлялись целые полосы формата А2. Под материалами можно было прочесть имена как заслуженных писателей, так и начинающих юмористов. Наша тройца выступила удачно – мы завоевали второе место.

А НЮО-2 проводилась в 1967 году. Миша Епифанов к тому времени ушел из училища, а Игорь Станкевич погрузился в подготовку к государственному экзамену и мое предложение поучаствовать в олимпиаде не принял. Так что мне пришлось и госы сдавать, и на вопросы олимпиады отвечать. Подумал я: «Будь что будет!» Повезло! Одно другому помогло – и диплом судоводителя получил, и в олимпиаде занял первое место...

Тогда юмором в «Советской молодежи» занимался Евгений Марголин, человек внимательный и доброжелательный. Во время перестройки, в 1986 году он вместе с Абрамом Клецкиным стал соавтором сценария фильма Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?» Наши пути с ним пересеклись, и когда я работал декоратором в Латвийском государственном театре кукол, Евгений Марголин вместе с актером Львом Бирманом перевел с латышского пьесы для русской труппы.

В конце 1964 года я познакомился с карикатуристами журнала „Dadzis”. Всегда в редакции этого сатирического издания можно было застать его главного художника Эвалдса Русманиса. Он мудрил над макетом, принимал новые карикатуры художников. Часто здесь, на Вальню, пили чай Имантс Мелнгайлис, Илмарс Дзерко, Угис Межавилкс, последний был ведущим художником журнала и даже взял надо мной шефство, учил законам карикатуры и рисунка. А когда в 1965 году в Доме художника была Вторая республиканская выставка карикатуры, на ней присутствовала одна моя работа, хоть и прошедшая жюри, но не включенная в каталог...

Когда Угис Межавилкс закончил Латвийскую академию художеств, ему предложили остаться преподавателем, но он выбрал карикатуру. Студенческая работа Межавилкса многие годы висела на видном месте в Академии художеств среди достойных работ других бывших студентов, служивших образцом мастерства для будущих художников.

До сих пор чувствую свою вину перед этим добрым и отзывчивым человеком – Угисом Кристаповичем Межавилксом. Дело в том, что когда я начал приходить в „Dadzis”, меня принимали не особенно восторженно. Что делать? Пускаюсь на хитрость: рисую несколько рисунков, стара-

ясь подделать почерк Межавилкса. Конечно, неуклюже, но приношу их в редакцию. Там – Эвалдс Русманис и еще один карикатурист, не помню кто. Русманис посмотрел на рисунки, засмеялся и говорит: «Обожди, он сейчас придёт». Вскоре появился Межавилкс. Мои рисунки он воспринял всерьез. Так и стал я приносить в „Dadzis” карикатуры, подделанные мной под почерк Угиса Кристаповича. А в газете „Padomju jaunatne” публиковались мои рисунки, нарисованные «прошлым» почерком. И Межавилкс это увидел! Состоялся грустный для обоих разговор. Но со временем наши отношения вновь наладились. Изредка я публиковался в журнале „Dadzis”, а когда в девяностых годах стал редактором журнала «Гном», Угис Межавилкс иллюстрировал на его страницах латышские народные сказки... Он иллюстрировал и книги.

Самый настоящий долгожитель среди латвийских карикатуристов – Эрикс Ошс. Он публиковался в журнале „Dadzis” с первых номеров. И сейчас, когда художнику исполнился 91 год, рука его тверда и с юмором все в порядке. Карикатуры Ошса регулярно появляются в „Latvijas avīze”.



Э.Межавилкс. Иллюстрация к книге: F.Rable. *Gargantija un Pantagriels*. Rīga. 1965

Если же говорить о карикатуристах-долгожителях, то это прежде всего россиянин Борис Ефимов. Он был ровесником прошлого века и прожил 108 лет, став старейшим карикатуристом мира. Борис Ефимович кроме невероятного количества опубликованных рисунков написал много книг по карикатуре и о людях, с которыми он встречался на протяжении столетия.

Пожалуй, в Латвии ни у одного карикатуриста не было такой популярности как у Гунарса Берзиньша. Черные коты с белой грудкой, населяющие его рисунки, полюбились и взрослым, и детям. Они часто появлялись как на страницах журнала „Dadzis”, так и в „Zilite”. Большую радость мне доставил визит в редакцию именно этого журнала для детей.

Художественным редактором „Zilite” работал умный талантливый художник-иллюстратор – Рудолфс Янсонс. Тогда я учился на третьем курсе мореходки и принес в редакцию несколько рисунков. И случилось чудо! Мои рисунки подошли для публикации! Цветные! Несколько раз в течение 1965 года я встречал их, открывая новый выпуск „Zilite”. Августовский номер купил в Вентспилсе, тогда проходил годичную практику, работая матросом на теплоходе «Ринужи». Случилось так, что в сентябре в результате столкновения с другим судном он затонул. Но журнал „Zilite” я спас! Как и купленную в Ростове сувенирную куклу – бородатого немца. Кстати, с нее и началась моя коллекция кукол – отовсюду. Сейчас их уже более пятидесяти.

После гибели «Ринужи» наш экипаж отправили в отпуск, я взял билет и поехал в Москву. Мне к тому времени стукнуло 18. Тогда я впервые переступил порог редакции «Крокодила». На 12-м этаже издательства «Правда» чуть ли не каждую неделю собирались темные заседания главного сатирического журнала страны. Попасты на них мог любой желающий, с улицы. Никаких тебе вахтеров да дежурных. Заходи, поднимайся на лифте на самый верхний этаж, там – по коридору вдоль многометрового панно художников Кукрыниксы с героями сказок иди в зал заседаний – и присаживайся к столу, длинному, протяженностью метров пятнадцать.

Все входившие в зал клали листки с темами в стопку, которая располагалась у сидящего во главе стола Евгения Шукаева, главного художника «Крокодила». Стопка росла-росла-росла... Но вот наступало время начала заседания. Шукаев демонстрировал наброски с темами всем присутствовавшим. Каждый имел возможность высказаться. Иногда помещение сотрясал смех. Значит, очередная тема рисунка или очень смешная, или невероятно наивная. Если большинство присутствовавших тему одобряло, ее Евгений Шукаев клал в одну сторону, если тема не привлекала внимания, она укладывалась по другую руку главного художника. Законченных карикатур не было. Были лишь скорые наброски карандашом, задача которых – продемонстрировать тему. Их делали в основном художники-крокодилы. Но были среди остроумных авторов журнала люди, совсем не рисовавшие, им не хватало умения даже схематично изобразить свою идею. Они просили помощи у художников.

Тех, кто придумывал много тем, называли темачами. Можно сказать, лидером среди них являлся Марк Вайсборд. Его называли королем тем. В одном из интервью в 1986 году он признался, что придумал более 4000 напечатанных тем. Кроме «Крокодила» Вайсборд сотрудничал с украин-

ским «Перцем», татарским «Чаяном» и другими журналами и газетами. Марк Вайсборд и сам рисовал не только в «Крокодиле», но и в других изданиях. В 1986 году в серии «Мастера советской карикатуры» вышел его альбом.

Надо сказать, что оплачивались темы совсем неплохо. Ее автор получал 50% гонорара за напечатанную карикатуру, вилка которого в «Крокодиле» раскинулась от 30 рублей (рисунок размером со спичечный коробок) до сотни (столько стоила первая и последняя обложки, каждая – отдельно). Деньги, полученные за обложку, составляли в те времена примерно месячный оклад инженера (без премии). Для латвийских республиканских художников это были запредельные суммы. К примеру, карикатура в «Советской молодёжи» приносила автору 3–4 рубля, в «Советской Латвии» – 9–10.

Многие темы карикатур в шестидесятые годы были «из эзоповых язычных» подборок. Например, таких: «Старые сказки на новый лад», «Как мы существовали в каменном веке», «Из жизни роботов», «Рыцарские времена»...

После того, как темы отбирались, Евгений Шукаев распределял их между художниками. Обычно автору сюжета выполнение окончательного варианта карикатуры по своей теме не доставалось. Художникам присваивалась определённая специализация. Так, на аграрную тематику лучше всего рисовал Аминадав Каневский, урбанистические темы доставались Юрию Черепанову, бытовые – Юрию Узбякову, Евгению Гурову, Гарри Иоршу, Евгению Мигунову, политика – Юлию Ганфу, Борису Ефимову, Льву Самойлову, дядям Кукрам (так художники называли Кукрыниксов). Последних, правда, в редакции я не видел. Им темы доставлял курьер, он же ездил за готовыми рисунками. Конечно, кроме главной специализации, любой художник мог проявить себя в разных областях. Но основная тема его карикатур – преобладала.

Мой дебют в «Крокодиле» был удачным: у меня взяли несколько тем, и я выпросил у Евгения Шукаева одну из них дать нарисовать мне самому. Рисовал несколько дней. Главному художнику рисунок понравился, он прошёл и редколлегия, но, к сожалению, карикатуру мою завернул главный редактор Мануил Семёнов. Другие мои отобранные темы со временем были опубликованы, нарисовал карикатуры по ним Геннадий Андрианов.

После следующего моего приезда в Москву я почти поверил в то, что мысль может путешествовать из головы одного человека в голову дру-



Угис Межавилкс. «Пожарные обижаются, что их не пригласили раньше».

гого. У меня с собой был политический рисунок с темой, которую, я как мне помнится, никому не показывал. Думал, что слишком примитивная. Но во время темного заседания я не раз порывался ее вытащить и представить на суд сидевших за столом. На рисунке был изображен факел памятника Свободы с языками пламени в виде капюшонов Ку-клукс-клана. И вот, приехал я домой в Ригу – и через пару месяцев увидел в журнале рисунок Льва Самойлова по этой теме. В следующий приезд в Москву я рассказал об этом художнику Олегу Маркóвичу, с которым мы подружились. Он улыбнулся: «Помню этот рисунок! Тему его через неделю после твоего отъезда предложили сразу двое: Владимир Тильман и Марк Вайсборд. Шукаев сказал тогда: „Не спешите класть свои темы, старайтесь, чтобы они лежали сверху.“».

В то время в «Крокодиле» работали трое бывших рижан: карикатуристы Гарри Иорш, Лев Самойлов и Святослав Спасский (он был заместителем главного художника журнала). С карикатурами Самойлова и Спасского были знакомы читатели «Советской молодёжи» в пятидесятые годы. Самый первый рисунок пятнадцатилетнего Льва Самойлова опубликовал харьковский журнал «Червоний перець» в 1933 году. В на-

чале войны художник попросился на фронт, аргументируя необходимость этого тем, что должен видеть фашистов в натуре, чтобы изображать их. Работал Самойлов во фронтовой печати, рисовал плакаты. Он придумал и вел во флотской газете рубрику «Полундра». Первый альбом газетных карикатур Льва Самойлова вышел в конце 1941 года. В его военной судьбе были фронт, трагичный таллиннский переход, ленинградская блокада. Когда Самойлов жил в Риге, он работал не только в периодической печати, но и оформил несколько книг («Попробуй, угоди», «Хотите верьте, хотите нет» Наума Альтшулера и другие).



Л.Самойлов. Юрий Абызов. Шарж. 1955 г. Собрание Латвийского общества русской культуры

Самойлов сам писал стихи и мастерски придумывал темы к своим карикатурам. Он, как и Гарри Иорш – великолепные рисовальщики, их уровня удалось достичь немногим художникам. С 1959 года – Лев Самойлов постоянный сотрудник «Крокодила». Иллюстрировал книги и Гарри Иорш. Он был «крокодильцем» еще до войны. Правда, сотрудничал не в московском, а в «Рижском крокодиле». Этот журнал выходил в Риге в 1940–1941 годах. Редактировал его подпольщик 30–40-х годов Г. Крупников. В литературном отделе сотрудничали Г. Акцин, Г. Белецкая, М. Меерсон, А. Флит, Б. Шорин и другие. Кроме Г. Иорша в основном рисовали для журнала С. Гутман, Д. Кисин, Ф. Сигов. Если начиная с 60-х годов прошлого века Гарри Иорш стал одним из ведущих художников главного «Крокодила», то Симон Гутман остался верным латвийской периодической печати, на протяжении десятилетий публиковался в «Советской Латвии», «Советской молодёжи», в журнале «Дадзис».

Возвращаемся в мореходку. В кабинет английского языка. Как пособие для обучения преподаватель Галина Альфредовна Штейнберг ис-

пользовала английский выпуск журнала «Советский Союз». Так вот, на страницах журнала появилась рубрика: «Клуб молодых юмористов». И я в одну из поездок в Москву в 1967 году оказался в кабинете главного художника этого журнала Александра Арнольдовича Житомирского. Это он решил предоставлять страницы журнала молодым художникам-юмористам. Сам Житомирский прославился как мастер фотомонтажа. Еще в годы войны свои произведения он создавал при помощи фотографий, ножниц, клея и фотоаппарата. Фотомонтажи, изготовленные Александром Арнольдовичем, использовались для печатания листовок, которые служили гитлеровским солдатам пропуском в плен.

Я выложил на стол перед Александром Житомирским несколько карикатур на морскую тему. Рисунки главному художнику понравились, и в сентябре 1967-го, когда наш танкер «Алтай», где я был 4-м помощником капитана, стоял в порту Архангельска, в городском киоске я приобрёл девятый номер журнала «Советский Союз», в нем были напечатаны сразу пять(!) моих рисунков, представленных так: «Наш клуб расширяет границы, у стен его плещутся океанские волны. Это не гипербола. В состав клуба вступил штурман из города Риги Владимир Новиков...».

После этого были еще подборки моих рисунков в других номерах этого журнала, правда, не всегда на морскую тему.

Активно писать стихи для детей я начал после длительной работы на Кубе в 1972–73 годах. На танкере «Алтай» мы брали топливо в Гаване и Сантьяго-де-Куба и развозили его по небольшим кубинским портам. Тогда я познакомился с рыбой-ежом, рыбой-кузовком, лангустами, морскими черепахами, крабами, раками-отшельниками, с птичками-колибри. И полюбил попугаев. На всю жизнь.

Много стихотворений для взрослых вырвались на свет в 1973 году. Тогда, придя из рейса, Первомай я встречал в Ленинграде. Город подготовили к празднику заранее: колышущиеся на весеннем ветру флаги, лозунги, написанные по красному белым, умудренные, строгие тряпичные взгляды портретов членов Политбюро... И вдруг в их громадных изображениях я заметил смятение... Гуляю по городу и вижу: снимают уже намертво закрепленные на фасадах домов портреты «политбюрошников» Воронова и Шелеста. Как говорили потом, они на предпраздничном заседании Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза возражали против некоторых формулировок в первомайском обращении к народу. Возможно, среди них была и эта: «Следует отметить большой личный вклад генерального секретаря ЦК

КПСС Леонида Ильича Брежнева». Когда я услышал эту фразу в радиообращении, то пережил шок. На памяти был стихотворный фельетон Александра Безыменского «Во главе и лично», напечатанный в «Крокодиле» вскоре после снятия Никиты Хрущева. Добротную прививку от «культы личности» я получил еще в десятилетнем возрасте в 1957-ом. После XX съезда Коммунистической партии Советского Союза в 1956 году, когда на нем выступил с докладом Хрущев, был развенчан культ личности Сталина, и вся страна обсуждала преступления против невинных людей, творившиеся во время властвования диктатора. В 1957-м партийная верхушка попыталась свергнуть Н. Хрущева, но это не удалось, и поднялась широкая волна публикаций в газетах о культе личности. Также было много радиопередач на эту тему. Звучали призывы к коллегиальности в руководстве. Но уже через несколько лет стал подчеркиваться в успехах страны большой личный вклад Никиты Сергеевича Хрущева. А вскоре, в октябре 1964 года, во время его отпуска, Никиту Сергеевича сняли заговорщики во главе с Брежневым, который должен был быть благодарным за свою карьеру именно Хрущеву. Очень хорошо помню, как агитатор нашей группы курсант Валерий Салов принес в класс «Советскую молодежь» и прочитал лаконичное сообщение о снятии Хрущева по его же просьбе «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». Валера тогда встал перед классом, раскрыл свои огромные выразительные глаза и, не веря только что прочитанному, воскликнул: «Так что же, Хрущев теперь НИКТО?!»

К власти в стране пришли Николай Подгорный (председатель Верховного Совета СССР), Алексей Косыгин (председатель Совета Министров) и Леонид Брежнев (первый секретарь ЦК КПСС). Вскоре Брежнев переименовался, по-сталински – в Генерального секретаря. Первые несколько лет троица правила, не подчеркивая чьих-либо личных заслуг.

И вот теперь, в 1973 году, после первомайского обращения верхушки партии к народу, я недоумевал: как можно не помнить историю своей страны?! И в результате этих недоумеваний потоком хлынули стихи. Вот – фрагмент: «У нас крадут сознательные воры /И чешутся сознательные шкуры, /Жрут, врут, блюют в кремлях и под забором, / Жизнь, честь, свободу превратив в халтуру». Или: «Купите нефть, купите газ, / Тюменский лес рубите. / Восстановите нам КАМАЗ, /Прогресс восстановите»... это из стихотворения по шотландской песенке «Купите лук, зеленый лук, / Петрушку и морковку /Купите нашу девочку, /Шалунью и плутовку...». Приведенные выше мои строчки из стихотворения «Коро-

бейники» – перепев обзора писем телеобозревателем Юрием Жуковым, который заявлял: «Некоторые волнуются, что мы распродаем природные богатства. Наивные люди! Практически их запасы в нашей стране – неисчерпаемы!» Тогда же я написал басню «Про барана» и послал ее в «Крокодил». Начиналась она словами: «Скоты собрались во хлеву, / Чтобы избрать себе главу. / Полдня судили да рядили, пока Барана утвердили...». Художник Артур Петрович Никитин сообщил мне, что от столичных друзей он узнал – эта басня ходит по Москве. Тогда же было написано и стихотворение «Прости меня, мой друг латыш». Почти все стихи я держал в голове, мало кому рассказывал. Тем не менее, именно они проложили мне прямую дорогу в психиатрическую лечебницу. И тут – любопытный парадокс советской системы: после психушки мне не выдали «белый билет», не сняли с учета в военкомате, на протяжении многих лет призывали на переподготовку на корабли Военно-морского флота и присваивали очередные офицерские звания. Моя военно-учетная специальность – командир БЧ-1. Этот парадокс могу объяснить одним: в любой момент меня, стихоплета, можно было изолировать – или сюда, или туда. Кстати, после 1987 года меня ни в ВМФ, ни в психбольницу не призывали.

Впервые мои стихотворения для детей опубликованы в журнале „Zilīte” в 1980 году, перевел их на латышский язык Валдис Гренковс. А на русском – большую подборку детских стихов первый раз опубликовала в 1984 году «Советская молодежь». В этой же газете состоялась премьера моего первого рассказа «Ах, зачем я ее целовал!..». Сейчас этот рассказ опубликован в восьми книгах, в том числе в изданных в Москве хрестоматиях. И совсем недавно этот вездесущий рассказ появился в сборнике «Самые прикольные истории», выпущенном издательством АСТ в 2018 году. В различные книжки включены и многие десятки других мои рассказов, десять – опубликованы в журнале «Простоквашино», где шеф-редактором был Эдуард Успенский.

Самым большим своим достижением считаю проникновение в книгу Эдуарда Николаевича «Жаб Жабыч Сквородкин». Там я прототип упитанного мальчика Вовы Новикова, который, «несмотря на свою толстоту, довольно разумный».

Рудолфс Янсонс, Угис Межавилкс, Евгений Марголин, редактор рубрики „Asā slotā” газеты „Padomju jaunatne” Леиетис (жаль, не знаю его имени), Александр Житомирский, Валентин Пикуль, Эдуард Успенский – люди, помогшие мне поверить в себя. Низкий поклон им.

Лариса Колесникова

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ

Чем дальше мы уходим от тех событий, тем лучше понимаем, каким ярким, невероятно сложным и значимым был тот период в жизни Латвии.

Так сложилось, что я наравне с другими моими коллегами оказалась прямо в эпицентре происходящего. Хотя, когда пришла на работу в аппарат парламента, там всё ещё было по-старому. Верховный Совет Латвийской ССР собирался на свои сессии два раза в год, стенограммы этих заседаний готовились к печати в спокойном, размеренном ритме, да никого они особенно и не интересовали.

Но это уже был 1989-й год, и ветры перемен начинали задувать со всех сторон. Перестройка в большой стране делала своё дело, общество проснулось и забурлило. У нас в Латвии уже шла третья Атмода (пробуждение), песенная революция набирала силу.

Позволю себе привести маленький личный эпизод. Меня пригласили на радио вести синхронный перевод на русский язык манифестации на набережной Даугавы. Собралось огромное количество народа, выступают лидеры Народного фронта, творческие деятели, и вдруг один оратор, кажется моряк по профессии, начинает читать свои стихи, так и объявляет, что его выступление будет в стихах. Никаких текстов у нас, конечно, нет, но я понимаю: переводить надо. Предельная концентрация, и перевод пошёл, не в стихах, разумеется, но основные мысли выступающего удаётся передать.

На 18 марта 1990-го года у нас в республике назначены первые свободные выборы в Верховный Совет всё ещё Латвийской ССР. Становится очевидно, что именно парламент будет центром грядущих событий. Звучат идеи свободы, демократии, вначале робко, потом всё явственнее проступает идея независимости.

В стены Верховного Совета врывается горячее дыхание жизни, надо кардинально менять систему работы аппарата, так как документ приобретает совсем иное значение. И если другие отделы оказываются ненужными, их просто ликвидируют, то наш Протокольный отдел становится актуальным как никогда. Его заведующая, энергичная, решительная Ирена Стрельча приступает к коренной реорганизации, начинается набор новых сотрудников, нужны машинистки, корректоры и, конечно, редакторы.

Создаём сектор стенограмм. Надо сделать так, чтобы технологическая цепочка была надёжной, готовой к бесперебойной работе. Никаких

компьютеров тогда ещё не было, в распоряжении сотрудников диктофоны и пишущие машинки.

Особую роль приобретает перевод, причём важен перевод именно на русский язык, ведь мы находимся в составе Советского Союза, и всё, что у нас происходит, важно оперативно и качественно доводить до сведения как руководства СССР, так и всех жителей Латвии.

Мне поручается руководство сектором стенограмм и подбор переводчиков, свободно владеющих латышским и русским языками. В итоге к весне 1990-го года наш отдел уже был укомплектован знающими и ответственными специалистами.

К ветеранам Протокольного отдела Лигите Зиемеле и Ираиде Егупенковой прибавилась целая секция латышских редакторов во главе с Инной Вайтмане и группа русских редакторов-переводчиков, таких как Татьяна Брагинская, Нина Константинова, Жанете Судниесе и других.

Чуть позже у нас появился ещё один человек, о котором хочется сказать особо. Мирдза Лука-Индане стала надёжным помощником заведующей. У неё была также непростая обязанность – присутствовать на всех заседаниях парламента и тщательно фиксировать то, что происходит в зале, все выкрики с мест, все передвижения депутатов, ведь для истории важны не только выступления с трибуны, но и каждая деталь происходящего, сама атмосфера, в которой проходят заседания парламента.

Мирдза была (к сожалению, была) очень солнечным, очень тёплым человеком, а в той, полной неопределённости, накалённой обстановке каждая улыбка, сердечное внимание к человеку будут особенно дороги.

Состоялись выборы, и вот они пришли – первые свободно избранные депутаты Верховного Совета Латвийской Республики. Доминировал Народный фронт. Помнится, как смущённо вместе с Горбуновым входил в обеденный зал парламента Дайнис Иванс, как непривычно ему было в этой роли официального лица, сменившего свободные свитера с национальной символикой на строгий костюм. Он, как известно, был избран заместителем Председателя Верховного Совета, возглавлял тоторый Анатолий Горбунов.

Вместе с депутатами в парламент пришли и сотрудники Народно-го фронта. Вот Дзинтра и Линда входят знакомиться в мой скромный рабочий кабинетик и первым делом бросают острые взгляды на стену – вдруг там будет портрет Ленина! Нет, конечно, там давно уже висит другая картина. Знакомимся и сразу к делу, ведь нам предстоит вместе

обеспечивать работу этого нового, в прямом смысле, нового парламента, где всё будет по-иному.

И вот первое заседание – подстраиваемся на ходу. Все на рабочих местах, но надо же сделать так, чтобы работа была максимально эффективной. Из технической студии поступают звукозаписи заседания. Эти «горячие» материалы тут же распределяются между машинистками-стенографистками, идёт распечатка: стенографистка в наушниках слышит текст и печатает его небольшими порциями, напечатала небольшой кусочек – педаль, печатает дальше, иногда возвращается назад, чтобы ещё раз что-то уточнить, потом снова нажимает педаль – и так до бесконечности!

Этот первичный текст поступает к редактору. Здесь свои тонкости: требуется очень бережная, аккуратная правка, чтобы сохранилось всё своеобразие речи выступающего. Компьютеров нет, поэтому правленный текст снова передаётся машинисткам, далее его просматривает корректор, и только после этого появляется готовая стенограмма. И вот такую работу большого коллектива надо чётко координировать, равномерно распределяя нагрузку, строго фиксируя процесс работы над каждым текстом.

Практически сразу же выяснилось, что на стенограммы большой спрос. Их как горячие пирожки расхватывают журналисты: Алла Петропавловская, Борис Цилевич, Николай Кабанов и многие другие – частые гости в моём кабинете. Тексты выступлений нужны и самим депутатам, и не столько для истории, сколько для подготовки к заседаниям, ведь по каждому, абсолютно каждому вопросу идёт жёсткая полемика. Получив нужный документ, и журналисты, и депутаты или их помощники что-то уточняют на месте, но чаще всего тексты требуется размножить – множительная техника парламента работает безостановочно.

На пределе сил, на пределе возможностей работают все. Жизнь кипит, история творится здесь и сейчас, рабочее время никто не измеряет «от и до». Заседания идут практически ежедневно, иногда до глубокой ночи, работают депутаты, значит, работает и аппарат, то есть мы, его сотрудники.

Совершенно особое место занимает синхронный перевод, казалось бы ничего нового в этом нет, он ведь существовал и раньше, но тогда это были, как правило, заранее подготовленные тексты, нередко уже переведённые на соответствующий язык. Сейчас вся работа идёт вживую, все вопросы обсуждаются страстно, горячо – даже в заранее подготовленные проекты документов по ходу заседания вносятся много поправок, выступающих переполняют эмоции.

Переломное, переходное время, оно непросто давалось людям Латвии. Одни с восторгом приветствовали перемены, другие были в растерянности, третьи жёстко встали в оппозицию. Инициатор перемен Народный фронт – с одной стороны, Интерфронт – с другой!

Они были очень разными, депутаты того первого переходного Верховного Совета, но их всех, на мой взгляд, объединяло одно – предельная искренность, непосредственность! И те, кто горячо выступал за независимость, и те, кто боялся отрываться от Советского Союза, – все высказывались очень откровенно, от души, не думая о выгоде, не заботясь о пиаре, всё это хорошо отражено в стенограммах того времени.

Выглядели они тоже просто, демократично, уже потом они станут меняться, более дорогими будут их костюмы, более модными стрижки и галстуки, правда, и в выражении глаз что-то начнёт меняться... Но это «потом» настанет ещё не скоро, нам ещё многое предстоит пережить!

А пока идёт интенсивная работа, фактически это уже подготовка к независимости. Принимаются законы о восстановлении государственных символов: «О государственном гербе Латвийской ССР», «О государственном флаге Латвийской ССР», «О государственном гимне Латвийской ССР».

Все в одной команде! Нередко можно было видеть такую картину: что-то горячо обсуждают депутаты Эндзиньш, Биркавс, юрист Гунта Вишнякова и кто-то из наших редакторов. Очень активно сотрудничал с нашим отделом депутат Янис Лагздиньш, именно он подсказал, где можно ознакомиться со стенограммами парламента первой Латвийской Республики.

С волнением и большим подъёмом готовится Декларация о восстановлении независимости, важен русский текст – что скажет Москва, и английский, конечно, – что скажет мир!

И вот этот день настал – 4 мая 1990-го года. В зале 201 депутат, 138 проголосуют «за», фракция «Равноправие» участвовать в голосовании не будет. А в народе, по крайней мере в большой его части, радость и оживление. Тёплая, солнечная погода, подходы к зданию парламента запружены людьми, все с волнением ждут голосования. Началось – всем народом считают голоса, по радио идёт трансляция на всю республику, звучит и синхронный перевод. Наконец, раздаётся громкое «Ура!», Декларация принята! Люди, стоящие у парламента, радостно приветствуют каждого депутата, проголосовавшего «за».

Со дня принятия этого исторического документа прошло 11 дней, и 15-го мая мы пришли на работу как обычно. Начинаем заниматься делами и вдруг слышим, что снаружи идёт какой-то гул. Шум, выкрики нарастают. Оказывается у здания парламента собралась огромная толпа, люди ведут себя очень агрессивно, митингующие пытаются прорваться в здание, практически начинается штурм. Становится ясно, что это реакция на провозглашённую независимость республики. Для нас, депутатов и сотрудников аппарата, наступает первое «боевое крещение»: ситуация, когда ты находишься внутри осаждённого здания и не знаешь, чем всё закончится!

На помощь пришёл ОМОН (отряд милиции особого назначения), тот самый ОМОН, которому ещё предстоит проявить себя в совершенно ином качестве. Толпа постепенно разошлась, пережитый стресс снимаем работой. Конвейер подготовки материалов заседаний парламента не может остановиться ни на миг.

Но документы рождаются не только в стенах Верховного Совета. В Юрмале проходит встреча председателей парламента Латвии, Литвы и Эстонии, процесс протоколируется на языках республик, а также на русском и английском. На это важное мероприятие делегируем самых опытных филологов.

Вот что рассказывает редактор-переводчик Татьяна Брагинская: «Готовится итоговый документ, времени остаётся совсем мало, а конечного варианта всё ещё нет. К нам, переводчикам, скорым шагом, входит Анатолий Горбунов, вместе с нами читает, дополняет и правит текст, чуть ли не сам его размножает и быстро уносит с собой!»

Вот так, просто и демократично. Кстати, Анатолий Горбунов, наш первый Председатель Верховного Совета, из Латгалии, мы с ним земляки, он из того же Лудзенского уезда, что и я. Утверждая меня в должности, он даже сказал: «Вот так мы с Вами и уехали из родной Латгалии!»

Время, до предела насыщенное событиями, несётся очень быстро. Вот уже и январь 1991-го года, тяжелый, хмурый, с баррикадами и стрельбой. И все мы, кто связан с работой парламента, и депутаты, и сотрудники, снова оказываемся в центре событий.

О том, что произошло в Вильнюсе, я узнаю ещё до официальных сообщений от Элги Подниеце, с которой мы вместе работаем. Это её муж, легендарный Юрис Подниекс, и снимал те события. Именно благодаря ему и его товарищам о них узнал весь мир.

Атмосфера в парламенте становится тревожной. На утреннем заседании все возбуждены, нужно как-то реагировать, что-то предпринимать! Начинается работа над обращением к Верховному Совету СССР. С небольшими перерывами заседание идёт до позднего вечера, многие депутаты и мы, сотрудники, остаёмся до глубокой ночи, ведь никто не знает, что может произойти, вдруг потребуются какие-то срочные заявления, а ведь их нужно печатать, переводить.

На следующий день принимается решение: стенограммы заседаний вывезти из парламента, неизвестно, как будут развиваться события, и нельзя допустить, чтобы эти ценные исторические документы были утрачены. Сотрудник канцелярии и я перевозим стенограммы в одно укромное место.

Вокруг здания на Екаба начинают строиться баррикады, возводятся временные защитные стены. Идя рано утром на работу, у самого входа встречаю своего родственника из Вентспилса, они с товарищами пригнали технику для баррикад и вот стоят здесь, охраняют подходы. Латыши, русские – все рядом, все вместе!

Прилегающие улицы тоже плотно заполняются техникой, а кто-то распускает слухи, что готовятся провокации, могут быть поджоги... Холодок страха невольно заползает в сердце, когда тёмным вечером, возвращаясь с работы, приходится пробираться между этими громоздкими механизмами, ведь, не дай бог, что – и отсюда уже не выберешься!

В здании парламента и депутаты, и сотрудники снова остаются до поздней ночи. Неизвестность и тревога по-разному воздействуют на людей, у кого-то не выдерживают нервы. Вижу, как коллеги под руки выводят на воздух одного из депутатов – стало плохо с сердцем!

В выходные дни для персонала установлены дежурства. Наступает воскресенье 20-го января. Вечер, мы с семьёй дома, включён телевизор, вдруг передача прерывается, начинается срочная прямая трансляция из центра города: бегущие люди, трассирующие пули, звучит выстрел за выстрелом, никто ничего не понимает, общее смятение...

Я знала, что мои коллеги, которым выпало в этот день дежурить, работают, но не представляла всей драматичности ситуации. Как оказалось, начало стрельбы совпало с окончанием их дежурства. Одна из наших редакторов, близкий мне человек, выходит из здания парламента, направляясь к остановке транспорта, проходит мимо Бастионной горки, а там – стрельба!

– Темнота, пули летят со всех сторон, что делать, куда бежать – не-

понятно! Вскочила в первый попавшийся автобус, где сидели такие же растерянные, испуганные люди, – рассказывала она потом, – как и на чём в итоге добралась до дома – не помню!

Без жертв, как мы знаем, тогда не обошлось, полной ясности случившегося нет до сих пор, но продолжения не последовало, и работа парламента постепенно вошла в своё русло.

Вернулись на своё место и спрятанные стенограммы. Расставляя на полках эти увесистые папки, я и подумать не могла, какие испытания нас ещё ждут впереди.

Ранний звонок из парламента утром 19-го августа того же 1991-го года, срочно вызывают на работу. Причина пока не известна, только на месте узнаю, что в Москве путч. Дрожащие руки его вождей мы увидим позже.

И снова Рига в тревоге, пустеют улицы, ОМОН занимает Дом печати, захватывает телецентр. Наш Верховный Совет самые жаркие события ожидают на третий день путча, но мы этого ещё не знаем, работаем, хотя неизвестность, чем это всё может закончиться, конечно, угнетает.

Легко сказать «работаем», когда над зданием парламента всё время барражирует вертолёт, а наш отдел располагается на последнем четвёртом этаже здания, и этот ужасный звук там слышен особенно явственно. Цель этого барражирования не известна, может быть, это психологическое воздействие, а может быть, и не только...

В такой атмосфере проходят два дня, на третий день что-то начинает меняться, к зданию на Екаба подтягивается ОМОН. Появляется информация, что сейчас начнётся штурм, охрана парламента усилена, но силы, конечно, не равны. Какое-то время проходит в тревожной неизвестности и вдруг – началось! Из окон нашего верхнего этажа мы видим, как у временных стен перед нашим зданием, перегораживающих улицу Екаба, сосредотачиваются вооружённые люди в защитной форме. Звучат какие-то команды вперемешку с матом, вот-вот они ворвутся в здание – и что тогда...

Кто-то из девушек-машинисток плачет, кто-то судорожно набирает какой-то телефонный номер, пытаюсь успокаивать, но что там говорить – страшно всем!

В это трудно поверить, но в то время, когда под окнами парламента, выходящими на улицу Екаба, разворачивалась картина начинающегося штурма, в другой его части, где было потише, шла работа над документами. Забжав к нашим редакторам, вижу как мои коллеги, преодолевая

тревогу, обсуждают с одним из авторов русскую редакцию текста очередного, вполне мирного закона о сельскохозяйственной реформе.

За происходящим у стен парламента вместе с нами следит и депутат Боярс, он всё время прижимает к уху маленький приёмник, где идёт трансляция из Москвы. И вдруг Боярс говорит: «Там уже всё заканчивается, сейчас, сейчас что-то должно произойти и у нас!»

И, действительно, звучит резкая команда, и омониторы начинают отходить, угрожающие крики прекращаются. Мы понимаем, что атака на Верховный Совет остановлена, штурм закончился, практически не успев начаться, на нас лишь дохнуло жёстким и страшным ветром войны!

Только-только успеваем перевести дух, созвониться с родными, всех успокоить, как снова нужно активно включаться в работу. Готовится принятие важного документа, значит, редакторы, переводчики, устные и письменные, машинистки-стенографистки – все на боевом старте!

Конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики» был принят в этот же день – 21 августа 1991-го года. Если в Декларации 4 мая 1990-го года независимость республики была провозглашена де-юре, то этот августовский закон уже утверждал статус Латвии как независимого государства де-факто.

Первой, как мы знаем, государственную самостоятельность Латвии признала Исландия, а через две недели после путча – 6 сентября 1991-го года независимость Латвийской Республики признал Государственный Совет СССР.

История восстановления независимости Латвии здесь ставит восклицательный знак! Свои заметки о работе в аппарате нашего парламента мне тоже хочется завершить на этом месте. Период с января 1990-го по август 1991-го, несомненно, был самым острым, самым напряжённым и вместе с тем самым ярким в работе верховного органа Латвии, а значит, и всех нас, кто оказался в гуще событий. Это было живое прикосновение к истории – возможность в полной мере ощутить на себе горячее дыхание того переломного времени.

ТАК ТЕКЛА НАША ЖИЗНЬ

(Отрывки из воспоминаний)

Гланц Муся (Glants Musya) – историк искусства, независимый исследователь. Родилась в Риге, где окончила филологический ф-т Лат. гос. ун-та, работала в 40-й Рижской школе, в Доме работников искусств, в газете «Советская молодежь». Затем – Сибирь, Новокузнецк, музей, преподавание в Сибирском металлургическом ин-те; с 1967 г. – Ленинград, аспирантура (эстетика) в Ленинградском ун-те... В 1982 г. – эмиграция в США, чтение лекций в Гарварде и ун-те Тафтса. Автор и соавтор книг: «Food in Russian History and Culture» (1997), «Jewish Life after the USSR» (2003), *Where is My Home / The Art and Life of the Russian-Jewish Sculptor Mark Antokolsky, 1843-1902* (2010). Живет в Бостоне.



Муся Гланц. Бостон. 2010-е гг.

В прошлом году в журнале *Experiment / Эксперимент* (Журнал русской культуры)¹ на английском языке была опубликована ее книга воспоминаний «As Life Flows On» («Так текла наша жизнь»). Воспоминания содержат четыре главы: «Война» (детство в предвоенной Риге и эвакуация в Узбекистан), «Возвращение домой», «Сибирь», «Ленинград». Ниже в отрывках публикуются страницы из главы «Возвращение домой» (русский вариант).

Воспоминания печатаются в авторской редакции.

Благодарим А.Ракитянского за содействие в публикации, М.Качалову и А.Лекуч за помощь в комментировании воспоминаний, Н.Петренко.

Рига встретила нас угрюмо. Был октябрь 1944-года. Серыми были погода, улицы, дома. Серыми были и лица людей. Освобожденный город жил странной жизнью. Днем она шла как будто своим чередом. Новые хозяева и их сподвижники бурно устанавливали свой порядок. Но с наступлением темноты, когда кончалась дневная суета, тяжелый мрак оку-

тывал дома и улицы без электрического освещения. Казалось, что все те, кто пережили здесь оккупацию, притаились и затихли за затемненными окнами...

Война ощущалась во всем. Редко, но еще завывали сирены, возвещавшие о воздушной тревоге, и на окнах белели наклеенные полоски бумаги, якобы предохраняющие стекла. В городе еще не отменили затемнение и комендантский час, и с наступлением темноты люди, как кроты, впотьмах пробирались к своим домам. То и дело рассказывали о найденных неразорвавшихся снарядах, бомбах и минах, об убитых и раненых. Чаще всего ими оказывались любопытные и всюду забирающиеся мальчишки. Одним из них был Ваня Грузнов, самый высокий и самый красивый мальчик в нашем классе. С тех пор он живет только в моей памяти и на фотографии в моем альбоме, стоящий рядом с моей первой любовью, бесшабашным Петровым...

Несмотря на войну, жизнь внешне шла своим чередом и казалась почти нормальной. Еще много было маленьких частных бакалейных лавочек и разных магазинчиков, в которых продавались самые диковинные вещи – яркие открытки, переводные картинки, елочные украшения, цветные карандаши и конфеты. Я ничего этого не помнила с довоенных времен, и теперь эти мелочи мирной жизни казались мне волшебными. Когда меня за чем-то посылали, я любила стоять у витрин и подолгу все рассматривать. Больше всего поражала меня окно одного малюсенького магазина игрушек на углу улиц Столбовой и Кришьяна Барона, где были выставлены кукольные дома, в которых стояли игрушечная, но совсем, как настоящая, кукольная мебель, посуда и даже лежали кукольные ковры, а на полках стояли крошечные книги. Поражали меня не только сами предметы, но их веселые насыщенные цвета. Становилось веселее от вездех разбросанных в изобилии сочного розового, небесно-голубого и нежно-зеленого, как бы позолоченных и высвеченных всеми тонами желтого. С тех пор иметь кукольный дом стало моей многолетней мечтой, не вполне исчезнувшей даже теперь. В таких магазинчиках продавалась бумага разных цветов, на которую было просто приятно смотреть после того, как я годами привыкла писать на чем попало, зачастую на газетах между печатными строчками. С открыток, которые там продавались, улыбались розовощекие упитанные дети, весело поглядывали нарядные барышни в шубках, отороченных белоснежным мехом или сверкающих атласным блеском платьях. Они катались на коньках или санках или просто сидели в нарядных комнатах. Рядом с ними ча-

сто оказывались такие же добродушные и беззаботные мальчишки или молодые люди. Все эти пляшущие, играющие, порхающие человечки, обдавая неизбывным весельем, глядели с переводных картинок, альбомов, книжных закладок, оберточной бумаги и массы другого, чему я и названия-то не знала. Много интересных находок бывало и в квартирах, куда въезжали вернувшиеся. Какой бы пустой квартира ни была, но в ней чаще всего оказывались какие-то осколки чужой жизни. Иногда это были старые ленточки или пуговицы, несколько брошенных шляпок, журналы и марки. Чего только там не оказывалось, и мы бегали друг к другу смотреть на очередную находку. В бакалейных лавочках продавались сахарные петушки и ириски, орешки и конфеты «Коровка». Все это было вожделенно, но очень редко доступно.

Латыши, народ сдержанный, не проявляли открыто своих эмоций, равно как и не демонстрировали свои лишения и бедность. Часто не бывало электричества, дров, было трудно доставать мыло, но на улицах не видно было оборванцев и нищих. Бесконечно старые и многократно залатанные одежда и обувь были отутюжены и начищены. В моде были «комбинированные» вещи, которые шились из разных остатков прежней одежды – платья с кокетками, рукавами или подолами другого цвета, курточки такой же конструкции, пальто. В ход шло все – скатерти, занавеси, покрывала. Фантазия людей была безгранична. Я помню платье необычайной красоты, красно-белое, которое тетя Пяня сшила мне из тонкой шерсти найденного где-то латышского довоенного флага. Женщины носили шляпы с широкими полями и пальто с непомерно большими плечами. На самых нарядных были шелковые чулки с черным швом или, что было «еще шикарнее», с черным швом и такой же черной пяткой. Они ценились на вес золота и чуть ли не наравне с валютой. Туфли у большинства были на довольно высокой деревянной подошве-танкетке, и их стук об асфальт стал обычным звуковым фоном улицы. Туфли эти делали на заказ, и у них было множество вариаций – от самых дешевых до очень дорогих, с тряпочным верхом или кожаным. Вскоре после войны они сменились обувью на пробке. Почему пробка оказалась тогда сравнительно легкодоступным материалом, я не знаю. Европейский лоск, всегда присущий Риге, но значительно потертый советами в сороковом году, был вновь тонким слоем восстановлен во время оккупации, как ни парадоксально это может звучать. Интересно, что он, этот налет европейскости, так и остался в Риге на многие годы, и Рига, как, впрочем, и остальные прибалтийские столицы, Тал-

лин и Вильнюс, оставались чуть ли ни за границей даже для москвичей и ленинградцев, не говоря уже о российской провинции. Когда много лет спустя мы приехали в Сибирь, то директор музея, куда я поступила на работу, спросила меня, отозвав в сторону, какие у нас в Риге деньги – советские или какие-то другие. В Ригу еще долго – до начала массового завоза импорта, сначала из «соц», а потом уже и «кап»-стран – приезжали одеваться знаменитости – звезды театра, кино и эстрады, ученые, прославленные спортсмены и просто те, у кого были деньги.

В 40-е и 50-е годы вдоль самых бойких торговых улиц – Мариинской, называвшейся тогда улицей Суворова, Тербатас (Петра Стучки) и Кришьяна Барона, сплошными рядами шли швейные ателье, обувные и скорняжные мастерские, в которых шили шубы, обувь, сумки, платья, корсеты и лифчики. Каждое место имело свою постоянную клиентуру, и закон рыночной конкуренции действовал вовсю. Среди мастеров были свои короли и королевы, соревнующиеся между собой. Мужского портного Баренбаума, поговаривали, даже вызывали в Кремль шить вождам, но за достоверность этих слухов трудно поручиться. Сам Баренбаум, элегантно одетый, лысый, бледный, с выражением глубокой меланхолии в черных глазах на довольно красивом лице, любил в спокойной задумчивости медленно прогуливаться по улицам, обращая на себя всеобщее внимание. Рассказывали, что во время войны он с маленькой дочерью на руках сумел чудом выбраться из гетто, но спасти жену ему не удалось, и он растил девочку один. Эта история окружала его еще большим ореолом романтичности². Костюм, сшитый у Баренбаума, накладывал на его владельца некую печать причастности к чему-то значительному. На примерках он держался с клиентами снисходительно-устало и чуть свысока, как умудренный профессор с несмышленими студентами.

Модных женских ателье было несколько и в каждом были свои примадонны. Мы с мамой ходили в то, что располагалось на улице Тербатас на втором этаже красивого дома в стиле модерн. Здесь дамы-заказчицы делились на поклонниц м-м Юргенсон и м-м Домбровской. Их соревнование в популярности проходило тут же, на глазах у публики. Обе они были довольно невзрачные на вид мрачноватые тетеньки, и друг от друга отличались тем в основном, что Домбровская была выше ростом и имела внушительные усы. Ждать их появления приходилось довольно долго в темноватом холле, где почти вплотную друг к другу стояло несколько круглых столиков со стульями вокруг. Публика сидела, переговариваясь очень тихо, почти как в докторском кабинете, и рассматривала фасоны.

Я не употребляю слово «журналы», потому что в первые годы их практически не было. На столах чаще всего лежали самодельные альбомы, куда клеивались перерисованные на бумагу, типа папиросной, фигуры в платьях. Они были похожи на те бумажные куклы, которые я любила рисовать. Когда мастерицы после долгого ожидания, наконец, выходили из-за занавеса, похожего на театральный, к окончательно оробевшему заказчику, то они или жестом и без улыбки предлагали следовать за собой в святую святых – в примерочную, или, если вы пришли в первый раз, садились рядом и делали вид, что выбирали фасон. Это длилось недолго, потому что мастер заранее решала, что кому нужно, и безапелляционно об этом говорила. Спорить можно было только о мелких деталях. Мы с мамой были клиентами м-м Юргенсон. У меня было впечатление, что она даже и не пытается разглядеть наши лица, а тем более их запомнить. Надо отдать должное и сказать, что платья м-м Юргенсон были красивы и сидели безупречно. Из «второстепенных» портних помню еще Эльзу и ее историю. Немецкая еврейка, она сумела как-то спастись вместе со своей младшей сестрой, совсем еще девчонкой. Была она худюющая, с выпученными, как от Базедовой болезни, глазами, которые придавали ее лицу выражение испуганной птицы, но очень при этом смешливая, за что я ее и запомнила. Замолкала она только, когда появлялся ее муж, унылый, неулыбающийся человек с невероятно оттопыренными ушами. Вещи от Эльзы были отнюдь не такими совершенными, как от м-м Юргенсон, но зато они были гораздо более веселыми и живыми, и их было приятно носить. Я чуть ли не до дыр заносила сделанное ею платьице из дешевой синей шерсти, которое она украсила где-то специально подобранными красными с золотом пуговицами, и еще другое, серенькое с красной бархатной ленточкой вокруг выреза. Платья-обновы, как правило, шились два раза в год, на зимний и летний сезоны, а у «королев» и пореже, больше к каким-то особым случаям, потому что, помимо платы по квитанции в кассу, еще почти столько же надо было отдать мастеру «в лапу», т.е. буквально в ее карман. Сначала я должна была ходить к портнихам, сопровождая маму, потом, когда я стала студенткой, меня сделали непосредственным участником этих процедур. Для меня в те годы эти походы и выстаивания на примерках были, как нож к горлу и чистой потерей времени. Только под маминым суровым натиском я выдерживала это.

Самым первым и особым этапом в «построении» пальто или какого-либо другого очередного наряда был поиск материала. Искать его мы

ходили с папой, потому что он знал всех и все знали его. Начинали мы с промтоварного рынка, который примыкал к Центральному продуктово-му базару и где кипела своя, весьма своеобразная жизнь. Если на базар отправлялись те, кто имел возможность не покупать в магазине мокрую и черную от налипшей грязи государственную картошку, промерзшие капусту и морковь или сухой, как дробь, творог, то публика промтоварных ларьков состояла в основном из распродавшихся крестьян, искавших обнови, студентов и вообще бедняков всех мастей. Они шумной толпой расхаживали между рядами кособоких, наскоро сбитых деревянных лавок, уродливыми грибами пытавшихся прижаться к своим стройным соседям, продуктовым павильонам-ангарам, неторопливо рассматривали товар и долго по привычке торговались, хорошо понимая, что ничего из этого не выйдет. Все, что мог купить обыкновенный человек без связей, было отечественного производства и соответственного качества. Мало-мальски интересные вещи прятались и продавались «особым» покупателям по знакомству за взаимные услуги или доплату. Выцветшие и полинявшие от долгого лежания образцы, намертво пришипленные к массивному прилавку, можно было рассматривать и даже трогать. На откинутых створках широченных ставен, на ночь плотно закрывающих будку, вывешивалась другая их часть. На воздухе, как триумф серости и однообразия отечественной продукции, мерно покачивали подолами припудренные пылью и посеребрившие от погодных условий женские платья, сорочки, трикотажные кофты разных размеров и размахивали пустыми рукавами мужские рубашки, плащи и пиджаки. Продавцы, они же и директора этих заведений и одновременно зазывалы, все время что-то выкрикивали, с большим или меньшим успехом ведя непрерывный диалог с потенциальным клиентом. Покупатели неторопливо откликались, подходили, рассматривали и ошупывали одну вещь за другой, задавали вопросы, терпеливо выслушивали настойчивые разъяснения продавца, но чаще всего, потоптавшись, уходили. Этикет рынка не позволял соглашаться и покупать сразу. Некоторые так ни с чем и уходили до следующего раза, а другие, обойдя всех и все сравнив, размышляли, возвращались и, наконец, после долгих колебаний приняв решение, вынимали деньги из заветных карманов и расплачивались, как в воду бросаясь, за покупку. В таких случаях обновы торжественно уносились за ворота под одобрителыные комментарии свидетелей торга. Летом весь этот жужжащий и шевелящийся мир был окрашен в песочно-золотистый цвет солнца и пыли, а зимой во все

оттенки от грязно-белого до асфальтово-черного. Мгновенно таявший снег, смешиваясь с дождем, превращался в темную жижу, и слякоть смачно хлюпала под ботинками, а в тот момент, когда нога ступала на доски, переброшенные через самые большие лужи, к этим звукам присоединялось еще характерное чавканье от шлепка дерева о поверхность воды, и мелкие брызги разлетались в стороны. Продающие часто работали парами – муж с женой, отец с сыном. Так было проще и спокойнее во всех отношениях. Вынужденные целый день фактически простоять на улице, они зимой надевали поверх своего пальто телогрейку или ватник, а на них еще и брезентовый непромокаемый плащ и становились похожими на огромные бесполые неуклюже движущиеся шары...

Моего папу приветствовали со всех сторон, как только он появлялся на рынке, и начиналась долгая процедура разговоров и шуток на разные темы, включая политические. В анекдотах, которые сыпались один за другим, в основном, моим папой, слова «дер вонс», «усатый», повторялись довольно часто. Имелся ввиду Сталин, и я до сих пор поражаюсь, как они все не боялись и почему никого из этих легкомысленных «смельчаков» не посадили...

В магазинах, куда мы с папой заходили с теми же просьбами, обстановка не была столь простой, как на рынке, и ритуал оказывался несколько формальней, но по сути он оставался тем же. После обмена шуточками и прибаутками начинался серьезный разговор, показывались какие-то образчики, приходили к какому-то соглашению, и мы, довольные, уходили. Дальнейшее было делом техники: папа в определенный день забирал отрез и приносил его домой, а уж отсюда он отправлялся в ателье. Так рождались пальто и платья тех лет. Особой популярностью в начале 50-х пользовался фасон «волнующий (а, может быть, “волнующийся”) зад». Суть его была в том, что чуть ниже талии сзади делался горизонтальный надрез, как для кокетки, и на него присобирались нижняя часть ткани. Вот эти-то сборки и перекатывались плавно при ходьбе – сильнее в легком платье, чем в тяжелом пальто, но в обеих случаях создавая одновременно и «колыхание», и «волнение» от него.

Особой фантазией отличались шляпницы. Их затейливые и элегантные фасоны были так заманчивы, что хотелось скорее вырасти и их носить. Когда я сейчас смотрю на унылое однообразие шляп даже в самых дорогих магазинах, то часто вспоминаю замысловатые «строения» с улиц Риги. Большим успехом пользовалась шляпка-«менингитка», которая получила свое название от того, что прикрывала очень маленькую

часть головы и носилась просто для «форса». Она была похожа на перевернутую лодочку, лежащую горизонтально на середине головы и упирающуюся концами в верхушки ушей. Из старых американских фильмов я поняла, что в те годы их так же любили здесь, как и у нас. К таким шляпкам полагались вообще-то перчатки, но на это решались далеко не все, уж очень эта часть туалета расходилась с нашей повседневностью. Да и перчаток-то такого типа было не найти в продаже, и те, кто шли до конца в следовании моде, вязали перчатки сами или на заказ из обычных тонких черных или белых катушечных ниток. Вид у перчаток получался вполне пристойный, но чтобы натянуть их на руку, требовались немалые усилия и время.

В стране, запрятанной за железным занавесом, следить за зарубежной модой было не просто, тем более, что официально она, как и вся жизнь «за кордоном», клеймились как нечто аморальное. Но, как известно, запретный плод всегда сладок, и для многих советских людей заграничная жизнь и все с ней связанное обладало какой-то особой притягательностью и, как все неизвестное, сильно идеализировалась. Наши сведения об этой жизни черпались по крупицам из самых разных источников и часто доходили до нас в весьма искаженном виде. Первые послевоенные представления о быте другого, не нашего мира давали нам так называемые «трофейные» вещи, т.е. вещи, попросту награбленные военными, в основном офицерами, в странах Европы. Чаще всего это были отрезы тяжелой шерсти и диковинного шелка и бархата, немислимо роскошные пеньюары и халаты, ковры, хрусталь и фарфор. Когда Нонна Браславская, чей папа был в больших военных чинах, пришла на выпускной вечер в платье из переливающегося и сверкающего шелка цвета густого бургундского, над открытым воротом которого красиво возвышалось ее бледное лицо в ореоле взбитых рыжеватых волос, то мы, школьники 1951-го года, не смогли сдержать громкого аханья при виде такой роскоши. В домах богатых подруг стояли мейсенские хрупкие и изящные статуэтки и в сервантах торжественно красовались яркие сервизы. Особой популярностью и тогда и позже пользовались так называемые «сервизы с камнями», сплошь покрытые снаружи перламутрово переливающейся глазурью и украшенные медальонами, которые почему-то и назывались «камнями», изображавшими дам и кавалеров в духе художника Ватто. Позднее кое-какие «тряпки» и журналы мод стали привозить и продавать за большие деньги моряки заграничания, хотя их основным интересом были пользовавшихся невероятным

успехом плюшевые настенные ковры с изображением темпераментных охотничьих или любовных сцен. Вещи, которые они привозили, были довольно низкого качества, купленные за копейки у «шипшандлеров», как на моряцком сленге называли торговцев припортовых лавочек (хотя правильно: шипчандлер). Покупать иначе было для советского моряка невыгодно да и затруднительно из-за мизерности валюты, которую он получал, постоянной несвободы передвижения и, к тому же абсолютно-го незнания языка. На зависть подругам я летом щеголяла попеременно в двух мальчишечьих рубашках с коротким рукавом, одной желтой нейлоновой в очень мелкую сеточку и другой, пестрой, которые папа по случаю дешево купил у моряка, и живших в нашей семье под названием «английские блузки». С заграничных вещей снимались фасоны и воспроизводились с большим или меньшим успехом. Моя незабываемая красная сумочка, переделанная из голенища моих узбекских сапожек, тоже, кстати, была скопирована с одной такой вещи.

Все бесстрашно стремились «доставать» (слово, на многие годы вытеснившее в нашей жизни слово «купить») и носить заграничное, которое клеймилось официальной идеологией как «буржуазный пережиток». Молодых людей, пытавшихся как-то следовать западной моде, называли «стилягами», и кампания против них приняла форму всесоюзного гонения. Они всячески высмеивались в прессе, фельетонами и карикатурами на них пестрели журналы и газеты, особенно изощрялся «Крокодил». Как отрицательные персонажи они фигурировали в куплетах эстрады, фильмах и театральных представлениях. Предметом особых нападков были зауженные брюки. Дело в том, что долгие годы особым шиком считались брюки особого покроя «клевш», какие носили моряки. Вообще все, что было связано с морем, моряками, их удалью и шиком, было окружено после войны ореолом романтики и героизма. Девушки обожали моряков, особенно морских офицеров и курсантов военно-морских училищ. Иметь такого поклонника или выйти замуж за него считалось не только удачей, но и честью, которая выпадала на долю самых привлекательных. В своих черных мундирах со сверкающими золотом погонами и кокардой на фуражке они действительно производили большое впечатление. Картину дополнял и элегантно завершал висящий на боку кортик. И тут вдруг, где-то в начале пятидесятых, появились эти конкуренты в брюках-дудочках на иностранный манер, длинных фасонистых пиджаках, время от времени небрежно отбрасывающие назад свисающие на глаза пряди волос и передвигающиеся

слегка расхлябанной походкой. Безусловно, они диссонировали с тем образом подтянутого и аскетичного молодого человека, столь культивировавшегося властью. Пестрые галстуки и длинные волосы у юношей и короткие юбки, высоченные каблуки, шелковые чулки и косметика у девушек стали рассматриваться чуть ли ни как идеологическая диверсия и прямая угроза советской власти. Весьма недвусмысленно давалось понять, что между узором на рубашке и моральным падением этих молодых людей есть самая непосредственная связь. Сегодня это кажется смешным и даже маловероятным, и современному человеку не только на Западе, но и в России трудно понять, что значили подобные обвинения в те времена, а тогда они оказывались порою на грани политического доноса и стоило многим исключения из института, потери работы или просто испорченной репутации. Я помню, как в школе к нам в девятый класс зачем-то пришли работники райкома комсомола во главе с нашей старшей пионервожатой. Она, всегда неестественно экзальтированная и вечно раздраженная, в этот раз была особенно напряжена, пытаюсь, наверно, заслужить особое расположение начальства. И вдруг она замерла, остекленевшими глазами уставившись на меня и на тонюсенькое золотое колечко у меня на пальце. Мне подарил его, когда мне исполнилось пять лет, мой дядя, убитый в гетто во время войны, и я это колечко никогда не снимала. В праведном гневе, призывая не только райкомовца, но и моих одноклассников поддержать ее, она обрушилась на меня с криком и обвинениями в мещанстве и идеологической враждебности и потребовала немедленно «перстень снять!». Конечно, первой моей реакцией было оцепенение, но оно мгновенно прошло от самоуверенной и слепой смелости легкомысленной юности. С минуту я молчала, переводя взгляд с нее на райкомовца, и вдруг меня осенило. «Думаю», – сказала я, обращаясь только к нему, «что Вас бы в недавние времена выгнали из комсомола и партии». – «Это еще почему?», – спросил он насмешливо, немало позабавленный моей дерзостью. – «Да потому», – ответила я, чувствуя при этом, как все у меня внутри дрожит от страха, а голос прерывается, – «что Вы носите галстук, который у комсомольцев 20-х годов был одним из первых признаков мещанства и буржуазной принадлежности!». Наступила тишина, и все, замерев, ожидали, что же теперь будет. Но, к всеобщему изумлению, не произошло ничего. После некоторой, не слишком даже продолжительной паузы комсомольский босс к нашему всеобщему изумлению как ни в чем не бывало перевел разговор на другие темы. Я еще долгое время ждала последствий этого инцидента, но их так никогда и не было.

В то время, о котором я говорю, еще почти не было тех двух основных источников, которые потом, в поздние 50-е наводнили Ригу заграничными вещами: посылок от зарубежных родственников и тех товаров, которые стали поступать в официальную советскую торговлю. Любопытно, что появление этих вещей сразу же обрело некий социальный смысл, разделив людей на тех, кто все свои силы тратил на то, чтобы выглядеть как все и иметь все то, что у всех, и тех, кто, наоборот, во что бы то ни стало стремился быть непохожим на других. К последним, среди разных прочих, принадлежали и интеллектуалы. Первые, кто стали получать посылки и носить эти необычные для нас вещи, привлекали всеобщее внимание. В предвечерние часы, когда сумерки еще только приближались, но еще не наступили, и рижане выходили на вечернюю прогулку перед ужином, на Елизаветинской улице, называвшейся тогда улицей Кирова, многие оборачивались, чтобы получше рассмотреть семейство Тайцев. Казалось, что они специально выходили показать себя. Их было трое – он, она и их ребенок, просто красивая и нарядная девочка с высокомерным и неестественным выражением лица. Зато родители выделялись своей колоритностью. Он, высокий, статный, немного слишком грузный для своих тридцати с лишним лет, импозантностью напоминал английского лорда, каким мы представляли себе лордов по литературе. Густые рыжеватые волосы с легкой сединой, изящно зачесанные, такие же пышные усы, мягкая дорогая шляпа и пальто, чаще всего переброшенное через руку, создавали это сходство. Впечатление завершала и зажатая в зубах трубка, которую он носил с предельной элегантностью. Он выглядел сильным, уверенным в себе и принадлежащим какому-то другому миру, и был прекрасным типажом для демонстрации этой красивой, издали присланной одежды. Она, по мнению многих, была красавицей и соответственно себя держала. Хрупкая, изящная, с лицом молодой Элизабет Тейлор, она действительно была очень хороша, ни на кого вокруг не похожа. Одевалась она ярко, смело и выглядела в нашей советской жизни случайно залетевшей сюда экзотической птицей. Ее звали Лина. Когда она смотрела на человека своими темными миндалевидными глазами, выделявшимися на ее очень белом овальном лице, то возникало ощущение, что она в этот момент где-то в далеком от реальности месте. Но стоило ей только заговорить, как это ощущение немедленно разрушалось, и резко проступало нечто упрощенное и приземленное. И муж, и жена на самом деле были люди практичные, обладавшие здравым умом и крепкой жизненной хваткой.

Их история и их отношения подтверждали это и оставались неиссякаемым источником разговоров и сплетен до самого момента их раннего (самое начало шестидесятых) отъезда в Америку, тогда, когда туда не только еще никто не ехал, но никто и думать не мог оказаться там. Особенно интересным было все, связанное с ней. Дочь очень бедных людей, она поставила себе целью еще в довоенной Риге добиться богатства и положения, и пользовалась для этого всеми возможными средствами. Это оказалось не слишком трудным при ее данных, и она обручилась с человеком, которого я потом хорошо знала, интересным и бесконечно в нее влюбленным до конца жизни. Чтобы суметь жениться на Лине, ему пришлось преодолеть невероятное сопротивление семьи. Для нее он был именно тем, что она искала, и все, возможно, сложилось бы удачно, если бы не война, помешавшая свадьбе. Лину спас из гетто и всю войну прятал у себя священник, пораженный ее красотой³. Как уцелел он, я не помню, но когда они встретились после войны, она уже была женою Тайца, от которого она уходит теперь и не собиралась. Дело в том, что незадолго до войны мать Тайца вышла замуж за американца и оказалась в Штатах. Именно она сумела добиться невероятного, и сын стал получать бесконечные посылки, распродавая которые он мог прожить с большим вкусом. Как рассказывали, мать не жалела ни сил, ни денег, ни времени, чтобы добиться выезда сына к ней, и так оно в конце концов и произошло.

Вещи из этих посылок продавались тайно.

Неким своеобразным мостом между Россией и Западом были зарубежные фильмы. Сначала, сразу после войны, это были трофейные картины и те, которые власти показывали, угождая, по-видимому, своим американским, английским и французским союзникам. Только поэтому мы могли видеть драматическую Зару Леандер в роли Марии Стюарт и любимицу Гитлера, огненную Марику Рёкк, высоко поднимающую свои элегантные ноги в танце. Затаив дыхание, смотрели мы американские фильмы о приключениях благородного Робин Гуда с Эрролом Флинном в главной роли, а позже – такие навсегда запомнившиеся французские картины как «Их было пятеро» и «Мари-Октябрь». Мы радовались сногшибательной улыбке американской дивы Дины Дурбин в «Сестре его дворецкого» и ловким проделкам актеров в «Тетке Чарлея»; разглядывали интерьеры непомерно больших гостиных и спален, огромные машины, скользящие по гравиевым дорожкам или несущиеся по немислимо широкой глади шоссе, и понимали, что эта жизнь так же далека от нас,

как жизнь на Марсе или Венере. В то же время мы старались впитать как можно больше деталей и мелочей этого недостижимого мира, включая одежду, ее фасоны и аксессуары, убранство комнат и манеру еды и питья, пытаясь хоть как-то приблизить его к нашему существованию. Я, конечно, понимаю, что, с одной стороны, в нашем подражании мы во многом напоминали Эллочку-людоедку из книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», которая похожим образом копировала м-м Вандербильд. Слишком часто крашенные кролики подменяли для нас шеншеля, и вещи, купленные в самых дешевых лавочках заграничных портов или обычного ширпотреба, привезенные к нам принимались нами за образцы западного стиля. Однажды в самом начале «бабьего лета», когда солнце особенно ласково, но не жарко, мы блаженствовали с моей подругой на рижском пляже. Лежали, болтали, смотрели в небо. Вдруг мы обе обратили внимание на яркий и красивый предмет неподалеку от нас. Он оказался банкой из-под какого-то диковинного пива, прибитой морем или брошенной кем-то. От узора на банке веяло весельем иной жизни. Конечно, мы ее подобрали, и я милостиво отдала ее подруге, потому что в тот период эта банка смотрелась гораздо лучше на полке в ее кухне.

Но с другой стороны, мы сильно преувеличивали роскошность заграничного быта. Только годы спустя, эмигрировав в США, я поняла, как ошибалась, принимая увиденное в кино за настоящую жизнь обычного американца. В Ладисполе возле Рима, где селились в то время эмигранты из СССР в ожидании американской въездной визы, мы снимали квартиру у итальянца по фамилии Карузо. Квартира была в новом доме, трехкомнатная, просторная и, как я теперь понимаю, просто замечательная. Она начиналась с большой прихожей и заканчивалась мраморной ванной. Мрамора вообще было много – полы, подоконники, облицовка во многих местах. Но, видимо, мои представления о капиталистическом богатстве все еще были не достаточно удовлетворены, потому что, разговаривая со старожилом Ладисполя, Юрой, гидом и ментором приезжающих, много раз бывавшим в США, я все пыталась узнать у него, насколько же лучше квартиры в Америке. Его ответы были уклончивы, но я не придавала этому особого значения. Свою ошибку я сполна осознала, когда, приехав в Чикаго, увидела запущенные и набитые тараканами квартиры в районе Роджерс Парка, где селились многие эмигранты из России, Индии, Китая, Камбоджи и других мест. Только прожив годы в Штатах, я начала понимать, насколько мы преувеличивали уровень

благосостояния в капиталистических странах. Несмотря на принципиально другие во многих смыслах условия жизни простого человека в России и Америке, она в то же время имела намного больше общего, чем можно было предполагать. Далеко не все американцы жили и живут и сейчас в чистых и благоустроенных домах с лифтами, кондиционерами и по последнему слову техники оборудованными кухнями, особенно не было этого в 40-е и 50-е послевоенные годы. Не все меняют мебель каждые несколько лет, а прежнюю, якобы, охотно отдают бедным, как представляла себе довольно наивно одна из моих близких подруг. Наши заблуждения рождали порой трагикомические и довольно болезненные ситуации. Дело в том, что в 60-е годы, когда это стало возможным, многие, и за границей, и в России, стали искать своих родственников, разбросанных войной. И многие их находили. Истории были самые фантастические. Фредя (Фредди?) Исааковна [Друян], школьная учительница одной из моих дочерей, перед самой войной приехала из Парижа, где она жила много лет, навестить своих родителей, а сестра ее на это же время поехала туда, чтобы поступать в университет. Так и остались они навсегда каждая на своем новом месте: сестра во Франции, а бедная Фредя в Советской России, хорошо еще, что не в заключении или ссылке. Заграничные родственники, не жалея себя, старались, чем могли, помочь своим советским близким, в основном слали посылки и деньги. Наконец, наступал такой момент, когда хотелось встречи, и, так как тем было легче приехать к нам, чем наоборот, то они и приезжали. И вот тут-то разыгрывались настоящие драмы. Желая сделать все возможное, чтобы принять дорогого родственника как можно лучше и не ударить в грязь лицом, местные вылезали из кожи и покупали самые изысканные продукты к его приезду, некоторые даже делали ремонты и обновляли ветхую мебель. Результат получался двоякий. В некоторых случаях бывало так, что бедные россияне, выложив то, что у них было и еще то, что было занято у других, оставались после визита такой родни обескровленными, в долгах, униженные и с кучей ненужного старого барахла и массой бесполезных сувениров, например, приспособлением для обработки артишоков перед варкой. Вариант второй был, по-моему, еще хуже. Это были случаи, когда из заграницы приезжала одинокая женщина, проработавшая всю жизнь секретаршей, не ездившая в отпуск дальше ближайшего пляжа и копившая на поездку к сестре (брату, племяннице, whoever); или отец большой семьи, с трудом платившего за образование своих детей, но никогда не забывавшего своего долга перед

сестрой и ее мужем, инвалидом войны. Какого же было разочарование и горькая обида этих людей, когда они узнавали, что сестра с мужем живут чуть ли не лучше их, или по крайней мере, позволяют себе намного больше удовольствий, ездят каждый год в Коктебель, живя в Риге у моря, и даже подумать не могут о том, чтобы их дети подрабатывали летом на свои расходы...

Летом особенно популярными были два места на Взморье – «Корсо» и «Лидо», еще с довоенного времени славившихся своим комфортом и элегантностью. Достопримечательностью «Корсо» были его большой зал с фонтаном посередине и крутящийся под потолком стеклянный шар. Было уютно и романтично, тесно прижавшись к партнеру, танцевать в густом полумраке под его сверкающими блестками. «Лидо» было несколько выше классом, торжественнее и дороже, и в нем не было и намека на демократичность. Чувство причастности к «не нашей» жизни возникало сразу, как только гость ступал на выложенную каменными плитами дорожку при подходе к ресторану и шел мимо скрытых в кустах и мягко светящихся латерн, вдыхая сладкие запахи цветов и растений и слушая журчание невидимых фонтанчиков. Ощущение праздничности усиливалось при входе в стильное фойе и круглый зал, где столики располагались в два яруса – внизу и на слегка возвышающейся галерее. Интерьер был выдержан в мягких, чуть красноватых тонах темной осенней листвы. Как в фильмах из жизни миллионеров, шуршали крахмальные скатерти, звенел хрусталь, бесшумно двигались официанты. На довольно большой эстраде царил Гриша Фомин⁴ со своим оркестром. Гриша был одной из достопримечательностей Риги тех лет и пользовался огромной популярностью у публики. Прошедший гетто и лагеря, потерявший всех своих близких, он нашел в себе силы начать все сначала, но много пил, постоянно заглушая непроходящую тоску...

И «Корсо», и «Лидо» всегда были переполнены, и попасть туда было сложно без предварительного заказа. Каждое из этих мест, имея свое лицо во всем, имело и свою публику. «Корсо» привлекало всякого рода дачников и просто отдыхающих из окрестных санаториев и домов отдыха, среди которых было много военных, праздных жен, отправленных мужьями на курорты лечиться от хандры, и молодежи, кутившей в основном за счет состоятельных папенок. Посетители «Лидо» были несколько другого сорта. Сюда приходили ужинать и отвлечься всевозможные знаменитости после выступлений в Дзинтарском концертном зале как раз через дорогу напротив и их благодарная публика.. Здесь

же появлялись и другие звезды всех видов да и вообще вся культурная элита, оказавшаяся на Взморье в это время – актеры кино и театра, музыканты и оперные певцы, художники и их модели и, конечно, писатели и поэты. С особым рвением сюда устремлялись те, у кого были деньги, а их тщеславию льстила приобщенность к избранным. Если в «Корсо» гость постепенно расслаблялся, погружаясь по мере выпитого и съеденного в истому обволакивающего благодушия и удовольствия от жизни, то в «Лидо» он, наоборот, держался все время в таком напряжении, которое, мобилизуя все его внутренние ресурсы, как бы поднимало его над самим собой и давало ощущение праздничной приподнятости, уверенности и обаяния, немислимых в повседневной жизни. Дамы все были очень нарядны и, как мне тогда казалось, красивы. Сами названия блюд в меню создавали впечатление изысканности. Слова «шницель по-венски», «антрекот» или «эскалоп» звучали музыкой в моих ушах. Да еще папа при этом вспоминал, как эти вкусности подавались до войны в разных местах, где он бывал. Я любила слушать его истории, мысленно еще добавляя к ним все, на что способна была моя фантазия. Все вокруг радовало полнотой жизни и все казались мне счастливыми. Именно там, в «Лидо», когда меня впервые туда привели, я почувствовала, что началась моя взрослость...

Летом семьи вывозились на дачу, и жизнь там шла по своему особому ритуалу. (Наша семья на дачу не выезжала, а я приезжала к тете, маминной сестре, и бабушке.) День начинался рано, часов в семь утра, и обычно с того, что, отправив мужей на работу, жены уходили на базар. Чистые и нарядные взморские базары становились местом, где узнавались новости, приглашали друг друга в гости и, конечно, сплетничали. Сведения о жизни знакомых пополнялись не только разговорами, но и наблюдениями, чего и сколько купила м-м такая-то (женщины все еще часто называли друг друга этим словом «мадам»). Хорошо или плохо шли дела у икса или игрека определялось в большой степени тем, покупала ли его жена всего кулек первой клубники или целый килограмм крупной и душистой; какие она выбирала сорта мяса или виноград у приезжих грузин. По этим же, кстати, признакам решалось, скуп муж или щедр, сколько выделяет денег на хозяйство и как относится к нуждам своей семьи. Днем жены и бабушки часами высиживали у моря, болтая друг с другом и время от времени подкармливая и так уже не очень худеньких детей. Еда приносилась с собой в разных кружечках и баночках, и то и дело раздавался чей-то голос, громко призывающий

очередного мальчика или девочку поесть. Наиболее ретивые, чаще бабушки, бегали за своими отпрысками по всему пляжу с ложечкой и куском чего-то вкусного в руках. Излюбленной и нескончаемой темой был разговор, начинавшийся словами «он (она) у нас ничего не ест, если не заставить». После военных лет и голода накормить и втиснуть в своих детей как можно больше «полезного» казалось им главной задачей. Жизнь рижского пляжа была особой страницей быта тех лет и заслуживает нескольких отдельных слов. Пляж был далеко не только местом купанья и загоранья, но и своеобразным клубом, где каждый знал, где кого и когда найти. Люди приходили каждый день на одно и то же место и лежали там уже сложившимися группами. Парочки и фанатики загара предпочитали лежать за дюнами, где, относительно укрытые от чужих глаз, одни могли смелее касаться друг друга, а другие подставить солнцу больше сантиметров своего тела. На пляже назначались свидания, завязывались знакомства, дружбы и романы, особенно среди молодежи. Неработающие дамы выходили обычно к морю дважды, утром и после послеобеденного сна детей, а молодые засиживались порою с утра и до темноты. В дневное время полоса у моря, где песок был утоптаный приливами и поэтому твердый, превращалась одновременно в место, где дети строили песочные замки и в филиал центральной прогулочной улицы Йомас. Казалось, все друг друга знают. То и дело слышались радостные восклицания, комплименты и шутки, которые никогда не иссякали. Фланирующие демонстрировали бронзовые тела, стройность и купальные костюмы, а лежащие на песке комментировали чуть ли ни каждого проходящего, особенно если это была какая-то известная личность... Кого только ни было в этом параде звучных имен! Приезжие курортники и дачники выделялись большей скованностью и выражением глаз, в которых смешивались любопытство, недоверчивость и легкая зависть. Изредка возникали не очень серьезные перепалки, в основном из-за того, что играющие в волейбол с размаху угоджали мячом в голову ребенка или застывшей под солнцем дивы. Пульс пляжа ощущался уже при подходе к морю, в лесу, там, где начинался деревянный настил дорожки к берегу и где обычно снималась обувь. Ноги касались чуть шершавых, но не царапавших досок и чувствовалось их особое тепло, присущее только дереву. Потом ноги как-то сразу погружаются в горячую зыбучесть песка, ласкающего и в то же время сковывающего. Запах моря смешивался с терпким запахом сосен, ароматами крема от загара и еды. Нескончаемая полоса берега пестрела яркостью, тогда чаще

всего самосшитых из ситца, купальных костюмов, синевой сатиновых мужских трусов, выполнявших роль плавок, вождельных китайских пляжных полотенец и разнообразной коричнево-красной разбросанных по всей его длине разомлевших тел. Надо всем этим стоял мягкий гул воды, ударявшейся о берег, человеческих голосов и резких хлопков волейбольного мяча. На горизонте полоса залива, как ножом, отделялась от неба клиньями парусников и прямоугольниками судов. Яркое, но не слишком горячее солнце так освещало густую ажурность деревьев, бледную желтизну песка и полосу зеленовато-серой воды вдаль, что все сливалось в единую картину неброской, но сочной северной красоты, вызывавшей одновременное чувство покоя и полноты жизни.

Одним из ритуалов дачной жизни была встреча с пригородной электрички возвращающегося после работы главы семьи. На два, примерно, предвечерних часа дачный вокзал становился еще одним местом демонстрации благополучия и достатка. Происходящее было похоже на некое театрализованное представление, где сценой оказывались вокзальные здания, большинство которых было построено еще в начале века и под сильным влиянием стиля модерн в их архитектуре. Замысловатые колонки и консоли чугуна, орнаменты с фантастическими фигурами, старого типа кладка полов создавали атмосферу, уводящую от будничности. Ждать пытящего поезда было веселее, чем сменившей его потом более частой электрички, потому что было больше времени гулять, разговаривать и есть мороженое в старомодных круглых вафлях, где сладкая масса оказывалась зажатой как бы между двумя печенюшками-стенками. Когда появлялся очередной папаша, увешенный свертками, усталый, но довольный, его семья бросалась к нему с радостными возгласами и, цепляясь за разные части его одежды, подталкивала его в сторону дома. С этой минуты он становился послушным домашним божком, охотно играющим свою роль. День заканчивался на закате семейной прогулкой по пляжу, где нарядные жены в дорогих и ярких шелковых халатах до пят, очень тогда модных, или темных тонкой шерсти брюках, а-ля Марлен Дитрих, таскали за собой мужей, предпочитавших прогулке тянувшуюся допоздна партию в карты.

* * *

Другим миром, в котором я жила, была школа. Когда мы с папой в октябре 1944-го в первый раз пошли записывать меня в ту, что была ближе всего к дому, ее директор встретил нас довольно неприветливо. Это был

высокий седой, очень импозантный господин с породистым четко вылепленным и не улыбочивым лицом⁵. Он сказал папе, что навряд ли я буду чувствовать себя хорошо у них, потому что окажусь здесь единственным еврейским ребенком. Мой папа, который всего несколько недель тому назад привез нас из эвакуации в освобожденную от немцев Ригу, был возмущен и сумел настоять, чтобы меня приняли. Странно, что при таком начале учиться в этой школе было радостью. Старое, маленькое и неудобное здание, рассчитанное на немногих детей, отапливалось печками, и до конца войны, и сразу после нее, когда дров не хватало, мы каждое утро приносили в класс по полену для нашей большой белой кафельной красавицы. Эта печь была не просто источником тепла, но частью нашей школьной жизни. В наших играх она становилась то крепостью, которую мы штурмовали, то дворцом, в котором жили принц или принцесса, а иногда печь играла роль некоего высшего существа, доброго или злого, в зависимости от нашей фантазии. Чаще всего на первом уроке свет не включали, наверно, из экономии, потому что на электричество были определенные лимиты военного времени. Сумеречная неопределенность очертаний всех предметов, фигур и лиц создавала настроение особой интимности и душевного понимания. Обычно день начинался в нашем третьем классе с урока, который вела наша классная, Татьяна Михайловна⁶, то есть, с литературы. Когда я вспоминаю эти уроки, я вижу маленькую, похожую на жабу Татьяну Михайловну, всегда одетую в неизменный черный блестящий сатиновый халат, на котором тени от пламени в печке выделяли в мутной расцветной серости причудливые узоры, и нас, очень разных детей военного времени, странную смесь относительного благополучия и многообразной несчастья, сидящими тесно на сдвинутых партах, ближе к теплу. Татьяну Михайловну сменяла совсем непохожая на нее Валентина Вячеславовна⁷, математичка, а за ней другие, все разные, но чем-то похожие. Породистость и благородство – вот что прежде всего бросалось в глаза в лицах всех наших учителей. Они освещали холодноватое лицо директора Ивана Григорьевича, украшали сухие черты географички Марьи Сергеевны⁸, которую почти все называли «Коброй», и смиряли с вечно запуганной Ольгой Львовной⁹, учительницей ботаники. Все они были убежавшими от революции эмигрантами, русскими интеллигентами того типа, которым была так богата дореволюционная Россия, искренне считавшими, что добрые поступки и собственный пример могут изменить мир. Сохранять свои идеалы помогала им и их глубокая религиозность. До

войны школа была частной¹⁰, и учились там дети таких же эмигрантов и местных русских, которых в Латвии было немало с незапамятных времен. В школе царил дух старых русских гимназий. При мне это, конечно, длилось недолго, но я успела его почувствовать и проникнуться его прелестью. Дух этот отличался органичным соединением строгости с уважением к нам. Каждый из нас был личностью и как личность воспринимался. Каждый учитель, каким бы требовательным он ни был, стремился прежде всего быть справедливым, и мы чувствовали, что нас любят. Вопреки тому, что Иван Григорьевич принял меня поначалу так неохотно, я все четыре года чувствовала теплое и хорошее отношение к себе. Сейчас я думаю, что его колебания были не столько выражением его личных антиеврейских настроений, сколько его неуверенности в том, придусь ли я ко двору в этой сугубо русской среде и будет ли мне здесь хорошо. Ведь речь шла о времени, когда отношение к евреям в Латвии определялось столь недавней оккупацией. Беспокойство Ивана Григорьевича оказалось напрасным. Одноклассники смотрели на меня, как на человека из того мира, в котором им теперь предстояло жить, и им это было любопытно. Училась я хорошо, и со мной им было не скучно, а к тому же в десять-одиннадцать лет все новое быстро становится обычным. Очень скоро школа разрослась, и ее контингент резко изменился. Местные дети стали незаметны среди новеньких – детей советских военных и аппаратчиков, вернувшихся эвакуированных и просто хлынувших в Латвию переселенцев из разных разрушенных мест России. Да и еврейских детей разного толка прибавилось.

Учиться в этой школе было легко и интересно, особенно поначалу, в так называемую «старую эру». Именно Марье Сергеевне, «Кобре», чье лицо мгновенно покрывалось красными пятнами, если мы тыкали указкой не в то место на карте, где были тот или иной очередной остров или полуостров, я обязана своим любопытством к новым местам и путешествиям. От вечно испуганной Ольги Львовны я в первый и в последний раз в стенах школы слышала о Бербанке и даже умудрилась сделать доклад о нем на ее уроке. Она, бедная, не знала, что единственный естествоиспытатель подобного рода, о котором надлежало знать советским детям, был Иван Мичурин. Благодаря Татьяне Михайловне литература никогда не была для меня предметом, который мы проходили, а навсегда осталась частью моей жизни, такой же естественной, как кожа. Я помню лицо Татьяны Михайловны, с трудом скрывавшей изумление, когда я принесла ей домашнее сочинение о «Бесах» Достоевского. А получи-

лось это так. В квартире, в которой мы оказались после возвращения, стояла этажерка с томами берлинского издания Льва Толстого, Достоевского и Чехова. Так как с четырех лет я любила читать, то, конечно, немедленно набросилась на эти книги и не могла от них оторваться. У меня уже был опыт с «взрослыми» книгами, когда в эвакуации, в первом классе, учительница забрала у меня на уроке «В людях» Максима Горького и сильно выговаривала за это моей маме, которая мне ничего читать не запрещала. Книги на рижской этажерке отличались по цвету томов. Достоевский был черный с блекло-золотистыми буквами на корешке и переплете. Толстой – зеленый, как сочная, но уже чуть тускнеющая листва на пике лета, а Чехов – желтовато-зеленый, неуловимый. В моем мире, где чувства и цвет, переплетаясь, не существуют друг без друга, они такими и остались – черный, зеленый, желтовато-неопределенный. Достоевский поразил меня тогда больше всех. Может быть, потому, что, в отличие от Толстого, он описывал жизнь мрачную, полную страданий ищущей души, и они были ближе ребенку войны, чем светлые душевные взлеты Толстого. Так или иначе, но сочинение, которое я принесла, было о «Бесах». Что уж я там написала, что могла понять десятилетняя девочка, одному Богу известно, но с тех пор, разговаривая со мной, Татьяна Михайловна смотрела на меня взглядом, в котором были одновременно понимание и сочувствие. Она знала теперь, что я видела, наверно, нечто такое, что ребенку видеть нежелательно, и что это нечто, виденное и испытанное этим ребенком, сделало Достоевского близким мне писателем.

До сих пор я люблю напевать на печальный и протяжный мотив – «Эх, дороги, пыль да туман, холода-тревоги да степной бурьян... Снег ли, ветер, буря ль кружит, а твой дружок в бурьяне недвижим лежит ...» – песню, которую мы пели с Иваном Григорьевичем, который был и нашим учителем пения. Высокий, сухопарый – смычок в белой старческой руке с синими венами взлетает высоко вверх, а седая голова припадает к скрипке – так ходил он, подпевая по рядам между партами, наклоняясь то к одному из нас, то к другому. Как потом оказалось, дорога, выпавшая самому Ивану Григорьевичу, была длинной и трудной. Советская власть, от которой он успел убежать в революцию, настигла его в 1940-х, а в 1948-м, во время очередной сталинской высылки, он и его семья были отправлены в Сибирь, откуда он уже не вернулся. Выслали его, по формальному обвинению, за то, что он, в прошлом белоэмигрант, оказался еще и в оккупации¹¹. Как будто то и другое он сам выбрал в своей

судьбе. Людям, не жившим при Сталинской системе, понять это сегодня довольно трудно. После смерти Сталина, когда высланные смогли вернуться, я встречала его сына Жору¹² и тщетно искала в его малозначительном лице черты Ивана Григорьевича.

Когда я где бы то ни было встречаю выражение «свет души», то вспоминаю лицо нашей учительницы математики Валентины Вячеславовны, очень бледное и совсем некрасивое по общепринятым представлениям. Большую часть его занимали пухлые щеки, а над ними возвышался большой слишком выпуклый лоб. Но это лицо освещалось каким-то особым светом, и он шел от ее небольших, но очень светлых и ясных голубых глаз... К сожалению, несмотря на мою глубокую привязанность к ней и на все мои старания, полюбить математику мне так никогда и не удалось.

Эта школа-семилетка была не только местом, где мы учились. Там была наша настоящая жизнь, наши друзья, наши интересы, там мы искренне выражали свои мысли и чувства и там разыгрывалось наше воображение, и я не любила пропускать хотя бы один школьный день. На переменах мы много играли и пытались превращать в реальность все прочитанное, воображая себя то владельцами замков, освобождающими или, наоборот, держащими в заточении прекрасных принцев и принцесс, то мы становились покорителями новых земель и благодетелями обездоленных. Наша фантазия превращала огромную белоснежную кафельную печь в классе попеременно то в дворец или крепость, а то и в живое существо, доброе или злое, в зависимости от надобности. Наши учителя не только не мешали нам, но, наоборот, всячески нас поощряли и поддерживали. Мы им очень доверяли, и я вообще не помню, чтобы кто-нибудь из них нас обманул в большом или в малом или воспользовался нашим доверием. Без нажима и поучений им удавалось учить нас человечности. Они не умели на нас кричать или говорить таким тоном, когда в голосе звенит металл, и мы их совсем не боялись. Зато, когда через несколько лет, уже в старших классах, мы, вышагивая чинно по коридорам нашей новой привилегированной женской школы-десятилетки, видели в другом его конце красавицу директрису Надежду Николаевну¹³, то мы с замиранием сердца старались проскочить мимо нее как можно незаметнее. Она же шла прямо на нас, буравя нас своими черными прекрасными глазами пронизывающе и холодно, совершенно в духе времени выискивая невидимого внутреннего врага.

Я не могу сказать с уверенностью, было ли так только в моем опыте,

но мы почти никогда не играли в войну или героев. Видимо, все, связанное с войной, было слишком к нам близко. У многих из нас не было отцов. Одни знали, что они убиты на войне, и они их уже не ждали. Другие ждали и надеялись, потому что их отцы были просто затерявшимися в мировом хаосе. В короткий военный период в Риге после возвращения мы часто бывали в госпиталях, читали там раненым стихи, пели песни или просто с ними разговаривали. Госпиталь, который я хорошо запомнила, был возле Пороховой Башни, в мрачноватых зданиях бывших армейских казарм, кажется, Яковлевских. В огромных помещениях с низкими потолками стояли рядами железные койки, на которых лежали или полусидели раненые. Погруженные в свои мысли, они мало разговаривали друг с другом, и в палатах стояла какая-то напряженная тишина. Нас они встречали радостно. Мы были посланцами из другого, более светлого мира, подающие надежду на лучшее, и мы напоминали им их собственное детство и их детей. С нами шутили, угощали шоколадом или просто сахаром, который сам по себе был для нас деликатесом.

От серого однообразия повседневности мы тянулись к остаткам не окончательно выполотой «буржуазной» культуры, которая еще сохранялась в Риге тех послевоенных 40-х. В ней мы ощущали аромат и красоту иной жизни, которых не было вокруг нас, детей войны, нужды и несвободы. Мы из этой культуры брали все подряд, все, что было отголоском «старого мирного» времени, не очень-то разбираясь в ценности взятого, смешивая времена, страны и вкусы. Очень популярны были альбомы. Трудно определить точно, что мы называли «альбомом». Это были толстые тетради или блокноты, в которые мы писали друг другу стихи, свои и чужие, пожелания и высказывания, казавшиеся нам мудрыми, и рисовали, как и что умели. Мы хотели, чтобы наши «альбомы» были похожи на те, довоенно-досоветские, в которые писали и рисовали в салонах, где гости музицировали, играли в шарады и где полутливые-полусерьезные записи были естественным самовыражением. Для нас, как и тогда, они были формой общения, игрой, в которой были намеки и тайна, и в то же время можно было, скрывая смущение, быть более искренним и открытым. У большинства из нас альбомчики были неказисты, потому что мы были очень бедны. Чаще всего мы составляли их и шивали сами из более или менее красивых листов бумаги, из всяких писчебумажных остатков. Только некоторым везло больше – им дарили или покупали настоящие альбомы в жестких переплетах разных цветов. Каждый альбом в чем-то был похож на его владельца и

его друзей. Иначе и быть не могло – приходилось думать хорошенько, кому давать альбом, а от кого и спрятать. Он давался только тем, кто нравился и кому доверял, а если давал чужаку, то ничего, кроме досады и сожаления, что испорчен драгоценный листок, не испытывал. Было нам тогда лет по двенадцать-четырнадцать, и знакомых у каждого была тьма. Девчонкам мы давали писать в свои альбомы только в исключительных случаях – если только наверняка было известно, что появится нечто интересное. На самом деле, альбом предназначался мальчишкам. Записи, их количество и качество, становились как бы доказательством твоего места в нашем маленьком обществе. Кто и что тебе писал, свидетельствовало о твоём успехе, о том, кому ты особенно нравишься и сколько их у тебя, этих так называемых поклонников, тощих, полууслых и насмешливых от нестерпимого стеснения. В альбоме не стыдно было проявить чувства, которые обычно тщательно скрывались, и рисовать цветы или писать стихи о природе, любви и нежности. Это было особенно легко, потому что автор, как правило, своего полного имени не писал. От догадок сладко замирало сердце.

В те годы среди мальчиков было много курсантов разных училищ. Матери-вдовы часто не могли сами прокормить своих детей. Еле сводя концы с концами, они радовались, если везло, и можно было устроить сыновей в специально организованные для мальчиков-сирот Суворовские и Нахимовские училища, а если не очень везло, то в школы юнг, Мореходные училища или, в самом крайнем случае, в ФЗУ. Особенно популярны были училища и школы морского типа. Мальчишки там становились важными, ходили вразвалочку и щеголяли морскими словечками, в общем – «форсили» и страшно нам при этом нравились, потому что казались настоящими мужчинами. Домашние мальчики в своих выцветших ситцевых рубашечках и коротких брючках, не успевающих за их ростом, ни в какое сравнение с ними не шли. Казалось неважным, что они при этом знали много интересного, были остроумны и интеллигентны. В наших глазах им явно не доставало того шика, который появлялся от мелькания ленточек бескозырки по плечам и похлопывания «клешей» о лодыжки. «Морячки» поглядывали чуть свысока, так, будто им известно нечто важное, чем можно будет поделиться с нами только при исключительных обстоятельствах. В них была тайна, и это было главное, что отличало их от наших одноклассников и других «штатских». К тому же они появлялись от случая к случаю. Их могли наказать и не отпустить в увольнение. Поступок, послуживший причиной этому,

всегда казался героическим. Они были в постоянной борьбе с некими злыми силами в лице начальства и учителей. Отсвет всего этого ложился и на девочку, с которой курсант дружил. Наказанному и обратно через друзей передавались записки и устные наказания. Отдавались и альбомы, чтобы бедняга мог скучать красиво. В результате появлялись записи и рисунки, которые сегодня могли бы показаться нам детскими и неумелыми, может быть, даже безвкусными, но по-прежнему трогали бы нас искренностью и радостью жизни. Мальчишки рисовали маки, васильки, венки, обвивающие якоря. Они писали стихи, где высокое перемешивалось с невыносимо глупым, а мы млели.

Мои альбомы погибли в подвале. Известно, что в молодости легко отбрасывается вчерашнее и кажется, что завтрашнему нет конца. Я почему-то согласилась с мамой, что альбому нет места в нашей маленькой квартире и что их надо перенести в подвал. Там они и лежали годы, а потом от них осталась только густая вязкая масса, где все цвета сплелись в единый бархатистый черно-зеленый цвет плесени, потому что подвал залило, и предметы перестали отличаться друг от друга. Там же, в подвале нашего небольшого домика, где жили, постоянно ссорясь и воюя, самые разные представители тогдашнего общества, погибли и другие примечательные тетради – записи о прочитанных книгах и недописанные романы и повести. Тогда это не казалось мне большой потерей. В 13 лет все потери кажутся восполнимыми, но сейчас я вспоминаю и об этих тетрадях, и об альбомах с сожалением. В них была я, моя девчонья душа. По крайней мере, часть ее, потом отмершая. Человек ведь умирает не сразу, в один момент, когда останавливается его сердце. Он умирает часто, сам того не замечая. Разве живы сейчас, где бы они ни были на самом деле, те мальчики и девочки, какими мы видим себя на старых фотографиях. Их нет. Живы лишь воспоминания о них, приукрашенные или обедненные, как любые воспоминания. И еще: в тех альбомах жило наше время, такое странное и сложное, когда были радость и полнота жизни, хотя могло показаться, что места для них и не было. В тех альбомах и тетрадях мы были живые, настоящие, не кажущиеся никем и не измененные нашим будущим. Всегда чего-то ждущие и кого-то зовущие, мы верили в то, что счастье – это для каждого. Все это навсегда осталось в подвале, в густой и пушистой мякоти разбухших, бархатисто-заплесневелых листов, все соединивших и все сравнивавших.

Однажды папа с таинственным видом предложил мне пойти с ним, не объясняя куда. Мы подошли к самому красивому дому на улице

Кришьяна Барона, роскошному особняку, известному всем как «дом Беньяминыша». Антон Беньяминыш, крупнейший журналист и издатель в довоенной Латвии, вместе со своей женой Эмилией основал самую популярную газету «Jaunākās ziņas» («Последние известия») и редактировал ряд других изданий. На рубеже 20-х годов супруги купила этот необычный дом, построенный в 1876 году в эклектичном стиле архитекторами Г. Энде и В. Бекманом, но им недолго довелось насладиться жизнью в нем. Сам Беньяминыш успел благополучно умереть в 1939-м году, не дожив до прихода «красных» и депортации сорокового года, но его жена этой участи не избежала. Ничего этого я не знала тогда, вслед за папой поднимаясь по широким серым ступеням к массивной и торжественной двери входа, рядом с которой висела мраморная доска, сообщавшая, что в здании расположились Союзы Советских писателей, художников и композиторов. Я никогда не думала, что просто люди, не графья и не князья, могут жить в таких домах, и уж, конечно, не мечтала, что когда-нибудь смогу войти в один из них. Но так как папа без всякого смущения шел вперед, то я довольно уверенно ковыляла за ним, все еще не понимая, зачем мы сюда пришли. Внутри здания было темновато из-за тяжелых штор на огромных окнах, и свет от сверкающих люстр и бра играл на золоченых гирляндах зеркальных рам и разрисованных плафонах потолка. Я, никогда раньше не видевшая ничего похожего, чуть живая и совершенно обалдевшая ступала по мягким коврам, переходя из помещения в помещение. Все мгновенно прояснилось, как только мы открыли тяжелую дверь, за которой сразу же видны были бесконечные ряды стеллажей с книгами: мы пришли в библиотеку. Те, в которых я брала книжки раньше, были маленькие, и чаще всего убогие, городские или школьные библиотеки. Сейчас же мы попали в великолепие, где даже воздух был пропитан духом высокого интеллекта. Это был смешанный запах старой бумаги, книжной пыли и типографской краски. Величественность обстановки усиливали массивные панели и тяжелые читательские столы. Увидев моего папу, женщина за высоким барьером приветливо заулыбалась и приветствовала его как старого знакомого. Потом она довольно долго и без всякой снисходительности поговорив со мной, стала торжественно заполнять читательскую карточку. С тех пор я оказалась в книжном раю, куда меня пускали в любое время в течение нескольких лет, где меня всегда ласково встречали и выдавали все, что угодно. Более того, мне разрешали самой ходить к полкам и самой книги выбирать, что было нарушением всяких правил, но сходило как-

то с рук, потому что в этом элитарном месте обычно бывало очень мало посетителей. Как папе удалось пристроить меня в эту библиотеку Союза писателей Латвии, фонды которой цензура еще не успела очистить к тому времени, я не знаю, но знаю, что счастьем моему не было предела и менять книги я ходила, как на праздник. Все, что я оттуда приносила, были необычным чтением для советского ребенка. Уже через несколько лет множество книг изъяли из обихода как «вредные и буржуазно-сентиментальные, насаждающие чуждую идеологию». А я, не ведая об их вредности, плакала над судьбой княжны Джавахи и других девочек и мальчиков у Лидии Чарской и Анастасии Вербицкой. Вместе с героинями Оливии Уэдсли я отправлялась в лодках по Нилу, где судьбами героев управляли духи фараонов, и вместе с сыщиками из детективных романов Эдгара Уоллеса ловила преступников. Именно этой библиотеке я обязана тем, что узнала имена и прочитала книги писателей, о которых большинство советских людей слыхом не слыхали. Среди них были фантастические романы француза Пьера Бенуа о пропавшей Атлантиде, немца Бернарда Келлермана «Туннель» и «Братья Шелленберг», Вассермана «Дело Маурициуса», американца Эптона Синклера и даже Селина «На краю ночи». Я была так поглощена этим неведомым миром далеких человеческих драм, что плохо замечала те, которые разыгрывались вокруг меня в реальном мире, правда, менее красочно.

Старая школа на Матвеевской [= Революцияс, 37/39] улице разрасталась, и в ней быстро исчезал дух семьи, который делал ее такой особенной. Старые учителя как-то тихо и незаметно исчезали, а несколько чудом сохранившихся стремились быть незаметными в массе новых, советских, шумных и оптимистичных. Все резче и резче обозначалась черта, отделявшая учителей от учеников, и они все больше превращались во враждующие лагеря. Как это часто бывает, жертвами с обеих сторон оказывались совсем не те, кто этого заслуживал. Учителя больше всего невзлюбили детей непокорных и задумывающихся, а ученики набросились на самых добрых и слабых. Это особенно остро проявлялось на уроках Валентина Алексеевича¹⁴, учителя рисования. Только много лет спустя, когда я пришла к нему в мастерскую уже как журналист, я в полную силу осознала, какими жестокими и глупыми мы были и какого замечательного художника и человека не замечали. Здесь, в его более чем скромной студии, по сути, просто комнате в небольшой квартире, глядя на его работы, я снова испытала то чувство стыда, которое иногда мучило меня в классе. Он жил в своеобразном доме, который все ржа-

не хорошо знали. Этот дом был похож на корабль. Его нос выходил на Домскую площадь, и в нем было кафе, а корпус дома смотрел на одну из многочисленных маленьких улочек, которые эту площадь окружают. Из окна своей квартиры Валентин Алексеевич мог видеть старую Ригу с разных сторон, и он писал ее без конца. Это была его Старая Рига. В акварелях и гуашах были не только красота города, но и душа художника. Это был его мир, куда он уходил от жизни и от таких, как мы, дикарей. Он тоже был «из бывших», и жизнь в эмиграции, а позднее в советском режиме вынудили его быть учителем рисования, но в его мастерской я поняла, что он был настоящим мастером. Когда я ему это сказала, он в большом смущении стал поглаживать свою совершенно лысую голову, проводить рукой по лицу, сминая и расплющивая нос и рот. Он всегда так делал, когда не знал, как же поступить и что сказать. Этот же жест он повторял и в классе, когда над ним издевались, а надо сказать, что порою выходки переходили всякие границы. Его полная незащищенность и то, что в советской школе некоторые предметы, в частности, рисование, считались бесполезными и неважными, а учителя, эти предметы преподающие, оказывались людьми как бы второго сорта, делали такое возможным. В эту группу «неполноценных», кроме учителей рисования, входили учителя пения, домоводства, иностранных языков и преподававшихся тогда логики и психологии. На уроках Валентина Алексеевича в него запускали бумажные самолетики, вскакивали без всякого разрешения с места и бегали по классу, даже дергали его за пиджак. Особо смелые забегали за учительский стул и строили рожи за его спиной. Он был довольно высокий, но весь какой-то мягкий, не толстый, а пухлый и весь покрытый волосами при совершенно голом черепе. Когда его обижали слишком уж сильно, он, как затравленное животное, покачивал из стороны в сторону своей круглой, как шар, лысой головой и мычал негромко, как бы отмахиваясь от чего-то назойливого и бессмысленного.

В настоящей советской школе-десятилетке, куда я потом перешла, учителей никто не смел травить явно. Но зато в этой школе не было и учителей, которых стоило бы или хотелось бы вспоминать. За исключением одного – Николая Николаевича Поспелова¹⁵. Я почти уверена, что его уже нет в живых, слишком много лет прошло. Я не знаю, откуда он приехал в Ригу и какого он был происхождения. Знаю только, что это был учитель, который прежде всего любил своих учеников, а потом уж преподавал им науки. Он никогда не читал нам моралей, но пониманию того, что морально, а что нет, мы у него училась...

Надо сказать, что я была невероятно драчлива. Еще в старой школе я, бывало, объединялась с мальчишками, чтобы после уроков «проучить» какую-нибудь «дуру» или «дурака», не проявивших покладистости, не пожелавших, например, играть в нашу любимую игру, где надо было, входя в класс, каждый раз поклоняться нашему божеству «Каабе», т.е. нашей знаменитой печке. Сейчас мне ни за что не вспомнить, что это была за игра и почему печке надо было поклоняться, но тогда от этого зависела судьба. Так, по крайней мере, мы думали. Мои родители в ужасе хватались за голову каждый раз, когда их вызывали в школу. «Ну хоть бы мальчик, а то девочка, которая дерется!», – восклицали они и смотрели на меня с удивлением и укором. Я на самом деле никого и ничего не боялась и замечательно умела за себя постоять. Зная эту мою способность не только давать сдачи, но и задираться, меня мало кто пытался физически обижать. Но избежать словесных обид было невозможно. Для них всегда был один и тот же повод – антисемитизм, и тут уж меня было не удержать...

Николай Николаевич был один из трех знаменитых в городе учителей, которые резко выделялись своей требовательностью, умом и человечностью. Два других были – Николай Иванович¹⁶, математик из 22-й мужской школы и Георгий Андреевич Попляев¹⁷, физик из 17-й. Было известно, что они часто собираются вместе и пьют, но было так же понятно, что их объединяло нечто большее, чем водка и что за каждым из них стояла человеческая драма, о которой и они сами, и окружающие предпочитали умалчивать. Больше, чем о других, мы знали о Попляеве, но только потому, что хорошенькая, как куколка, ученица 10-го класса вызвала страшный скандал, полюбив и выдя замуж за своего изуродованного войной и для нее слишком старого учителя...

Николай Николаевич преподавал математику, астрономию и физику. Не могу сказать, что его уроки были какими-то особенно интересными, вовсе нет. Зато его талант классного руководителя был от Бога. В нем была сила, которая притягивала нас. Очень высокий и очень худой, с виду довольно унылый, всегда, зимой и летом, в одном и том же темно-синем костюме, он был переполнен идеями и предложениями. Ему было интересно с нами, а мы забывали, что он не просто наш старший товарищ. Надо сказать, что школа наша тогда была женская. Это были годы, когда Сталин возвращал старые дореволюционные традиции. Среди прочего, он ввел и отдельное женское и мужское обучение. Эта мера внешне придавала ханжеской советской морали еще большую ве-

сомость. Мы, благородные девицы рабоче-крестьянского происхождения, выглядели чопорно и важно. Мы носили темные платья, синие или коричневые, обязательные белые воротнички и фартуки, в будние дни – черные, а по праздникам – белые. На переменах нам предписывалось прогуливаться парами по коридору, не бегать, не шуметь, не кричать, лицам желательно было быть степенными и умильными.

На праздничные вечера к нам приглашали мальчиков из других школ или нахимовцев. Они считались элитой, и обычные мальчишки, которые не умели танцевать бальных танцев и не были обучены хорошим манерам, не шли с ними ни в какое сравнение. К тому же, как известно, мужчины в форме всегда обладают особым обаянием в женских глазах. Поэтому девочки млели перед нахимовцами, и глаза их сияли, когда они кружились в вальсе с курсантом, чинно положив руку на его плечо. Это на самом деле было довольно красивое зрелище – белые банты и порхающие крылья нарядного белого фартука рядом с золотом эполет на черном мундире. Беда была в том, что нахимовцы были больше похожи на манекены, чем на живых людей. Их привозили к нам, что называлось, «в организованном порядке», строем, и в таком же порядке увозили. Во время танца и в перерыве они бубнили нечто идейное и правильное. Видимо, их тренировали перед походом к нам и учили, что говорить и как. Я не помню, чтобы у кого-нибудь из наших девочек возник роман с нахимовцем.

Для нашего десятого «А» класса Николай Николаевич весь этот искусственно-торжественный мир нарушил. Однажды он вдруг предложил: «А не подружиться ли нам с каким-нибудь мальчишеским классом?» После этого удержать нас было уже невозможно. Мы были в том возрасте, когда жизнь без мужского общества казалась совершенно неполноценной. Я хорошо помню, как пришли к нам в первый раз представители этого намеченного нами класса, как обе стороны поначалу от волнения не могли раскрыть рта, а потом не могли остановиться, обсуждая, что мы будем делать и когда. Дальше была просто человеческая жизнь семнадцатилетних людей со всем человеческим, что в ней случается – спорами и бурными дебатами, ссорами и примирениями, но прежде всего бесконечными любовями, бурными переживаниями и настоящими страданиями. Мы почти забыли, что учимся в разных школах, настолько переплелись наши дела и интересы. Разные уроки по разным расписаниям были лишь неважной деталью... Мы были преданы друг другу в плохом и хорошем. Это продолжалось еще довольно долго после

школы, и только много лет спустя жизнь нас все же развела. Но и сейчас мне было бы интересно и важно знать, где большой и добродушный Костик Колещук или Борис Кучумов, такой значительный в своем вечном молчании; где Алька, вышедшая замуж за тихого Гену Васильева. О некоторых я знала больше и чаще с ними встречалась. Вместе с Витей Рибо, ставшим следователем прокуратуры, оплакивали нелепую смерть Генки Буленкова. Юра Кизима стал полковником авиации, Феликс, сменив свою еврейскую фамилию Альтман на фамилию русской жены, нашей Зоси Лубенской, преподавал в институте, а его лучший друг Абраша Цаль давно, одним из первых, уехал в Израиль. Когда я бывала в Чикаго, я виделась с бывшим красавцем Эдиком Сегалем. Годы и болезни превратили его в развалину, и он рано умер, но когда мы встречались, то сразу начинали говорить о нашем едином десятом «А» и его обитателях, о радостях и печалях нашей юности. Все это дал нам Николай Николаевич, который старался, как мог, бороться с системой и сохранить в нас человеческое...

Примечания

1. Vol. 24. Leiden-Boston. 2018. P.[V]-XII, 1-222.
2. Баринбаум (неточно – Баренбаум) Арон Львович (Лейбович) (род. 1905, Рига – не ранее 1996, Иерусалим?) – закройщик (не портной!), из семьи старшего закройщика одно время расквартированных в Риге Малороссийского, Малоярославского и Вяземского полков. См. об А.Б.: Lai pasūtītāji būtu armieģināti // Сiņa. 1957. № 226. 24. sept. 1. lpp; Черноброва С. Тракл, биглбок и камелнвол. Из книги «Электронная почта – 2. (Иерусалимский журнал. 2013. № 45 // (<http://magazines.russ.ru/ier/2013/45/15h.html>); Aron Barinbaum // (<https://www.geni.com/people/Aron-Barinbaum/600000045077741868>). Из иерусалимского видеоинтервью А.Б. 1995 г. (Spielberg Project) следует, что с женой он развелся еще до войны и она уехала в СССР; что его дочь при помощи владельца Рижской фабрики халвы «Orient» М.Каравокироса из гетто спас «за вознаграждение» немецкий офицер; что сам он бежал из концлагеря «Кайзервалд» (на окраине Риги) незадолго до вступления Красной армии в город. В этом же интервью А.Б. рассказывает о том, что в начале 1950-х гг. около года он провел консультантом по костюмам на «Мосфильме», в частности, на незавершенной картине «Прощай, Америка» (режиссер А.Довженко). Воспоминания И.Кио «Иллюзии без иллюзий» (М. 1999; <https://litlife.club/?b=153609&pr=7>), в части, связанной с А.Б., во многом не соответствуют действительности.
3. Лина (Каролина) Тайц (Carolina Taitz, в девичестве Кнох, имя по рождению: Гене Брайне; 1919-2011, Вашингтон. Обычно Т.К. преуменьшала свой возраст ровно на 10 лет). Близкий к реальности вариант истории спасения К.Т. см.: Корзунова Л. Такая счастливая жизнь // Новая Эпоха. Рига. 2000. №1 (<http://yro.narod.ru/bibliotheca/Korzunova.htm>). По специальности К.Т. – гример-пастижер; работала на Рижской ки-

ностудии и в Рижском театре оперетты, в New York City Ballet. Интервью К.Тайц 1990 г. и 2010 г. см. соответственно: (<https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn504721>); (<https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn39809>). См. еще по теме: Зильберман Д. Подобно звезде во мраке. Воспоминания о Жане (Янисе) Липке. Москва-Рига-Нью-Йорк. Полимед. 2013. С.132-133, 154-158. Ее муж – художник Шарль Тайц (1918 г.р., Рига – 1986, Нью-Йорк), коротко учился в Италии, студент Архитектурного отделения Академии художеств (Рига); там же посещал курсы рисования; в Латвии и в США занимался промышленной графикой. См. о нем: J.Skulme. Taics Šarls // Māksla un arhitektūra biogrāfijās. R. Lat. enciklop. 2000. 3. s. 191. lpp. Семья Тайц эмигрировала в США в 1966 г. Их дочь Авива Лекуч, – многолетний сотрудник радиостанции «Голос Америки».

4. Фомин Герсон (Гриша) Аронович (1905-1963), скрипач.

5. Речь идет об Иване Григорьевиче Шершунове (1881, г. Белый Смоленской губ. – 1970, Рига) – выпускнике Рижского духовного училища и рижской духовной семинарии. В довоенной Латвии И.Ш. – заведующий Рижской 6-й русской основной школы (позднее – 88-я семилетняя), преподаватель пения. В марте 1949[!] г. вместе с женой (Валентиной Алексеевной (ур. Ларионовой) и сыном был выслан в Амурскую обл. на вечное поселение. Освобожден в 1956 г., вернулся в Ригу. См. о нем: Иван Шершунов // (<https://www.russkije.lv/ru/lib/read/i-shershunov.html>); Ivans Šeršunovs // (<https://nekropole.info/lv/Ivans-Sersunovs>).

6. Максимович Татьяна Михайловна (1900, Константиновка (губерния?) – ?)

7. Сиротина Валентина Мечиславовна (1898, Рига – ?).

8. Горячёва Мария Сергеевна (1896, Валмиера – ?).

9. Качалова Ольга Львовна (1916, Лозанна, Швейцария – 1988, Рига) – позднее: доктор биологических наук, научный сотрудник Института биологии АН Лат. ССР.

10. См. прим. 5.

11. Насколько известно, в обвинении И.Г.Шершунова упоминалось слово «национализм». См. еще прим. 3.

12. Жора – Шершунов Георгий Иванович (род. 1911) – учитель, хормейстер, регент; учился в Латвийской консерватории. В 1945 г. был арестован и осужден на 20 лет по обвинению в коллаборационизме. В 1960-х гг. – регент в одной из церквей г. Иваново.

13. Ликсашина Надежда Николаевна (ум. 1978, Рига).

14. Степанов Валентин Алексеевич (1886, Каменец-Подольский – 1968, Рига) – живописец, график, плакатист. См. о нем: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья. Биографический словарь. СПб. Изд-во «Нотабене». 1999. С. 546.

15. Пospelов Н.Н. (1917-?)

16. Петренко Николай Михайлович (1893, СПб. – 1966, Рига).

17. Георгий Андреевич Попляев (1918-1979, Рига), учитель физики в 13-й средней школе и др. рижских школах. См. о нем: Георгий Попляев // (<http://www.russkije.lv/ru/lib/read/g-porplyaev.html>).

Павел Тюрин

ХУДОЖНИКИ ЛАТВИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА*

Часть II



«Портрет художника Я.Паулюка», 1978 г.
«Натюрморт с фруктами», 1973 г.

Банюта Анцане

Чувствовать и видеть – это одно и то же. Это не так, что я закрываю глаза и вижу. Без природы невозможно, потому что, может быть, здесь впервые в жизни я могу увидеть ее выражение, тот поворот, который совпадает с моим чувством к ней. Это значит, что я лучше ее узнаю. Иначе я не могу сказать, что я ее знаю. Работа меня ведет за собой, и я ее двигаю вперед, развиваю. Я тоньше начинаю понимать, что я хочу; тогда я могу выразить свое внутреннее состояние.

То, почему я делаю, с чего начинаю работу – это потому, что оно привлекает своей ясностью. От этой ясности просто обалдеваешь – вот такое ощущение... Мне кажется, что суть очень проста. Однажды весной ко мне домой пришла подруга и принесла с базара разные вкусные вещи

* Часть I настоящей работы (интервью с художниками: О.Аболс, Б.Берзиньш, В.Глушенков, У.Земзарис, В.Зорин, И.Коган, Я.Паулюк, М.Полис) см.: Рижский альманах. 2014. № 5. Представления художников о своей профессии даны в авторской редакции.

и помидор, который в это время года редкость. И вот, когда я разрезала эту помидорину, то вдруг увидела всю его красоту – все клеточки, его семечки и перегородки. Увидела такую теплоту, которая была где-то рядом со мной, для меня, чтобы мы радовались этой красоте! Это так было красиво и трогательно(!), что я остановилась, отложила его и потом, когда подруга ушла, сделала натюрморт с помидором.

Можно и пруд с лебедями сделать – его можно сделать банально, а можно сделать так, что будет и банально и что-то в нем особенное... Скорее всего, это зависит от эмоционального состояния. От какой-то композиции в природе, важной для этого эмоционального состояния. Это бывает всегда неожиданно. Неожиданно, но все-таки закономерно... Как будто ходил и раньше здесь, все то же самое и вдруг это все превратилось во что-то прекрасное. Такое прозрение может прийти где угодно, даже на помойке... если не очень воняет.

Мы слишком часто вместо сути обращаем внимание на разные болячки, а божий дар – это дойти до простоты. Но этому мешают разные наросты.

Юрис Бакланс



«На набережной Даугавы», 1978 г.

(1947-1989)

Для меня важен мотив. Мне нужно увидеть то, что я буду писать. Я

не могу заниматься сочинением работы. Это не кажется мне ценным. Это и не интересно.

Картина состоит из элементов, которые невозможно придумать, как ни старайся. Это всегда неожиданные ситуации. Вообще-то придумать можно, но это всегда менее интересно. Человек не может все представить. Самые большие неожиданности в природе. И это надо увидеть. Работа должна быть интересной, в ней должно быть как можно больше информации, хотя это не самое важное в картине. В картине необходимо показать наиболее полно то, что хочешь выразить. И все элементы картины должны быть сложены в ней совершенно. Это и есть ремесло. Картина должна выражать меня, но я могу это сделать только в контакте с интересным мотивом. Чем ты больше с природой, тем больше в ней видишь ценного, тем больше хочешь смотреть. А если придумывать, то это будет мельче. Придумать – это значит быть менее правдивым. Работа тем интереснее, чем правдивее. Вообще интересно потому, что правдиво и глубоко. И потому на холсте должно быть изображено то, что видишь. Природа есть средство выражения себя, посредством любой природы. Я не стремлюсь найти в природе что-то особенно интересное. Я в любом месте найду что-то для себя. Даже если пишешь одно и то же, все равно на картине каждый раз будет иначе. Вторую картину уже не будешь писать так же, как и первую, потому что ты уже обрел какой-то опыт, мысли, выводы. Вторая картина это уже другая картина, другая мысль; это уже о чем-то другом.

Я никогда не делал фактуру ради фактуры. Даже цвет меня не интересует. Цвет не самое главное. Ради каких-то сочетаний цвета не стоит писать. Но я все-таки вижу цветное. Иногда, если хочешь сохранить неожиданное место, которое наводит на что-то интересное, его может быть стоит как-то оставить. Исходя из него, идешь дальше. Замысел – это чувство.

Я вижу картину всю сразу, интересует меня образ целиком, а не по частям. Изобразительный мотив меня интересует весь в целом и важно передать конкретные цветовые отношения. Но степень конкретности, подробности неизмерима и неизвестна. Привлекает и регулирует работу какой-то ритм.

Я всегда по-своему уходил от знания. Если я чувствую, что у меня появился живописный прием, то, даже если он мне нравится, я часто от него отказываюсь, как от штампа. Уверенность в работе я получаю потому, что чувствую, а не потому, что знаю.

Бывает, я неделю-две ничего не делаю. Работа каждый день – это следствие боязни потерять форму, вкус. Но размышления о живописи все равно наступают. У меня есть такие периоды, когда я специально избегаю работы и даже думать о ней не хочу. Это подобно боязни потерять, отпугнуть, разрушить чувство ясновидения.

Я начинаю работу как бы неохотно, с перерывами. Сажу и ничего не делаю. Бывают дни, когда пишу минут 20-30, даже меньше. Но думаю все время, смотрю. Я думаю, как ее продолжать. Это какой-то аналитический момент. Техническая сторона работы меня не интересует. Это уже под конец, когда работа готова. Картину пишу сначала быстро в больших формах и примерно набрасываю самое главное, а затем смотрю, как и куда продвинулся. После этого картина может меняться лишь в деталях. Смотришь и видишь новое, поэтому она меняется. Может даже в целом измениться, если вдруг увидишь то, что раньше не замечал; когда увидишь какие-то новые связи. Я думаю, что рука у меня не ошибается – ошибаюсь я сам, я что-то не увидел, и когда вдруг вижу – исправляю.

Картина возникает сама собой. У нее какие-то свои правила в отличие от природы. Образ природы немножко отличается от природы как таковой. Образ имеет начало и конец – целостность, и этим он независим от природы и от нее отличается. Потому что образ – это замысел. Картина должна быть организована. Мне иногда говорят, что мои картины незавершены. Конечно, никогда не бывает такого, что кончаешь работу и можешь сказать себе, что ты сделал то, что хотел. Но наступает такая стадия, когда я не могу сделать лучше, не разрушив в картине то, что там уже есть хорошего. Картина завершается тогда, когда не в состоянии что-то улучшить и, если будешь пытаться делать дальше, то пропадают те связи в картине, которые для тебя важны. Несовершенство картины заключается ограниченности наших возможностях. Художник делает в каждый момент то, что он может. Я знаю, что работу можно было бы улучшить. Ее всегда можно улучшить. Идеал – это замысел. Замысел это то, что возникает из твоего опыта. Замысел это не все в природе, а то, что важно для замысла. Природа – это импульс.

Живопись для меня очень тонкий аналитический процесс, который в то же время невозможно контролировать. Все-таки невозможно трезво оценить, что у тебя там на картине получилось. Но свои чувства нужно очень точно передать, даже если то, что хочешь передать, в тебе бушует. Если к этому не нужно было бы стремиться, то тогда

вообще можно было бы писать, закрыв глаза. Тогда и дирижеру можно было бы подставить холст, и он с закрытыми глазами мог бы на холсте передать свои чувства. Чувства, которые он испытывает, если он хочет действительно их передать, он должен исследовать и проанализировать для того, чтобы перевести на язык живописи.

Бирута Делле



«Парк Кронвальда», 1966 г.



«Портрет скрипача X», 1987 г.

Мне нравится приближаться к природе. Я не только цвет найду, но и то неуловимое, что есть в природе, хотя это придется делать цветом. Я очень рада, что я это увидела – когда вижу это неуловимое – свет.

Раньше я очень просто делала – вижу цвет, и он совпадает с моим настроением – и делаешь. Так делаются картинки. Сейчас я тоже вижу цвет, но я вижу, что это не просто цвет. Он зависит от чего-то другого, от чего-то более главного. Меняется представление о пространстве. Я знаю, что это простыми цветовыми отношениями не передашь... Я так радуюсь, что иногда это вижу! С каждым годом я вижу тоньше эти задачи.

Я не хочу делать так, чтобы это было убедительно только как живопись. Я хочу сделать так, что если перейти эту границу, то и зритель будет радоваться не работе, не просто живописи, а той природе, которую я делала; что в этом есть что-то таинственное, неуловимое... как будто можно войти в картину... Есть работы, которые вызывают это странное чувство. Это чувство похоже на то, как мы смотрим на небо. Это такое захватывающее чувство! Чувство какой-то красоты. Когда пишешь – это медитация.

Индулис Зариныш

(1929-1998)



«Лето», 1982 г.



«Метель», 1972 г.

Каждый в своей профессии понимает по-своему. Каждый требует от живописи что-то свое. В картине есть все – и сердце и ум человека, но живопись – это убеждение.

Рисунок – это мелодия, а живописность – это музыкальность, игра света и тени, но живописность мало кто понимает. Только некоторые из профессионалов по-настоящему понимают живопись, только некоторые.

Одно время и в литературе и в искусстве модно было давать подтекст. Все это чепуха. Но многим очень удобно хвататься за то, что к живописи не относится. Им это удобно. Это – то же самое, если бы я стоял на выставке рядом со своей картиной, и говорил зрителям, что если бы не моя загруженность в Союзе художников, не обязанности ректора в Академии, не участие в различных комиссиях Художественного фонда и т.д., то картина моя была бы совсем замечательной и гениальной. Картина должна говорить сама за себя, и я не должен стоять рядом с ней в музее и рассказывать за нее.

То же самое, когда некоторые начинают говорить, что я стал известным, потому что пишу заказные работы. А разве Леонардо да Винчи и Микеланджело, или Эль Греко не выполняли заказов церкви?! А Рембрандт, Тициан, Рафаэль?! – почти все великие мастера делали работы на заказ. Мы можем не верить ни во что, но если в религиозной картине есть искусство, живопись, то все остальное не важно. Любая власть хочет, чтобы на нее обратило внимание искусство, какая угодно власть, и

настоящему художнику никакая власть не помешает сделать настоящую живопись. Все зависит от таланта, и действительно талантливого человека нельзя убедить, что он неталантлив, никакими способами.

Ничто не заменит в живописи живописность, а какую тему ты берешь – это уже мало имеет значения. В картине есть только то, что присутствует живописи. Ни подтекста, ни символики нет, если нет живописи... все это в картине есть, но только поскольку есть живопись.

Картину следует считать законченной тогда, когда нечего из себя к ней прибавить. И только через некоторое время (год, два, три) я вижу, что картина, оказывается, могла бы быть закончена иначе.

Генри Клебах

(1928-1998)

Есть художники, которые сохраняют свою тему на всю жизнь. Но этим можно развратиться. Одна тема мне надоедает.

У меня были северные темы, горы, снег. Горы в действительности были небольшие, а я делал их большими. Один мой знакомый меня потом спрашивал, как это ты забрался на такую высоту. Да я на такие горы и без этюдника бы не смог забраться.

Теперь я изучаю воду, речки, пороги, водопады. И для меня главное – технический прием. Как писать воду, дерево, цветы. Как изобразить их материальность, их материал. Я хочу брать две-три баночки с краской, наливать краски на холст и делать как Шишкин. Но налить или набрызгать, а не кистью писать. Я кистью почти не работаю. Я ленивый. Я хотел бы освободиться от лишнего труда. Я думаю не о том, как делать, а о том, как не делать, хотя это, может быть, и усложняет работу. Хотя писать кистью это нормально. У других художников получается нетрадиционно, даже если они пишут кистью.

Художник не должен вычерпать себя в какой-то теме. Тему я исчерпываю по своим возможностям и потом бросаю ее. Может быть, также у меня не хватает выдержки и поэтому она становится мне неинтересной. Но мне кажется, что если бы у меня были большие возможности, больше сил, то я сделал бы ее лучше. Я, конечно, как и все, стараюсь сделать картины лучше, но если не удастся, то стараюсь сделать лучше не на той картине, которая мне не удастся, а уже на другой.

Дилетант от профессионала отличается тем, что он старается быть

поближе к природе. Например, мне бы хотелось написать какую-то рощу, чтобы художник, пришедший после меня к этой роще, уже не мог бы ее писать. Создать *рощу Клебаха*, чтобы из нее исчерпать все.

У меня несколько тем идут одновременно. Одна старая, другая - средняя, третья – молодая, совсем недавняя. Но вдруг появляется странная картина – что-то в ней, в маленьком кусочке картины оказалось сделанным не так, как все остальное. Я это странное место, где может быть краска потрескалась, или заливаясь стала как-то по-особенному, или еще какой-нибудь эффект замечаю – и вот так может зародиться новый прием. Это может потом совпасть с какими-то реальными предметами. Мне, например, нравятся старые стены, брандмауэры, фактура холста в картине на каком-то участке... Если там что-то меня заинтересует, то это может подсказать мне, что писать.

Я думаю о камне, о камнях скалы, т.е. думаю о фактуре камня – и я пишу горы. Я думаю о фактуре материала, и если фактура случайно совпадает с каким-то реальным материалом, то я ищу его в реальности. Так возникает тема.

А иногда я иду от темы к поискам приема. Тема как средство обогащения моих технических возможностей. Создать прием, чтобы этот прием не был похож на прием у других художников. Есть те, кто сохраняют традиции, но мне создавать живописные приемы интереснее. Мне нравится такого рода сложность, чтобы как-то по-другому создать.

Не могу ответить, что является для меня определяющим в живописи. Мой почерк не в теме, а в приеме. Моя тема – это прием. К приему можно потом сюжет подобрать. Как говорил мой учитель Отто Пладерс, «случайности надо придать вид необходимости», сделать вид, что я так и хотел.

Большую картину я стараюсь придумать заранее и обдумать ее в голове. А когда это некомпозиционные работы, то выбираю их интуитивно в зависимости от темы или приема. Большие картины приходится сначала обдумывать, но потом я пишу их интуитивно. Но очень редко, чтобы большая композиционная работа выглядела также хорошо, как те, которые пишутся по настроению. Большие картины какие-то склеенные. Правда, и работы небольшие – «на настроение» тоже можно скомпоновать. Я так тоже делаю. Что-то из одной картины, что-то из другой. Собираешь вместе в одну картину, и получается неплохо. Я же должен зарабатывать. Мне зарплату никто не платит. Мне платят за то, что я умею профессионально переживать. У меня есть всего несколько



«Ностальгия», 1976 г.



«Осень», 1979 г.

больших картин одним духом написанные. Ведь большие картины приходится писать долго, а сегодня один дух, завтра – другой. Художник иногда творит умом, иногда интуитивно.

По чувствам я романтик. Передаю настроения. Неважно есть три дерева или одно, вода это или не вода. Но есть осень, сырость. Если это зимой, то стараюсь почувствовать зиму. Я чувствую зиму, но конечно, не мерзну. Нужно уметь профессионально переживать. Как в театре – в зале зрители могут плакать от того, что актер делает на сцене, но сам актер может не чувствовать то же самое, что и зрители. Он профессионал. А иначе его бы надолго не хватило.

Есть художники, которые до старости хорошо пишут. Мне кажется, что я достиг пика своей деятельности к 35 годам. А к сорока годам был спад. Сейчас все-таки энергии меньше. Теперь я больше умею действовать умом. Я многое знаю из того, что нужно делать, чтобы добиться того, что нужно.

Художником я, наверное, стал случайно. Как-то после армии, когда я не знал, что мне делать – это было сразу после войны, мой отец – очень творческий человек – сказал мне: «А ты не хотел бы стать художником?» Итак, благодаря отцу я поступил на 3-й курс в школу Розенталя. Хотя я совсем не умел рисовать, а другие умели (со мной учились уже тогда выделявшиеся и Земзарис, и Зариньш), я увлекся скорее не живописью, а энтузиазмом. Дальше я должен был что-то делать сам, а не полагаться на помощь отца. Я должен был идти сам, как-то успевать или бежать от

стыда, ведь со мной работали уже сформировавшиеся художники Улдис Земзарис, Рита Валнере... Здесь также повлиял интерес к тому, где я жил раньше – к художественной, богемной атмосфере. Смена интереса от этой захватившей меня артистической атмосферы, в которой жили необычные для меня люди-художники, и переход интереса к живописи произошли у меня уже в конце первого года учебы. Рисовал я плохо, но не очень-то переживал по поводу небрежного к себе отношения как к неумеющему человеку со стороны тех, кто умел рисовать. Я чувствовал, что зато во мне есть что-то другое, чего у них нет – я бывший вояка, я был сильный, здоровый. Мне сейчас поэтому кажется, что обучение детей не должно быть чересчур систематичным. Систематичное часто оказывается без неожиданностей, неинтересным, без потрясений. Молодежь желает удивления и сама желает удивлять, желает нечто вроде спектакля, хочет остроты. На меня та ситуация, в какой я оказался, как раз так и действовала – и сама ситуация, и мысли в этой среде. Кстати, я не окончил Академию из-за той чересчур систематической атмосферы обучения, которая была тогда в Академии. Потом мне ректор предлагал, говорил «вернись, нам такие, как ты нужны...». А я махнул рукой, мол, а ну, обойдусь!

Одно время я даже стал писать прозу и жил с нее. Написал несколько рассказов, сценарий. Сейчас даже жалею, что перестал заниматься литературой. Хотя, когда смотришь назад, то кажется, что были разные дороги, но фактически была только одна для меня. Мне кажется, что в прозе можно более сложно выразиться, а в живописи более просто, живопись не так интересна для меня. Сейчас у меня получается так – писать и писать картины, но мало над чем удается задуматься. Может быть, всем так кажется, что что-то другое интереснее. Например, кажется, что «жена» не такая интересная, как другие женщины. Так ли это на самом деле?

В литературе я мог бы описывать зрительно. Моя проза была бы живописной. По-моему, все-таки профессиональному искусству мешает это раздвоение – занятия литературой и живописью. В литературе у меня были какие-то случаи из жизни – легкий конфликт, за которым стоит что-то большое. В живописи главное то, что нельзя сказать словами, а то, что можно сказать словами, то лишнее для живописи. Я рассеян, это самое выразительное и примечательное мое качество в последнее время.

Есть разные художники, которые, видимо, очень талантливы, но что-то в их таланте им мешает себя реализовать, а было бы у них мень-

ше таланта они, может быть, сумели себя проявить вполне на высоком уровне.

Если бы я считал себя гением, я бы, наверное, чувствовал большую ответственность перед народом, обществом. Если у гения нет школы и он не вникает в школу, то это маленький гений. Гений работает один. Таланты работают кучей. Именно поэтому я считаю, что импрессионисты талантливы. Мы их и вспоминаем всех вместе. Большой гений выходит на мировую арену. Это всемирная добыча. Гений тем более велик, чем больше он влияет на окружение. Но, конечно, гений – это не просто отбившийся от стада.

Может быть, я и не стал бы художником, если бы не та жизненная ситуация, в которой я оказался – совпадение различных требований времени привело меня в искусство.

Художник из пустяков делает золото и в прямом и в переносном смысле. А нехудожник из золота делает пустяки. В живописи очень важна техника. Она ведет зрителя. Она должна остановить его, дать ему *вчитываться* в нее, а за это время должны появиться направленные ассоциации. Искусство – это *направленные ассоциации*, любые, самые разные, какие угодно. Отсюда действие искусства и особое чувство, которое появляется у зрителя.

В искусстве я упрямый. В искусстве нет судей. И уверенность рождается от отсутствия судей. В искусстве никто не может мне доказать, что я неправ. Я ищу уверенность в чем-то конкретном и в жизни, и в любви, и в живописи. Но и не хочу убеждаться, что это так и только так. Не знаю, кто бы смог меня в чем-то действительно в искусстве разубедить, что я делаю что-то не так.

Эдите Паулс-Вигнере

Первые годы в искусстве я мало зависела от себя – в своих первых работах я больше зависела от того, где достать деньги, чтобы купить материал для очередного гобелена. О своих идеях в этих работах просто нельзя было говорить. Только первая договорная работа в какой-то мере открыла дорогу для реализации своих идей. В этом очень большое отличие искусства гобелена от других видов искусств, где от художника требуется значительно меньше предварительных материальных затрат и в случае, если его работа никому не понравится и ее не купят, он может просто отложить ее в сторону и без особого риска взяться за другую. Каждая работа стоит очень дорого материально, особенно таких

размеров, которые я делаю. И когда ты в этом отношении становишься свободным, то тебе уже легче работать, так как уже только ты решаешь, что необходимо, и тогда уже самой неудобно и неловко работать под чьим-то влиянием.

Когда ты на своих ногах, то должен выражать только свои личные переживания. Сейчас я не думаю об ограничениях. Я сама могу отдать последнюю монету для того, чтобы выполнить ту работу, которую хочу. Много зависит от храбрости и темперамента художника. Я считаю, что делая работу, я иду на риск, потому что не знаю наверняка, что с моими работами произойдет – купят мою работу или нет.

Характер моих работ во многом зависит от того, где будут выставляться мои работы, от этого во многом зависит, какой будет моя работа, что я буду делать. Если впереди выставки, то это одно, если выставка персональная, то стараешься сделать что-то особенно для тебя ценное, то, что у тебя на сердце, из воспоминаний детства, которые у меня остались очень сильными. Например, в детстве мне очень нравилась баллада В.Плудониса «Тайна болота», в которой рассказывается о мальчике, пасущем овец на болоте и слушающем пение птиц – вдруг поднимается ветер, и он видит, что овцы превратились в камни, из родника течет кровь и он слышит голос, который говорит, что это кровь того, кто был расстрелян в 1905 году. Я помню, что эта баллада мне тогда очень нравилась своей завораживающей таинственностью и трагичностью. Это было в 7-м классе, я выучила текст и выступала на школьной сцене, а Раймонд помогал мне игрой на рояле передать то впечатление. Эти ощущения остались настолько сильными, что прошло много времени, но они меня не оставили, и я решила сделать гобелен и передать свои переживания, передать в мрачной серой гамме.

Ничего не люблю, чтобы повторялось. Даже материал, который остается от предыдущей работы, я в новой работе не использую, он мне надоедает. Возможно это потому, что я сама все время имею дело с цветом, сама крашу шерсть и сама исполняю свои работы. Другие художники иногда отдадут делать работы по своим эскизам в мастерские, я же делаю все от начала и до конца. Можно, конечно, отдать их в мастерские, но тогда в работе уже будет душа другого человека, потому что материал заставляет познакомиться с идеей. Я могу закрыть глаза и видеть готовую вещь – у меня сразу колорит ее появляется, а не законченная работа.

Один раз я делаю работу исходя из материала, сам материал мне навевает идеи, подсказывает образы, в другом случае она возникает из



«Коррида», 1978 г.



Кресла, ок. 1980 г.

идеи, и тогда больше начинаешь думать о материале. А иной раз интерьер подсказывает работу.

Живописцу, конечно, в этом отношении легче – он может представить ту мысль, которую хочет, сразу. В гобеленном искусстве мы часто выходим из материала, которым располагаешь. Если я выполняю договорную работу через комбинат «Максла», то тогда богатый выбор материала, больше возможностей, можно придумывать всякие фокусы в работе.

О своей «Корриде» я долго думала. Я сразу понимала, что здесь у меня три основных элемента – животное, человек и красная тряпка. Эта работа предназначалась для персональной выставки, я должна была сделать что-то особенное. Мне показалось, что в этой работе я смогу показать свои страсти, которые в обычной жизни придерживаю. Делать целого животного – это слишком обычно. Мне хотелось что-то необычное, хотелось сделать смелее. Чтобы на гобелене показать не всего быка, разрезать его, показать только его угрожающую часть – для этого нужно было быть храброй. Я все время двигала этими основными элементами как шахматными фигурами. Постепенно выделила животное, потом заходит красное, потом как фон одежду тореадора и четвертый план...

Художник, мне кажется, в искусстве делает свои нормы, которые он распределяет во время работы. Я храбро делаю потому, что долго свою мысль, идею в себе вынашиваю, и мне не нравится когда во время работы меня бы учили, поправляли.

Если я делаю договорную работу, то это не шутка. Договорная работа – это очень серьезно. Это значит – тема. Тема – это очень много, тему тоже можно решать, исходя из души. Я знаю, что в каждой моей работе остался кусочек моего тела, моей жизни. Для меня тема – это только фасад. Для меня тема – это девиз работы, под которым ты можешь решить все, что угодно. Например, тема «Труд». Художник, который не хочет думать, сразу же будет делать фабрику, колхоз – он будет делать поверхность темы – рабочих, рабочие позы. Но ведь в труде человека скрыты все стороны человеческой жизни. Чем глубже художник видит, чем он чувствительнее, чем больше он богат эмоциями, тем больше он в самом простом предмете может увидеть красоту.

Но есть работы, решение которых находишь долго. Когда я собралась сделать гобелен «Вселенная» я как бы прослушивала все трагедии человека. Я видела чудное небо, какое оно прекрасное – я сделала из неба фон для человека и для земли. Потом я увидела фотографии земли из космоса, как она выглядит, наша планета, оттуда – и я сделала планету, землю рельефно расстилающимися в иной плоскости, нежели «Небо». А дальше – над «Землей» и на фоне космоса, «Неба» я показала человека, который должен был бы быть, мог бы быть счастливым в окружении того, где и с чем ему хорошо. Мне кажется, что я до сих пор думаю об этой работе.



Имантс Рейнхолдс. «Портрет режиссера Валмиерского театра «Метаморфоза», Мары Тимеле», 1981 г.



Имантс Рейнхолдс. «Метаморфоза», 1985 г.

Договор чаще всего приходится долго «вырабатывать» – заранее готовиться к нему. В нашей профессии нет другого выхода, как делать договорные работы, потому что если твоя работа никому не нужна, то ты почти или вовсе не сможешь делать другую. В этой профессии, как у скульптора нет никакого шанса исправить работу. Здесь результат всегда уникален, как импровизация пианиста, который не сможет повторить то, что он только что сыграл. Работа в гобелене – это совершенно особый вид искусства. Ты все время должен работать, ты не можешь рассчитывать, как живописец, что если у тебя сегодня нет настроения, то ты можешь пропустить день, другой, а потом, когда будет желание, ты быстро все сделаешь. Здесь ты должен приходить каждый день и должен работать как человек, который работает на фабрике. Приходится работать и тогда, когда нет настроения, иначе просто не успеешь сделать работу в срок чисто физически. От маленького наброска, эскиза цветовой композиции идеи, которую я носила, до готовой вещи процесс мучительный.

В гобелене многое трудно физически – я сама себе всю жизнь красила материалы. В гобелене почти все зависит от эскиза, что ты в него заложил. Если ты долго вынашивал композицию, то ты можешь быть уверен, что работа получится.

Имант Рейнхолдс

Я пишу очень быстро. Долго писать не могу. Если я пишу долго, то я испорчу работу. Мне очень важно передать психологическое состояние человека. Живопись это психология. Нужно передать психологию человека, а иначе зачем писать?! Делле мне сейчас не нравится. Вот раньше у нее были пейзажи!

Краски получают сами собой. Не надо специально стараться. Когда я пишу, я все время говорю с человеком. На любые темы, на те, которые я ему предлагаю. Мне очень не нравится, когда модель говорит мне, чтобы ее сделать похожей – ротик, носик... Тогда начинаешь заниматься не человеком, а во что он одет, что у него за нос, рот, уши. Человек – это состояния человека, а не его внешность. Хочу передать приятные и неприятные состояния, которые передает мне человек. Не знаю, как я начинаю, а заканчиваю – вижу, что в картине ничего добавить больше нельзя. Когда она уравновешена, сбалансирована.

Мне хочется так много выразить, что работая над одной картиной, я спешу поскорее перейти к следующей. Одна и та же работа – это скучно. Я

просто не успею закончить даже одну работу, если я буду писать ее долго.

Однажды я увидел в деревне сундук или ящик такой же, как на картине у Рембрандта и удивился – откуда такие в Латвии?! Их сделал один наш мастер, и сделал точно как у Рембрандта. Два мастера, которые никогда не могли встретиться... И я написал композицию - два человека на холсте, каждый со своим ящиком. Значит, между ними было что-то общее в их психологии, раз они стали заниматься одними и теми же вещами, делать совершенно одинаково, не зная друг друга.

Я живу только на свою живопись, у меня много картин покупают. Часто не я выбираю людей, они меня выбирают – просят, чтобы я их нарисовал.

Николай Уваров

У меня два пути создания картины. С одной стороны, это, что ли, дань традиции. Это могут быть малые голландцы, передвижники или кто-то еще. Какая-то больная тема, которая меня волнует, которую нужно перевести в зрительное. Я вижу ту или иную отвлеченную тему в жизни и на нее, как на каркас, натягиваю те или иные реальные ситуации. Мне это кажется, может быть, полезно для общества. Реально это проявлялось так: я шел от символики, аллегории, от традиции. Это ориентация на литературный сюжет. Я сейчас как в дзен-буддизме пытаюсь в капле воды увидеть вселенную. Со стороны глядя, это может быть какая-то реалья. Это с одной стороны, а с другой – чуть ли не мистика, налет как бы некоторой надмирности.

У меня главенствовал сюжет, а к сюжету подтягивал форму. Это был такой стиль мышления. Заранее все разложено по полочкам. Оставалось это только эмоционально насытить: оскал зубов, жесты и внешняя динамика. Я рисовал усилием воли, это была инерция. Какой-то отрыв от чувственного восприятия мира. Какая-то чувственная атрофия. Силой заставлял себя делать работы аккуратно, достойно и хорошо. Хотя внутренней потребности делать так не было. Было копирование чужих схем мышления. Затем был приход на нулевую точку. Года два фактически ничего не делал. Затем желание найти собственную струну, на которой можно было бы играть.

Отчасти что-то от того периода сохранилось и до сих пор. Сейчас же стараюсь идти от первичного образа: игра света, игра того-сего, что-то внелитературное. Вдруг что-то увидел, раз – и остолбенел. Поразило что-то тем, что так просто и красиво и все. Это я стараюсь в виде набро-



«Горы Тянь-Шаня», 1995 г.

сков зафиксировать или в голове сфотографировать. В какую-то ячейку в голове заложить. Затем эти наброски складываю в папку – банк идей. И это дело отлёживается. И когда они переполняют – избавляюсь от них, от избытка образов.

Сама же картина начинается с монолога или с диалога с предметами. Например, в натюрморте: бутылка с яблоками, в пейзаже – серое небо и глыба леса. В момент делания, видения у меня с ними диалог, или они сами как бы переговариваются друг с другом. На холсте же они сами переговариваются друг с другом о том, о чем я с ними говорил. Я часть этого леса, ветка дерева... я чайка и т.д. В меня переливается эта эмоция, которая заложена в лесе, в дереве. Это иногда могут быть и головные идеи. И когда я их зарисовываю, изображаю – это гимнастика для мозга. Какая-то механическая привычка чиркать на бумаге. А иногда в голове совершенно пусто. Та или иная тема, которая меня взволновала в один день, в другой день уже не волнует.

Делаю тогда, когда это настолько созрело в голове, что я вижу, как сделать. Когда диалог между вещами и мною закончился, закончился и диалог вещей между собой. Я вижу, как это было бы уже на холсте, а дальше – дело техники, просто перенести на холст и все.

Идеальный вариант, когда делаю серию, какой-то цикл и где-то на середине работы уже думаешь о следующей работе, следующем цикле. А то сделал, цикл закончил и не знаешь, что дальше делать – пустота. Смена циклов происходит очень болезненно. Это вопрос вопросов. Ведь творческий процесс создания, перенесения, фиксации образа, когда вот он получился – это настолько восхитительное чувство, процесс перевоплощения в форму. А отсутствие творческого накала, можно даже

сказать оргазма, переживаешь как трагедию. Здоровое творчество – это выход из себя, но не попытка выдавливания из себя.

Когда я серию сделал, то тема исчерпана. Она может, конечно, продолжаться бесконечно. Ее можно делать. Но почему я должен себя ограничивать одной темой. Это уже не интересно. Здесь уже реализация себя. И потому серия интереснее одной работы. Она и по времени длится дольше. Серия, цикл – это тема с большим количеством вероятностей, разных интерпретаций, в разных аспектах. Может быть, здесь есть чувство боязни, что когда закончишь эту тему, то не будешь знать, что делать. А это очень неприятная вещь – чувство пустоты. Если заранее на полпути темы, которую делаешь сейчас, не придумаешь что-то следующее, то это очень тяжело. Это вопрос вопросов, – как найти стимул для творчества, чтобы не прерываться. И тут, наверное, счастливы те, кого волнует форма. Те, кто как Ян Паулюк, который без красок, наверное, жить не может – который художник от Бога. Когда постоянно живут только сердцем, сердцем и сердцем, а на пересменку направляются лечиться или пить. А иначе – холодно, головой рисуешь схему и сам безучастен.



Филипп Шалаев. «Тигрица с тигренком», ок. 1985 г.



Филипп Шалаев. Борзая», 1996 г.

Творчество идет больше в голове, а не на холсте. На холсте сопротивление материала, техники, задача насытить эмоционально. Энергичностью штриха, линии. А бывает апатия.

Почти всегда, когда начинаю работу, бывает так, что сначала не хочешь рисовать и только в конце чувствуешь себя художником. У меня такая инертная натура – медленно раскачиваюсь, медленно вживаюсь. Ну и потом так же медленно из этого состояния выхожу.

Это может быть, честно говоря, элементарная лень, нежелание творческого напряжения. Отсутствие воли к сопротивлению. Привлекает больше не корпение над формой, а накопление информации. Кажется, что ты сначала должен что-то узнать о мире, а потом будешь рисовать.

Когда заканчиваю картину, я знаю, что сделал все, что мог. Каждый сантиметр прощупан, пройден. Тыкаешься туда-сюда и ни с места. Потом я вижу, что можно было бы лучше, но поскольку тебя интересуют уже другие темы, то к ней уже не возвращаешься. Работа может по прошествии времени иначе видиться. Ты ее видел и делал в одном состоянии, а через месяц видишь, что она может быть и технически иначе сделана, и философски видишь ее с другой стороны. Но эмоционально к старой теме остыл. Рассудком видишь, что мог бы сделать так-то и так-то, но сердцем ты уже принадлежишь другим темам.

Филипп Шалаев

(1929-2008)

Человек занимается тем, к чему лежит его душа, его любовь к чему-то. Хотя я часто рассеиваюсь. Мешает глухота, а из-за нее шум в голове. Но у меня, как мне кажется, своеобразная, рассчитанная рассеянность. Наверное, это как отдых, когда думаешь, что же тебе делать; когда надо отдохнуть, прежде чем сосредоточиться.

Я люблю думать ночью. Тогда о многом передумаешь. А искусственно быть сосредоточенным нельзя. Но как-то надо сосредотачиваться. В сосредотачивании группируется сознание, появляется острота, сила. Я работаю и пою.

Когда я пишу, появляются раздумья в сторону философии. Сейчас без философии, видимо, нельзя ничего делать. Я постоянно работаю над темой «животные». И я думаю: что сейчас с ними случилось! Из-за человека вымерли ценные, уникальные породы животных, а самые простые стали такими хилыми! Жалко смотреть на них. Это чувство

жалости мною руководило, когда я рисовал своих кошек, которых я часто вижу в парадных, подъездах домов. Идешь в подвал и думаешь, почему столько бездомных кошек и собак! Ведь это только человек сказал, что человек лучше животных. Природа так не сказала. Почему эти кошки здесь, в подвале – они в этом виноваты?! Это человек виноват. А берберийские львы или тигры. Я написал такую картину – убитый тигр лежит, а к нему приближается такой неприятный тип в ушанке с красной оплывшей от жира шеей. А вдалеке красное небо. Ужасное, несправедливое событие произошло. Это у меня были картины на сострадание.

Очень важный для меня фактор – это удивление. Удивление тем, что эти животные мои современники, что они живут со мной, что они все-таки сохранились, что мы можем видеть их, хотя бы и в зоопарках. Искусство требует удивления. Надо удивляться! Художник просто не может писать, если он не очарован. Иначе будет слишком общо, казенно и тогда вообще незачем было писать. Я могу что-то сделать, только удивившись. Я приношу животных из зоопарка к себе в мастерскую в сердце и в голове. Наверное, мне помогает бессонница, особенно, в начале работы над картиной. Это дает мне время для размышлений.

Трудно объяснить, почему я пишу большие картины. Не могу себя выразить в маленьком формате. Отчасти, может быть, и потому, что у меня давно с выставки украли 9 сравнительно небольших картин. А большие не украдешь.

Холста бывает мало, а замыслов много. Вот как это иногда бывает: Земзарис достал мне 4 метра холста (Улдис Земзарис – мой духовный отец), а замыслы уже были. Я делаю разбивку этого холста. Здесь будет игра барсов, а здесь человек напуганный львом. Он, наверное, зря испугался, потому что лев смотрит удивленно. На картине должны будут быть непонимаемость животного и человека, своеобразная анекдотичность.

Будут воплощены 2-3 замысла о взаимоотношениях человека и животных. Я избираю то, что мне ближе в данный момент. Бывает, что в какой-то мере краски, какие у меня есть, определяют, что я могу делать, а что нет. Я начинаю с того, что мне легче, в чем у меня больше уверенности. Прежде всего, я фиксирую замысел и люблю оставить картину на полгода, год в покое. Это для нее выжидательный срок. Это очень хорошо помогает в работе. Лучше не спешить – когда-нибудь я

до них все равно дойду. Но некоторые стоят очень долго, и не знаю, смогу ли я с ними что-нибудь сделать.

Удивляюсь тому, что жили такие героические люди как Бетховен, Ван Гог. Я прочитал книгу Ирвинга Стоуна и удивился этому человеку. И написал картину о Ван Гоге. Я пишу и удивляюсь. Я пишу потому, что хочу писать и этим выражаю свое удивление.

Ошибки в композиции бывают, несмотря на уверенность, которая бывает в начале работы. Думаешь о работе, взялся за нее с жаром, чувствуешь то, что делаешь, стараешься скорее ее сделать, а потом смотришь и видишь, что не то. Хотя казалось, что делаешь точно. Видимо, первоначальные эмоции взяли верх.

Сюжеты у меня могут быть самые разные. Меня удивляют герои животного мира и герои людей. Я не делаю разницы между животным и человеком. Перед природой все равны.

Тигры! Они подвижны! У них настроение, своя мимическая психология. У них своя жизнь! У уссурийского тигра свои повадки, у бенгальского – свои, у суматрского – свои. В тиграх больше раскроешься сам. Удивляюсь многому, но особенно тиграм.

В картине надо работать до появления жизни. Не для точности, а для выразительности. Я хочу передать свое впечатление, когда я смотрю на живого тигра. Когда я смотрю, как они сотрясают лапами клетку!..

Иногда я думаю – художник ли я. Порой меня мучают сомнения. Вот стоят картины в мастерской. Может быть, они никому не нужны. Иногда прихожу в мастерскую и не знаю, что мне делать. Сижу и не знаю, хотя дома много дел. Сижу и думаю обо всем. Наверное, мне бессонница помогла научиться все время думать, появилась привычка о чем-то все время думать.

СТАРАЯ УСАДЬБА БАЛИНОВО

В журнале «Русский паломник» (Москва. 2005. № 34. С.66-71) была опубликована статья рижского искусствоведа Н.И.Лapidус «Богданов-Бельский. Певец Святой Руси красками». Статья эта стала известна жителю Калифорнии (ранее – жителю Латвии) А.М.Афанасьеву, откликнувшись на статью письмом в редакцию, опубликованном в «Русском паломнике» за 2008 г. (№ 43. С. 126-131). «Рижский альманах» воспроизводит эту статью с незначительными сокращениями и часть иллюстраций, к ней приложенных.

Благодарим Н.Лapidус за содействие в публикации.

Ред.

Художник-певец русского крестьянства Богданов-Бельский

Спасибо большое за присланные мне номера «Русского Паломника». Меня особенно обрадовал № 34 с прекрасной статьей искусствоведа Н. Лapidус о художнике Николае Петровиче Богданове-Бельском с иллюстрациями его картин, написанных им в Латгалии. Они напомнили мне мое детство в имении моей бабушки в Балиново[!], в 14-ти км на юг от города Резекне (Режицы), в живописной холмистой местности с озерами, березовыми рощами и сосновыми лесами.

Старая усадьба Балиново



Н.Богданов-Бельский. «Сельская школа» в Балиново. За первой партой третий справа Алеша Афанасьев, четвертый – Женя Воронцов

В этом имении была усадьба моих родителей, где примерно с середины 30-х годов они устроили летний пансионат, привлекавший много русских дачников из Риги. Особенно любил проводить лето в Балиново Богданов-Бельский, написавший там много замечательных картин с деревенскими детьми-старообрядцами из

ближайших деревень и хуторов, еще сохранившихся в эти годы свой до-революционный образ жизни.

Я хорошо помню Николая Петровича в годы 1938-1939 и даже попал натурщиком на пару его картин. Кроме Богданова-Бельского в Балиново бывали художники Сергей А.Виноградов, Михаил Алексеевич Зайцев, А.Э.Шведевиц и талантливая ученица Николая Петровича Татьяна Лицис.

Отдыхающие творческие силы

Балиново имело свое озеро с небольшим песчаным пляжем под обрывистым берегом, покрытым сосновым лесом. В воде у берега было несколько больших камней, на которых все любили фотографироваться, а Николай Петрович изобразил их на картине с юными рыболовами, пытавшимися ловить рыбу черпаком.

Кроме того, Балиново славилось своими садами – было около 700 плодовых деревьев, главным образом Антоновских яблок. Эти большие сочные яблоки упаковывались в ящики со стружками для экспорта за границу. Николай Петрович написал в 1936 году в Балиново картину «Цветущий яблоневый сад», и у меня сохранилась фотография одного из садов со стоящим у яблонь садовником.

*

Николай Петрович любил своих натурщиков, всех знал по имени, дарил им подарки и угощал конфетами. Помню, он посылал меня покупать для ребят конфеты в лавочку Красовских, около нашей мельницы. Эта мельница была изображена на двух его картинах.

Среди дачников бывало много известных и талантливых людей. Почти каждый год приезжали из Риги посудные фабриканты Георгий Матвеевич и Мария Ивановна Кузнецовы и администратор их фабрики Селецкий. Из



Н.Богданов-Бельский. «На именинах у учительницы». Женя Воронцов сидит слева, Алеша Афанасьев сидит спиной



Богданов-Бельский пишет в именин Балиново картину «На именинах у учительницы»

Латвийской национальной оперы бывали балетмейстер Леонайтис и балерины Галя Лихачева, Галя Шмидт с мужем, скрипачом оперного оркестра. Гостили журналисты из газеты «Сегодня» и много других интересных людей. Дачников устраивали в Балиново в помещениях русской начальной школы, двухэтажной латышской школы, во флигеле моей бабушки Н.И.Ровняковой в нашем доме.

Моя мама обладала большими кулинарными способностями и с 2-3-мя помощницами кормила дачников разнообразными блюдами, можно сказать, «на убой». Дачники сидели на веранде нашего дома за длинным столом, а Николай Петрович сидел на председательском месте и всех развлекал интересными рассказами из своей богатой впечатлениями жизни.

Отец-мученик

Мой отец, Михаил Александрович, был гостеприимным хозяином и тоже хорошим рассказчиком. Как бывший кадровый офицер-артиллерист Русской Императорской армии, он вспоминал Великую войну и свое участие в Гражданской войне, когда он в 1918 году в Режице организовал конный партизанский отряд и участвовал в стычках с большевиками, а потом был в Северо-Западной армии Генерала Юденича.

Дачники хорошо проводили время, и никто не скучал. Ходили на озеро купаться и катались на лодке, ловили рыбу, играли в крокет, любили париться в русской бане и, главное, отдыхали и наслаждались красивой природой. Один раз в сезон в Резекне нанимали автобус и дачников возили вдоль огромного озера Разно до его южного берега, где устраивали пикник и подъем на гору Волькенберг с красивыми видами на окрестности. На этой горе сохранились развалины замка немецких рыцарей.

Рождество

Кузнецовы, очень любившие деревенских детей и особенно Женю Воронцова, который был на нескольких картинах Николая Петровича, пригласили Женю и меня на Рождественские каникулы в 1939 году в Ригу, куда мы приехали на поезде в сопровождении моей мамы. Женю взяли к себе Кузнецовы, а мы с мамой остановились у наших старых знакомых.

Мария Ивановна Кузнецова задарила нас подарками, возила в кино (в первый раз) и, конечно, мы с Женей навестили поправлявшегося после операции Николая Петровича, куда был приглашен корреспондент из газеты «Сегодня». О нас была написана статья, и мы были сфотографированы с Николаем Петровичем, сидящем в халате в кресле, под его картиной «Деревенские мальчики». На фотографии Женя стоит рядом с креслом, а я сижу у ног Николая Петровича. Поездка в Ригу оставила у нас большое впечатление и много приятных воспоминаний. Для нас, семилетних, все было интересно и ново.

Жизнь в те годы была сравнительно благополучной, но над Латвией сгустились тучи, и 17-го июня 1940 года в Латвию вошли советские войска, и вскоре за ними прибыли чекисты НКВД. Наступил год красного террора. Начались аресты знакомых и родственников. В октябре арестовали моего отца. Боясь ареста и ссылки в Сибирь, мы перебрались в Ригу, где нашли приют у наших знакомых. Мама получила простую работу в больнице, а я поступил в русскую школу. Но в Риге тоже пошли аресты, и в ночь с 13-го на 14-е июня 1941 года был массовый вывоз в Сибирь целыми поездами, в битком набитых товарных вагонах. Рига была в трауре и в страхе.

Началась война, и 1-го июля в Ригу вошли немецкие войска. Через две недели на даче НКВД около Белого озера, в окрестностях Риги, была обнаружена и раскопана братская могила расстрелянных 113-ти человек. Среди них был мой отец, которого опознали по копии приговора о расстреле у него в кармане.

Последние годы

В годы немецкой оккупации мы с мамой навещали Богданова-Бельского и весной 1944 года были на большой выставке искусства в Рижском художественном музее, где было много знакомых мне картин.

В эти годы Николай Петрович много болел, но не переставал работать в своей главной квартире, главным образом над портретами.



Н.Богданов-Бельский. Балиново. Латгальский пейзаж. 1936 г.
(Иллюстрация предоставлена Н.Липидус.)

Приближался фронт, и Рига начала пустеть. Десятки тысяч людей стали беженцами. Мы уплыли из Риги 9-го августа 1944 года вместе с семьей художника Михаила А.Зайцева в Гдыню и снова встретились с ним уже в Америке, после пяти лет в беженских лагерях в Германии. Покинул Ригу и Николай Петрович с супругой и двумя пасынками. Скоро они попали в Берлин, где после операции Николай Петрович умер 19-го января 1945 года.

Прилагаю копии нескольких открыток-картин Богданова-Бельского, написанных им в Балинове и фотографии Балинова в те годы. Сейчас когда-то красивое имение стоит в полном запустении. Смотря на недавно полученные мною фотографии, почти все постройки, кроме бывшей латышской школы, разрушены или разваливаются. Парк зарос кустарником, и нет больше яблоневых садов. Грустная картина.

Вот, писал письмо в редакцию, а получился целый рассказ, да еще с редкими фотографиями. Как выражались в старину на Руси, «растекается мыслью по древу».

Как видишь, дорогой друг, здесь, в далекой Калифорнии, я с удовольствием вспомнил любимого художника Богданова-Бельского, Латгалию, Ригу и мое детство.

ПИСЬМА ЛЮДМИЛЫ КЕЛЕР (СЕСТРЫ ИОАННЫ)

ИЗ НЬЮ-ЙОРКА И ИЕРУСАЛИМА В РИГУ

В конце 1988 г. рижский врач-психиатр, с 2010 г. – ассоциированный проф. Латвийского ун-та Владимир Евгеньевич Кузнецов по приглашению друзей оказался в Нью-Йорке, где познакомился с бывшей рижанкой Людмилой Келер¹.

Публикуемые ниже письма Людмилы Келер Владимиру Кузнецову в очередной раз подтверждают, что бывших рижан (парижан, москвичей, омичей и т.д.) не бывает. И тридцатилетняя разница в возрасте не помеха для живого общения – существовало множество важных тем, объединяющих и сближающих корреспондентов.

Публикация В.Кузнецова; подготовка текста и прим. Б. Равдина.

Письма и поздравительные открытки Л.К. печатаются выборочно, с некоторыми сокращениями.

Благодарим всех, содействовавших нам в работе над примечаниями и иллюстративным материалом. Особая благодарность Д.Трубецкому.

22 августа 1989 г. [Нью-Йорк.]

Дорогой Володя!

Наконец-то, вернувшись из долгого путешествия «на юг»², могу Вам написать. Опять собираюсь туда в недалеком будущем.

Меня очень интересует положение с нашим собором, сведения поступают самые противоречивые³. Здесь были земляки, но не внесли ясности в этот вопрос. Официальных сообщений в последнее время тоже не было, так что не знаешь, что и думать.

Здесь всё более или менее по-старому. Звонила по Вашему поручению в прошлом году, но дозвониться было невозможно из-за землетрясения в Армении⁴: все линии были постоянно заняты. Так что простите. <...>

Посещения земляков стали довольно частыми, но не все такие интересные, как Вы, так что от них мало что и узнаешь по интересующим нас церковным вопросам. С большим наслаждением читали книгу Зои Крахмальниковой «Горькие плоды сладкого плена», ее и издали здесь⁵. Всё правда, хотя и горькая. Но, надо надеяться, те времена миновали и уже больше ничего подобного не повторится. Во всяком случае, во время празднования Тысячелетия Крещения было много утешительного и даже неожиданного.

Очень хорошо, что русские в Латвии тоже организовались⁶, давно пора, если уж права, то для всех.

Не навстите ли Вы нас еще раз, тут у Вас было бы очень много пациентов, которые срочно нуждаются в психиатрической помощи. Да привезите и Ваших «кундзе ун яункундзе»⁷, им тоже было бы интересно и не надо было бы гадать о размерах⁸.

С наилучшими пожеланиями

Ваша Л.Г.⁹

2

2 декабря 1989 г. [Иерусалим.]

Дорогой Володя!

Была очень обрадована Вашим письмом, которое Мила¹⁰ мне переслала в И<ерусалим>. <...>

Увы, моя статейка о пребывании И.С.Шмелева была больше о Печерах, которые на него произвели большое впечатление. А, кроме того, у меня ее нет с собой, помню только, что это было в прежнем «Возрождении» (парижском), в начале 60-х гг.¹¹ Со временем могу ее достать (может быть, весной) и прислать. <...>

Пишите на Милу, но не ждите от меня скорого ответа. Привет Вашим дамам!

Всего хорошего! Храни Вас Г<осподь>.

Ваша Л.Г.

Книжным заказом смогу заняться только в Н<ью>->Й<орке>.

3

12 ноября 1990 г. [Иерусалим.]

Дорогой Володя!

Всегда рада получить от Вас весточку. Большое спасибо за все, что вы присылаете, все мне, конечно, очень интересно, из последнего я еще не все получила, наверное, «Родник» и «Даугава»¹² еще в Нью-Йорке.

Итак, после всех разговоров – даже водружения креста, собор остается в ведении «Знания»!¹³

Очень интересно для меня было услышать о семье о. Иоанна Янсона.¹⁴ Я его, конечно, хорошо помню и могу сказать, что это был достойный пастырь. В 1940 году он венчал мою сестру¹⁵ у себя на дому (ее муж был военный, а в то время с этим нельзя было шутить), что для него тоже было рискованно. Если знаете его внучку¹⁶ – сообщите ей это. Тогда наши «соборяне» жили в церковном доме на улице Меркеля (насколько я помню)¹⁷ и за домом наверное следили, так что мы никто не пошли на

венчание, кроме брата¹⁸, который в этот дом ходил и был там, конечно, хорошо известен.

Очень интересно, в какой университет Вы приедете в Мичигане¹⁹. В 60-х гг. я преподавала в Штатном университете в Ист-Лансинге, но почему-то я думаю, что Вы едете в Анн-Арбор. Если так, у меня там есть знакомые, напишите.

Пока в Нью-Йорк не собираюсь, но когда-нибудь, наверное, надо будет поехать.

Здесь лето кончается и начинается период дождей, но после 6 месяцев безоблачного неба даже приятно видеть тучи. По радио слышала, что в Москве уже снег.

Сейчас занята странным делом: перевожу свою собственную книгу с английского на русский (это о в<еликой> княгине св. Елизавете Федоровне)²⁰ и, представьте, довольно трудно.

Мне очень жаль, что я Вас не знала раньше, я ведь два раза была в Риге, а у меня осталось мало знакомых, часть выехала, часть погибла, часть неизвестно где. Всех разбросало по свету.

Письмо постараюсь послать отсюда с «оказией» (в 20-ом веке это самый надежный способ), как раз один паломник возвращается через несколько дней домой.

У меня здесь тоже много перемен, если увидите Вл<адыку> Илариона²¹, он Вам расскажет, да и моя «внучка» (Мила), которая сейчас поехала на лечение в Чили.

Пишите по прежнему адресу, мне перешлют.

Всего хорошего и привет семье!

Ваша Л.Г.

4

3 января 1992 г.

Дорогой о Господе Володя!

Только что получила Ваше поздравление. Очень интересная открытка с видом собора, но вырезка из газеты об о. Амвросии²² меня заинтриговала. Значит ли это, что он уходит из нашей Церкви! Напишите!



Игорь Клявиньш. Нач. 2010-х гг.?

У меня для Вас тоже есть интересная информация из старого журнала (Перезвоны), я ее пересняла и вышлю Вам с оказией. Это о соборе во

время первой немецкой оккупации. Там упомянут тот факт, что иконостас вывезли во время войны и он никогда не вернулся²³. Моя мать еще помнила его, т. е., родители жили в Риге еще и до первой войны. <...>

Связался ли с Вами о. Виктор из Латгалии?²⁴ Произвел на всех нас здесь очень хорошее впечатление. Сейчас здесь гостит один священник из Москвы (нашей Церкви) – очень симпатичный.

У нас в этом году теплая зима – еще не было снега, дожди были, но не такие сильные. Как обычно. Но больных очень много в монастыре, я только и делаю, что навещаю их.

Желаю Вам всем здоровья и успехов в этом году, а главное – мира душевного.

Молитвенно Ваша сестра Людмила.

5

22/9 октября 1992 г.



Дорогой Володя!
Надеюсь послать Вам это письмо с okazji: здесь находится о. Виктор (Мамонтов) из Латвии. Я ему даю Ваш адрес, м.б. он сможет с Вами увидеться, когда бывает в Риге (его приход в Латгалии) и расскажет Вам о нашем здешнем житье-бытье.

Архимандрит Виктор (Мамонтов) в Фонде им. Александра Меня (Рига, 2006 г.) Фото В.Минченко

То, что вы пишете (и я узнаю из других источников), очень неутешительно. Церковные дела тоже в беспорядке: по словам о. Виктора предстоит раскол, часть уйдет к Патриарху Вселенскому (не Иерусалимскому, как вы пишете), а часть в Зарубежную Церковь.²⁵ Самое лучшее было бы стать вновь автокефальной Церковью, как было до смерти св. Иоанна Рижского, но это наверно тоже трудно. Если у Вас будут какие-нибудь материалы по этому вопросу, – буду благодарна за присылку. Все, что Вы присылали, очень интересно и частично использовано мной для статей[!] (которых я, впрочем, не видела, хотя они и напечатан[!])²⁶. Увы, в наш прогрессивный век почта работает как в средние века. В буржуазной Латвии почту приносили три раза в день; потом я нигде уже такой роскоши не видела.

Надеюсь, что Вы и Ваша семья более или менее благополучно пере-

живете это время. Если я могу Вам чем-нибудь помочь – дайте знать. Мила Вас помнит и иногда у нее свободнее, конечно, заранее и она не знает, как с помещением, потому что ей присылают «бесприютных» в последний момент.

Хорошо было бы, если бы Вы сохранили возможность приезда в С<о-единенные> Штаты на всякий случай, если станет совсем невыносимо.

Лето у нас было нормальное, а осень – необычайно теплая. Но предсказывают «сибирскую» зиму – как в прошлом году, со снегом и прочими прелестями, к которым здесь совсем не готовы. Дома ведь здесь без отопления, греемся электрическими грелками, но иногда электричество прекращается и тогда сидим в сырости и холоде. Здесь «буржуйки» тоже пригодились бы, т. к. дров после прошлой зимы, когда повалило много деревьев, достаточно. Я, впрочем, меньше страдаю от холода – сказывается привычка. Ведь только в Америке все перетоплено зимой, а в Латвии было прохладнее в квартирах, хотя у нас и было центральное отопление.

О. Виктор мне очень понравился – настоящий священник по призванию и притом кроткая душа. Здесь он пережил тоже трудности, отчасти по вине нашего нового начальника миссии²⁷, который, снесшись с Владыкой в Германии²⁸, не принял его в нашу гостиницу и он ездил (или ходил пешком) издали. Кроме того, здесь часто бывают забастовки у арабов и праздники у евреев, когда всё закрыто. Мы-то уж к этому привыкли, а свежему человеку трудно разобраться. Но я счастлива тем, что в монастыре, могу ходить каждый день в храм, а вчера служили молебен в пещере преп. Пелагии – это совсем близко от монастыря. Кроме того, в старом городе (если я туда попадаю) могу пойти на Гроб Господен, поставить там свечку. Напишите мне имена Ваших родственников, и за них когда-нибудь поставлю свечек. Кроме того, здесь бывают ночные литургии на Гробе Господнем, можно и заказать «отпустительную» литургию за усопших. Сейчас я уже давно не была на ночной литургии (служат греки), но поминают по нашим запискам по-русски. Когда-то и я заказала такую литургию по своим усопшим родственникам. Стоят они теперь довольно дорого, больше 100 долларов, но зато чувствуешь, что исполнил свой долг.

Владыка Лавр²⁹ прислал мне о<чень> интересные материалы (речь Пат<риарха> Алексия в Нью-Йорке перед раввинами)³⁰ и т. п., и я написала статью, которую уже переслала (тоже с оказией), но еще не имею сведений, дошла ли она по адресу, и также, где она появится³¹. Увы, я своих статей тоже не получаю, хотя слышу отклики, что они уже где-

то появились. Поехал в Латвию один монах из Джорданвилля (по происхождению латыш, родившийся в Австралии)³², но еще не знаю о его впечатлениях. Он хорошо говорит на «государственном» языке, был довольно долго на Афоне и хорошо знает и греческий, но уехал оттуда, не желая подчиниться требованию помянуть Вселенского патриарха, (заядлого экумениста и масона, между нами).³³ <...>



*Отец Иоанн на монастырской колокольне. Вид на Иерусалим. Апрель 2005 г.
Фото В.Кузнецова*

Ну, помогай Вам Бог, помолитесь обо мне в соборе – всё детство и молодость ходила туда.

Между прочим – иконостас главного придела был «эвакуирован» во время первой мировой войны в Россию и так и не вернулся никогда. Был поставлен иконостас из Алексеевского монастыря, который забрали католики³⁴. Но мама еще помнила старый иконостас, так как бывала в соборе до войны (родители жили в Риге с 1912 года до 16). Сообщите это, если хотите (то есть, об иконостасе), так как в Риге, кажется, об этом мало знают. В первую войну, когда немцы заняли Ригу, они сделали из собора гарнизонную кирху и сильно повредили его³⁵. Старый наш соборный сторож Иван Иоанович даже разговаривал с императором Вильгельмом, который приехал на какой-то парад³⁶...



*Автор писем в юности.
Фотография из
студенческого дела в
Латвийском ун-те*

Если будете в соборе, попробуйте сходить в подвал и посмотреть, что там осталось от жилья Владыки св. Иоанна – там был его верстак, на котором его и жгли, и мемориальная мраморная доска³⁷. Цело ли еще что-нибудь? Если да, может быть, можно сделать снимок и прислать мне. Была бы очень благодарна.

Да хранит Вас всех Господь! Ваша Л.Г.

6

[1994. Июль-август Иерусалим.]

Дорогой о Господе Володя!

От души поздравляю Вас с Днем Ангела и желаю мира душевного и во всем благого поспешения. <...>

Мы здесь еще полны подъема от Прославления в Сан-Франциско³⁸; я не ездила, но была наша игумения, которая привезла снимки и рассказы-вала о торжестве.

Здесь же, на Гробе Господнем, происходит необыкновенное явление: благодатный огонь, который обычно бывает только в Великую Субботу. Многие думают, что это не к добру, но надо надеяться на милость Господню.

Жду скорого ответа и надеюсь в недалеком будущем Вас увидеть.³⁹

Сейчас еду на несколько дней в Германию, сопровождая одну сестру, которая одна ехать не может. Но скоро вернуться.

У нас было очень жаркое лето, правда, жара сухая, и, может быть, поэтому осень будет прохладнее.

Привет Вашей семье и жду ответа.

Ин<окиня> Иоанна (б<ывшая> Людмила Г).

P.S. Нет ли в Риге каких-нибудь материалов о Борисе Павловиче Мансурове (1828-1910). Его дочери – основательницы нашего Рижского Св. Троицкого монастыря. Может быть Вы могли бы что-нибудь переснять и привести с собой?⁴⁰

7

[1995 г., конец сентября – начало октября. Иерусалим.]

Дорогой о Господе Володя!

Очень давно Вам не писала и из-за врожденной лени, и по другим причинам. У нас масса «местных» волнений и всякие житейские заботы, которые, увы, проникают и за монастырские стены.



*Слева направо: Мать Иоанна
(Людмила Келер), В.Кузнецов, мать
Мелания. Иерусалим. Апрель 1995 г.*

Отец Иоанн (наш схимник)⁴¹ был не так давно в Латвии и говорит, что там заметно некоторое улучшение в жизни. Но вообще рассказывал мало; узнал там много про старообрядческие дела⁴², которые его всегда интересуют.

К <сестре> Мелании приехали две ее сестры из Аммана (Иордания), так что она сильно занята ими.

У нас было очень длинное и жаркое лето, чуть не каждый день больше 30 градусов, а доходило и до 35. Жара повредила нашим маслинам, так что в этом году ожидается плохой урожай. Собирать их довольно утомительно, обычно это в первой половине октября, но и весело, все вместе работают, а матушка на тракторе отвозит мешки в трапезную, где маслины чистят от веточек и всякого сора. Я работаю только до обеда, т. к. читаю за вечерним богослужением в это время каждый день. Вообще это трудная работа, но приятно то, что все работают дружно вместе. Я иногда говорю группам паломников, чтобы они приезжали в это время и помогали нам.

По радио в русской программе здесь говорили, что сейчас у вас выборы⁴³ и приглашали здешних латвийских подданных принять участие, м. б., <отец> Иоанн и поедет – это надо ехать в Тель-Авив. Но я бы воздержалась (я и не могу, потому что уже давно американская подданная), потому что надо лучше разбираться в местной (латвийской) политике, а то не знаешь, за что и за кого голосовать. В Америке я всегда голосовала, т. к. свободные выборы обязывают граждан голосовать. Первое мое голосование в Латвии было ужасно – в советское время, когда мы, против своей воли, голосовали за присоединение к Союзу. И нельзя было уклониться, т. к. тогда не было бы отметки в паспорте, а это было очень опасно. Слава Богу, теперь хоть этого нет. Но вообще дела наши в России плохи, того и гляди коммунизм снова придет к власти и уже как следствие свободных выборов⁴⁴. Пожалуйста напишите о результатах голосования – здесь об этом, вероятно, мало будет известно.

Отдохнули ли Вы летом или все время ездили по конференциям, что, конечно, интересно, но и утомительно. В детстве мы всегда жили на взморье, но тогда еще можно было купаться, а позже – ездили в Латвию или в Эстонию, в Печеры. Хорошие были времена – доатомные и о раке тогда никто не думал, боялись туберкулеза. Какое спокойное было время до второй мировой войны, прямо золотой век, больше уже такой безмятежной жизни не будет нигде.

Привет Вам и всей Вашей семье и не забывайте меня.
Да хранит вас всех Господь! Ваша ин<окиня> Иоанна.

[1996, июнь?]

Дорогой о Господе наш Володя!

Простите, что пишу с таким опозданием и даже не поздравила Вас с Воскресением Христовым! Во время Великого Поста была очень занята – у нас много больных, т. к. погода совершенно не весенняя, а сравнительно холодная и дождливая. <...>

Я ответила Р<абе> Б<ожией> Валентине⁴⁵, но, увы, материалов у меня собственно нет, поэтому я ограничилась кое-какими советами. Надо бы навести справки в соответствующих архивах, – которые теперь открыты, – правда, я не уверена, в Риге ли или надо писать прямо в Москву. Хорошо бы, если бы это кто-нибудь сделал, тогда выяснились бы всякие подробности убийства⁴⁶. Я ведь писала⁴⁷ по предположениям, правда, высказанным братом Владыки⁴⁸ и полицей-президентом Риги того времени⁴⁹, которого я встретила в Германии. Кроме того, в Риге можно добраться до прессы того времени как русской, так и латышской, и извлечь и оттуда кое-что. У меня (от брата) сохранились только кое-какие вырезки из «Сегодня» и «Сегодня вечером» тех дней.

В русской прессе (в частности, «Р<усской> газете Балтии»), которую Вы мне прислали, есть статьи по истории Р<русской> Прав<ославной> Церкви в Латвии до второй мировой войны⁵⁰, где довольно отрицательно описывается роль Митр<ополита> Августина⁵¹. Я его не знала, но брат относился к нему хорошо и ездил его навещать в Германии, где он находился в легочном санатории. Во-первых, ему многое было навязано и ожидать от него такой энергии как от Св. Иоанна никак не приходится. Я не думаю, что о. Иоанн Янсон оказался бы лучше на его месте. В свое время Митр<ополит> был женат на русской⁵² и никак не был оголтелым националистом. Увы, все складывалось по масонским предписаниям, кто-то в правительстве был, конечно, в этой всеобъемлющей организации, а в Константинополе сидели (и сидят) свои же братья. В Эстонской Церкви дела плохи, там просто развалит Церковь⁵³, но и в Латвии, боюсь, грозит то же самое. Владыка Иоанн был в контакте с заграничным Синодом⁵⁴, но это был другой человек. <...>

Пишите, всегда рада Вашим письмам, да и здешние Ваши друзья спрашивают о Вас. Доктор-румын из Америки был, но уже уехал.

Помолитесь и Вы о нас, Бог знает, что день грядущий нам готовит, террористы нас не забывают, а на севере идет перестрелка.

Ваша ин<окиня> Иоанна

[1996 г. Июль-август.]

С Днем Ангела! дорогой Володя!

Давно Вам не писала и от Вас ничего не слышала, что, вероятно, моя вина. У нас было много хлопот и забот – матушка Иулиания была в больнице – у нее после того, как она упала, появилась вода в мозгу (простите за очень не медицинское описание), ей делали операцию, которая прошла хорошо. Потом она отдыхала по рекомендации врачей довольно долго в католическом монастыре за городом, где за ней был прекрасный уход. Теперь же она уже несколько недель в Чили, наводит порядок в своем приюте там, но скоро ожидается обратно. Я по ней очень соскучилась, она пишет, что у нее иногда сильные головные боли. Это, может быть, и нормально после операции, но меня беспокоит. В ее отсутствие монастырем управляет М<атушка> Рафила, которой нужно на отдых – она очень переутомляется, т. к. в ее ведении еще и золотошвейная мастерская, где как раз много заказов.

Вчера ездили с моей «правой рукой» (м<атушка> Мелания) в изр<аильские> учреждения за визами – все прошло хорошо, но страшно устали.

О. Иоанн (схимник) и о. Феодосий⁵⁵ давно отсюда выбыли, оставив по себе смутные воспоминания, мы вообще подолгу сидим без начальника миссии, но как-то справляемся. Служит у нас очень хороший иеромонах из Киева.

Владыку Илариона⁵⁶ сделали архиепископом и посылают в Австралию, несмотря на протесты американских приходов. Но, может быть, только на время, вообще Австралия – что-то вроде места ссылки. <...>

У нас опять очень жаркое лето и, может быть, поэтому меньше посетителей. Была, правда, большая группа из Германии. Довольно надолго приехали Бибиковы (из Бразилии), помните ли Вы их? Был также и их зять, очень хороший молодой священник тоже из Бразилии, которого я знала еще семинаристом в Джорданвилле⁵⁷. Здесь все готовятся к войне, как говорят старые матушки «что-то давно войны не было, наверное скоро будет». На нас сильно покушается Моск<овская> Патриархия⁵⁸, что стоит войны. Но авось Бог упасет. <...>

Надеюсь, Ваша Поместная церковь в процессе канонизации⁵⁹ узнает интересные факты из органов, архивы которых теперь доступны. В Эстонии вообще катастрофа, а ведь у них тоже свой новомученик Епи-

скоп Иоанн Печерский⁶⁰ (которого мы хорошо знали), но они, вероятно, считают его «русофилом» и вообще канонизировать не будут.

Да хранит Вас Господь!

Ваша ин<окиня> Иоанна

10

29 июля 1999 г. Иерусалим

С Днем Ангела!

Дорогой о Господе Володя!

Нога моя совершенно поправилась – в сущности, это был не перелом, а 2 трещины.

Туся Синайская написала и издала книгу «Круг жизни проф. Вас. Синайского»⁶¹, кот<орая> для Вас, наверное, представляет интерес. Конечно, как дочь она преувеличивает его значение (я слышала его лекции), но там есть и интересные сведения о русской жизни. Справьтесь у моей приятельницы Г. Петровой-Матис⁶², как Вы можете достать книгу.

У нас опять очень жаркое лето, так что у меня мозги плавятся. <...>

Пишите. Всегда рада слышать о Вас и Ваших местных новостях. Может быть президентша⁶³ будет более милостива к местным русским.

Храни Вас Господь!

Ваша ин<окиня> Иоанна.

11

[Конец 1990-х гг.] Иерусалим

С днем Ангела! <...>

Давно о Вас ничего не слышала.

У нас ужасные дела – Моск<овская> патр<иархия> наступает, матушку хотят сменить. Сидим как на вулкане.

Знаю, что Вы очень заняты, но напишите хоть строчку.

Бог да поможет Вам.

Помолитесь за нас.

Ваша ин<окиня> И<оанна>.

Приложение

Большая часть публикуемых ниже документов в цитатах и выдержках известна в литературе⁶⁴. Считаю не лишним расширение объема публикации этих материалов.

[№] 1/с

2 января 1961
Секретно
Экз. № 4

Председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров Союза СССР

Тов. КУРОЕДОВУ В.А.

При этом представляю копию письма епископа Иоанна по вопросу закрытия в гор. Риге «Рождественского» кафедрального собора русской православной церкви, которое сегодня будет направлено им Патриарху Алексию.

Для сведения сообщаю, что после 20-го января местными советскими органами будет принято решение о расторжении типового договора и изъятии из пользования 20-ки «Рождественского» собора, – церковного здания. Ближайшая действующая церковь находится в 500 м. от этого здания, а всего в Риге, после закрытия собора, останется 13 действующих церквей. В случае особых ходатайств членов двадцатки собора правительство ЛССР не будет возражать против передачи епископу, для устройства собора, здания «Троицкой» церкви в гор. Риге по ул. Кр. Барона, 126, ранее находившейся в пользовании женского монастыря⁶⁵. Такая передача может быть осуществлена лишь при условии немедленного вывоза туда церковниками всего культового имущества из ныне действующего собора.

После закрытия соборной церкви церковное здание предполагается использовать для устройства планетария.

В своем письме Патриарху епископ Иоанн просит разрешения на выезд в Москву для личного доклада по этому вопросу. Считаю такой выезд епископа нецелесообразным.

Приложение: по тексту на 2 листах.

Уполномоченный Совета: (А.Сахаров) /Подпись/

ЕГО С В Я Т Е Й Ш Е С Т В У, С В Я Т Е Й Ш Е М У П А Т Р И А Р Х У
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ А Л Е К С И Ю

И о а н н а, Епископа Таллинского
и Эстонского, вр<еменно> управляющего Рижской епархией

П о ч т и т е л ь н е й ш и й д о к л а д

В последних числах ноября месяца с/г Уполномоченный по делам православной церкви по Латв. ССР предупредил меня, а также председателя Епархиального Совета прот. Н.Смирнова и настоятеля Рижского кафедрального собора прот. С.Варфоломеева о нижеследующем:

Местоположение Рижского кафедрального собора на главной улице города в зоне особой охраны и движения рассматривается органами местной власти и общественностью по многим причинам несоответствующим центру столицы Латвийской ССР. С обстоятельствами и правомерностью такого положения нельзя не считаться. <...>.

Весть о возможном закрытии любимого собора и переводе кафедры и прихода встречена православными верующими Риги, русскими и латышами, с чувством глубокого огорчения.

Актив соборного прихода при моем участии имел суждение по вопросу о предстоящей собору возможности перевода в другой храм. Подавленные грустью члены соборного актива обменялись мнениями и высказались так: если со стороны соответствующих органов власти будет предъявлено соборной двадцатке решение о расторжении так называемого типового договора о пользовании приходом здания собора, приход, считая своим долгом быть лояльным по отношению к власти, примет к исполнению названное решение и будет просить разрешения о переводе прихода и вывозе внутреннего оборудования собора в другое место.

До сего времени такого решения нам не предъявлено, но в ближайшее время, возможно, оно будет принято. В этом случае намереваюсь через Уполномоченного Совета ходатайствовать о передаче мне для устройства кафедрального собора ныне неиспользуемого Троицкого храма бывшего женского монастыря в Риге⁶⁶, при архиерейском доме.

Если угодно будет Вашему Святейшеству заслушать устный доклад по существу волнующих нас вопросов по делу Кафедрального собора, благословите прибыть в Москву покорному послушнику Вашего Святейшества вместе с председателем Епархиального Совета прот. Н.Смирновым и настоятелем Кафедрального собора прот. С.Варфоломеевым.

Испрашивая святительского благословения пастве и моему недостойнству, пребываю в сыновьем послушании.

Заверено

Сахаров*

*LVA [Гос. архив Латвии]. Ф. 1452. Оп. 1. Ед.хр. 67. Л.1а-3.

* * *

«СОГЛАСЕН»

Зам. Председателя Совета Министров Латвийской ССР В.Круминь

/Подпись/

9 января 1961 года

План

работы Уполномоченного Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров Латвийской ССР на 1961 год

<...>

Январь

2. Завершить план мероприятий по изъятию от приходского общества православной церкви церковного здания в гор. Рига, ул. Ленина, 23, используемого в настоящее время церковниками в качестве кафедрального собора.

3. Завершить ликвидацию женского православного монастыря в гор. Риге и перевод монашествующих в Валгундский сельсовет.

<...>

Октябрь

Уполномоченный Совета А.Сахаров /Подпись/**

**Там же. Л. 6-7, 9.

3

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА РИЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Гор. Рига

24 января 1961 г.

Тов. БАУМАНИС: Сегодня мы должны рассмотреть вопрос о дальнейшем использовании здания православного собора по ул. Ленина, № 23.

За последнее время Исполкомом получено значительное количество заявлений трудящихся и общественных организаций, в которых ставится вопрос о более целесообразном использовании зданий, построенных в религиозных целях.

В буржуазной Латвии для использования своего могущества религиозными кругами было построено очень много различных церковных зданий.

В нашей стране, как нам известно, церковь отделена от государства. Государство не вмешивается в церковные дела и не использует церковь в своих интересах.

Религиозные общества и служители церкви все более теряют в нашей стране свое влияние среди трудящихся.

В силу этого ранее построенные здания оказались, по существу, в ведении незначительных групп граждан, которые еще их используют. В своей основе эти здания существуют как памятники города. В связи с этим трудящиеся города поставили вопрос об изъятии этих зданий в интересах трудящихся и всего населения города, в частности, об изъятии православной церкви, находящейся по ул. Ленина, № 23.

Это большое здание, построенное царским правительством во второй половине прошлого столетия, чтобы через него проводить шовинистическую политику самодержавия. В Прибалтике и в Риге, в частности, к тому времени имелось уже много церквей, однако строились еще и новые церковные здания, и в центре города был построен кафедральный собор.

Мне думается, что трудящиеся нашего города закономерно поднимают вопрос об изъятии этого здания из пользования отдельной небольшой группы верующих. Но это ни в коей мере не ущемит интересов прихожан, так как в Риге имеется много церквей и для православных верующих. Что касается граждан, посещающих этот собор и проживающих вблизи, то такая же церковь находится на ул. Ленина, 56.

Исполком, прежде чем поставить вопрос на заседание, проверил, в какой степени используется это здание по ул. Ленина, 23. Проверка проводилась депутатами Горсовета и показала, что большое по размеру здание в течение недели фактически пустует. Богослужение, проводящееся в воскресные дни, тоже собирает мало народа. То же можно сказать и о других церквях, даже о тех, где богослужение производится[!] два раза в неделю. Троицкий собор практически совершенно не используется, так как богослужение проводится только 1 раз в год.

В соборе по ул. Ленина, 23 богослужение проводится часто – по несколько раз в день, однако число посетителей очень небольшое, да и среди них много любопытных. Особенно большое число любопытных собирается около собора в дни больших религиозных праздников, что нарушает общественный порядок.

Исполнительный комитет считает необходимым, идя навстречу пожеланиям трудящихся, изъять церковное здание по ул. Ленина, 23 из пользования отдельной небольшой группы верующих в интересах трудящихся и населения города.

На свое заседание мы пригласили представителей «Двадцатки», которой передано пользование зданием по ул. Ленина, 23, и хотели бы слышать их высказывания по этому поводу, чтобы впоследствии не было неправильных толков и придерживаясь порядка в этом отношении нашего государства

Тов. ГОЛУБ[К]ИН [Лаврентий] – староста собора: Я могу лишь сказать, что мы старались соблюдать порядок во всех отношениях и никого не беспокоить. Наводили порядок своими средствами. Службу проводили два раза в день, и не могу сказать, чтобы людей было очень мало.

Тов. БАУМАНИС: Каково Ваше мнение? Правильно ли трудящиеся поставили вопрос?

Тов. ГОЛУБ[К]ИН: Вечером все-таки бывает очень много народа, и я со своей стороны просил бы оставить здание нам.

Тов. СИДЯКОВ, председатель ревизионной комиссии собора: Я являюсь председателем ревизионной комиссии и должен сказать, что бюджет за год составляет 600 тыс. рублей. 70-80 тысяч выручаем за свечи, чем я хочу показать, что большинство посетителей собора – верующие, так как любопытные не станут покупать их.

Я присоединяюсь к старосте т. Голубину и прошу здание оставить нам.

Представитель собора П.[Иван?] ВОЛКОВ: Особенного говорить нечего. Просим собор не забирать.

Тов. БАУМАНИС: Этот вопрос не касается только церковных зданий. Мы используем различные здания для различных музеев, картинных галерей и просто как памятники.

Тов. РЕЙХМАНИС: Мне кажется, что вопрос о более целесообразном использовании собора правилен. Нам нужно думать о том, чтобы более целеустремленно использовать каждое здание. Не секрет, что у нас недостаточно зданий для проведения различных общественных мероприятий. Например, для проведения таких мероприятий на заводах «ВЭФ», РЭЗ, и «Саркана звайгзне» помещений и клубов недостаточно. В клубе полиграфистов всего 200 посадочных мест, а посещают его 500.

Такое прекрасное здание как собор используется теперь незначительной частью людей. В городе только для православных верующих предоставлены здания с 7 тыс. кв. метров. Вообще же для верующих в

Риге предоставлено 50 строений площадью в 21 тыс. квадратных метров, а для проведения массовой работы среди остальных неверующих – имеется всего 7 тыс. квадратных метров. Причем в первом случае – для небольшого количества людей, а во втором случае для очень многих.

Установлено, что даже по большим праздникам и воскресным дням в лютеранских церквях используется лишь 10 % посадочных мест, а в православных и того меньше /хотя посадочных мест вообще нет/ – 5%.

Если это здание будет изъято, то им сможет пользоваться любой – и верующий, и неверующий.

Говорить о том, что этого делать нельзя из-за того, что оно, якобы, святое, неправильно, но и для нас, советских людей, это здание является святыней как памятник старины и мы бы никогда не позволили его разрушить.

Мне кажется, что практически наша жизнь показывает, что вопрос поднят совершенно правильно и необходимо пожелания трудящихся удовлетворить, а здание использовать как учреждение культуры.

Тов. БАБУШКИН: В Горисполком поступает много заявлений, что многие помещения с большой квадратурой используются незначительной группой лиц. Мы участвовали в проверке и этот факт подтверждается.

И сейчас мы можем некоторую часть таких зданий изъять и передать под культурные предприятия.

Я думаю, что мы должны поддержать это дело, представителя же собора – люди также трудящиеся и они понимают необходимость в этом.

Тов. МАЦУЛЕВИЧ: Я хочу сказать пару слов с точки зрения общественного порядка.

Это здание находится в самом центре нашего города. За последнее время мы нигде уже не встречаем нищих, однако у собора мы еще часто можем наблюдать стоящего с протянутой рукой нищего. Это видят и иностранные гости, приезжающие в Ригу.

Второе – не скажу, что часто, но особенно в большие религиозные праздники происходит большое скопление людей и внутри и вокруг собора, что нарушает движение транспорта и общественный порядок. В таких случаях нам приходится высылать наряд милиции в 150 человек.

Я думаю, что здание собора необходимо изъять и передать в пользование трудящимся города.

Тов. МАРКОВСКИЙ: С точки зрения специфики. То, что крупные общественные здания в других городах Советского Союза используют

ся для большого количества трудящихся, и это не новость. Таких примеров можно привести много: Иса[а]киевский и Казанский соборы в Ленинграде давно уже служат трудящимся как памятники старины и архитектуры, а также во многих других городах.

Дело не только в том, что такие церкви и соборы в настоящее время посещаются небольшой группой верующих, но и в том, что их техническому состоянию уделяется очень мало внимания. В Риге в очень плачевное состояние пришли многие церкви: Англиканская, Домская и др., на восстановление которых было затрачено очень много средств.

Я считаю, что пока здание собора по ул. Ленина, 23 находится в хорошем состоянии, его необходимо изъять и использовать под планетарий, которого в нашем городе нет и который особенно интересовал бы население в наш век высокой науки и техники.

Тов. ГОЛУБ[К]ИН: У нас собор находится в образцовом состоянии.

Тов. БАУМАНИС: Мы обращаемся к верующим гражданам с призывом интересоваться не только своими узкими делами, но и интересами всех трудящихся.

Приглашенные сюда товарищи, как патриоты и граждане нашего города, по-моему, должны сами поддержать это предложение.

Безусловно, в этом здании мы не устроим танцплощадки, пусть Вас это не беспокоит. Мы этот вопрос в дальнейшем разрешим.

Я думаю, что нет никаких других доводов, чтобы это предложение отклонить. Что касается имущества и оборудования этого собора, то мы окажем соответствующую помощь в оборудовании другого помещения.

Тов. ЛИЭПИН: Я считаю, что никакого основания, чтобы не удовлетворить запрос трудящихся, нет.***

*** Там же. Ф.1400. Оп.4. Ед. Хр. 1028. Л. 196-2-4.

4

RĪGAS PILSĒTAS DARBAĻAUŽU DEPUTATU PADOMES
IZPILDU KOMITEJA

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РИЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
РЕШЕНИЕ № 15

Гор. Рига

24 января 1961 года

Об изъятии для общественных надобностей культового здания православной церкви, находящегося по ул. Ленина, № 23.

Исполнительный комитет Рижского городского Совета депутатов трудящихся рассмотрел ходатайства трудящихся и общественных организаций города об изъятии из пользования «двадцатки» прихода русской православной церкви здания, находящегося в гор. Риге по ул. Ленина, 23.

При рассмотрении вопроса присутствовали члены «двадцатки» прихода, получившие это здание в пользование от Исполкома Кировского /ныне Московского/ районного Совета депутатов трудящихся, согласно «Типовому договору» от 28 марта 1950 года.

Заслушав мнение членов Исполкома и представителей «двадцатки», исходя из пожеланий трудящихся, ходатайств общественных организаций и руководствуясь существующим законодательством о религиозных культурах, Исполнительный комитет Рижского городского Совета депутатов трудящихся р е ш и л:

1. изъять для общественных надобностей культовое здание православной церкви, находящееся по ул. Ленина, 23.

2. обязать Московский райисполком /тов. Рухманис/ расторгнуть с «двадцаткой», имеющейся при здании православной церкви в гор. Риге по ул. Ленина 23, заключенный с нею 23 марта 1950 года «Типовой договор» и, в связи с этим:

а/ принять от «двадцатки» культовое здание по ул. Ленина, № 23 и находящееся в нем имущество;

б/ дать распоряжение финансовым органам прекратить взыскание обязательных платежей с приходской общины этого здания.

3. Поручить Управлению культуры /тов. Рейхманис/ разработать и представить конкретные предложения по наиболее рациональному использованию здания по ул. Ленина, 23 с учетом имеющихся ходатайств и предложений трудящихся и общественных организаций.

4. Учитывая ходатайство представителей верующих, в чьем пользовании до настоящего времени находилось здание по ул. Ленина, 23, рассмотреть на заседании вопрос о предоставлении возможности переоборудования одного из имеющихся в гор. Риге зданий православных церквей под «Кафедральный собор» русской православной церкви.

Просить Совет Министров Латвийской ССР дать указание Уполномоченному Совету по делам русской православной церкви т. Сахарову А. А. о подготовке к заседанию Исполкома соответствующих предложений по данному вопросу.

5. Просить Совет Министров Латвийской ССР утвердить настоящее решение.

Председатель Исполнительного комитета Рижского городского
Совета депутатов трудящихся Э.Бауманис /Подпись/

Секретарь Исполнительного комитета Рижского городского Совета
депутатов трудящихся Р. Стразд /Подпись/****

**** Там же. Ед. хр. 1018. Л. 117-118.

5

[№] 6/с 10 февраля
Секретно Экз. № 2

Председателю Совета по делам русской православной церкви
при Совете Министров СССР Тов. К У Р О Е Д О В У

В дополнение к ранее направленным Вам материалам, при этом пре-
провожаю справку, содержащую данные о «Рождественском» соборе в
г. Риге и мероприятиях по изъятию здания собора и переводе его причта
в культовое здание по адресу: Рига, ул. К. Барона, 126.

Приложение: по тексту на 3 листах.

Уполномоченный Совета А.Сахаров /Подпись/

<...>.

СПРАВКА

о мероприятиях по изъятию здания «Рождественского» собора,
что в гор. Риге по ул. Ленина, 23 из ведения прихода

<...>. В результате проведенных мероприятий в настоящее время
подготовлена практическая возможность перевода причта собора и его
«двадцатки» в церковное здание по ул. Кр. Барона, 126. <...>.

До настоящего времени ко мне жалоб и заявлений от верующих на
неосновательность решения горисполкома на изъятие здания «Рожде-
ственского» собора» не поступало. [Ср. письмо в Президиум ВС СССР
(входящий от 12.02. 1961): «Мы, православные граждане города Риги
просим Президиум Верховного Совета принять во внимание наш про-
тест против закрытия Рождества Христова собора, Троице-Сергиевско-
го женского монастыря и других святынь и оставить их в нашем поль-
зовании» // Рижский кафедральный собор Рождества Христова <...>.
Рига. Синод Латв. православной. 2006. С.83. – ред.]. Они рассматривают
это действие как закономерное.

Епископ Иоанн с изъятием соборного здания по ул. Ленина, 23 – со-
гласился.

Уполномоченный Совета

А.Сахаров /Подпись/*****

*****Там же. Ед.хр. 67. Л. 28-29, 31.

6

PSRS MINISTRU PADOMES KRIEVU PAREIZTICĪGĀS LIETU PADOMES
PILNVAROTAIS LATVIJAS PADOMJU SOCIĀLISTISKA REP-KA

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ПО ЛАТВИЙСКОЙ ССР

[№] 7/10/с 5 апреля 1961 г.

Секретно Экз. № 2

Секретарю Рижского Городского Комитета Коммунистической
Партии Латвии

Тов. А З А Н В.А.

Сегодня утром на цоколе церковного здания по ул. Ленина, 23, изъ-
ятого в настоящее время из ведения религиозной общины верующих
православной церкви, на стороне, обращенной к бульвару Коммунаров,
обнаружена надпись: «Откров.13; 1-18, Узри!». Надпись сделана мелом,
крупными буквами, размером до 30 см. и ясно видна издали.

Настоящая надпись является ссылкой на 13 главу так называемого
«Откровения святого Иоанна Богослова» («Апокалипсис»), входящего
в т.н. «Новый завет» и книгу, широко известную религиозным людям.

Для сведения сообщаю, что основным содержанием Апокалипсиса
является пророчество наступления в ближайшее время конца света,
чему якобы должно предшествовать сначала царство Антихриста, затем
– царство небесное на земле. Тринадцатая глава Апокалипсиса как раз и
известует о наступлении на земле царства антихриста <...>.

Полагаю, что данную надпись на цоколе кафедрального собора сле-
дует рассматривать как факт, свидетельствующий об активизации ре-
лигиозной пропаганды церковников в связи с изъятием от них этого
церковного здания.

Сообщаю для использования в атеистической работе.

Уполномоченный Совета

А.Сахаров /Подпись/*****

*****Там же. Ф.1452. Оп.1. Ед.хр.67. Л.32-33.

7

RĪGAS PILSĒTAS DARBAĻAUŽU DEPUTATU PADOMES
IZPILDU KOMITEJA

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РИЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Распоряжение № 336-р Гор. Рига

4 мая 1961 года

Обязать Управление культуры /тов. Розе Я./ заключить договор с Рижским СМУ треста «Промтехмонтаж» Министерства строительства Латвийской ССР на производство спецработ по наружному оформлению здания планетария в городе Риге по улице Ленина, № 23, согласно утвержденного сметно-финансового расчёта от 27 апреля 1961 года⁶⁷.

Зам. председателя Исполкома Рижского
Городского Совета депутатов трудящихся

О.Рейхманис /Подпись /*****

*****Там же. Ф. 1400. Оп.4. Ед.хр.1053. Л.97.



Спустя почти 30 лет, в значительной степени благодаря пожертвованиям г-на В.Фелдманиса, кресты были возвращены куполам собора.

*Воздвижение крестов. Рига.
Христорождественский собор.
22 апреля 1990 г.*

Устанавливали кресты известные рижские альпинисты: Иварс Заулс, Теодорс Кирсис, Станиславс Кракопс и Петерис Кулис.

Фото Д.Трубецкого

8

Выборочный указатель имен по материалам Приложения

Бабушкин Владимир – секретарь Рижского городского райкома комсомола, с 1969 г. в структуре Рижского городского комитета ком. партии Латвии.

Бауманис Эрикс (1923-1980), в 1958-1962 гг. – председатель Рижского горисполкома.

Голубкин Лаврентий Варфоломеевич – староста Христорождественского собора, отец протодиакона рижского собора Бориса Голубкина.

Лиэпин (Лиепиньш) Карлис (1915-1877), председатель исполкома Пролетарского района г. Риги.

Марковский Борис Михайлович (1919-1988), нач. управления капитального строительства Рижского горисполкома.

Мацулевич Мечислав (1916-1961), начальник управления милиции г. Риги.

Рейхманис Ольгертс (1918-1988), нач. управления культуры Рижского горисполкома; с 1 апр. 1961 г. – заместитель председателя Рижского горисполкома.

Сидяков Сергей Николаевич (1893-1965), председатель ревизионной комиссии Кафедрального собора.

Примечания

1. См. о ней: (Келер, Koehler Людмила (ур. Земмеринг, Зоммеринг, Zemmerings, Sömmering; род. 1913, Троицк – 1988, США; далее – Л.К.), ее отец, Герберт Германович Земмеринг (род. 1888, Саратов); инженер-строитель; мать – Раиса Гавриловна Башкирова (1892, Троицк – 1988, США; см.: Некрополь Свято-Троицкого монастыря в Джорданвиле (штат Нью-Йорк, США) // М. Старая Басманная. 2015. С.68). В довоенной Риге Л.К. училась в немецкой основной школе, окончила русскую гимназию, в 1938 г. поступила в Латвийский университет на факультет народного хозяйства и права; в феврале 1941 г. по неизвестной причине вышла из университета. В годы войны семья Земмеринг выехала в Германию, где Л.К. окончила юридический факультет Мюнхенского ун-та, но с переездом в США и защитой диссертации занималась историей русской и советской литературы, преподавала в ряде университетов США (Орегон, Мичиган, Айова, Пенсильвания), публиковалась в славистических изданиях (Canadian-American Slavic Studies, The Russian Review, The Slavic and East European Journal, The Slavonic and East European Review...); современной литературе, церковной проблематике посвящены ее статьи в журнально-газетных изданиях «Возрождение» (Париж), «Православная Русь» (США), «Наша страна» (Аргентина; в последнем Л.К. была постоянным корреспондентом)... О Л.К. см: LVVA (Гос. ист. архив Латвии). Ф. 7427. Оп. 1. Ед. хр. 22061 (матрикула: Zemmerings (Sömmering) Ludmila); Людми-

ла Келер (Русские Латвии // <http://www.russkije.lv/ru/lib/read/l-koehler.html>); Фелдман-Кравченок Н. Рижане на Святой земле // Даугава. 1995. № 5; С.137-144 Александров Е. Русские в Северной Америке. Биографический словарь. Хэмден (Коннектикут, США) – Сан-Франциско (США) – Санкт-Петербург (Россия). 2005, стр. 247; Ильин И.А. Собр. соч. Переписка двух Иванов (1947-1950). М. Русская книга. 2000. См. по указателю.

2. Речь идет о поездке Л.К. в Иерусалим.

3. Речь идет о Рижском Христорождественском соборе, который (в рамках общесоюзной борьбы с «религиозными пережитками») решением Рижского горсовета от 24 января 1961 г., утвержденном постановлением Совета министров ЛССР от 26 янв. того же года был отчужден от церкви и позднее, лишенный крестов, преобразован в Республиканский дом знаний, открытый в 1964 г. В конце 1980-х-начале 1990-х гг. – началось обратное движение: 23 апреля 1990 г. частично были восстановлены кресты на куполах, на Рождество 1992 года в соборе было совершено первое богослужение. См. по теме: Ердмане М. История прихода Рижского Кафедрального Христорождественского собора после 2-ой мировой войны (1944-1961) // Православие в Латвии. Исторические очерки. Сб. статей под ред. А.В.Гаврилина. 2. Р. Филокалия. 1997. С.151-160. Судя по сведениям латышской эмигрантской печати и другим источникам, кресты на куполах собора и колокольни были спилены в мае-начале июня 1961 г. (См.: Rīgā slēgta pareizticīgo katedrāle. Tai nozāģēti arī krusti [В Риге закрыт православный собор. Спилены на нем даже кресты.] // Latvija. 1961. № 22.10.06. 6. лр.); ср. документ № 7 в Приложении). Известны две популярные (фольклорные) версии «антикрестового похода». Обе они представлены в воспоминаниях рижанина Ю.Ульянова (Страницы лет. Калуга. 2008.), несколько критически процитированы в книге М.Кривошеиной «Мать Мария (Скобцова) Святая наших дней. (М. Эксмо. 2015. С. 360-361): «Закрытие собора произошло по приказу министра культуры СССР Е.Фурцевой в 1963 г. По существующей версии-легенде, Фурцева приехала в Ригу и с сопровождающей ее делегацией местных политических деятелей наблюдала следующую картину „В предпасхальные дни около 17 часов тень от памятника Ленину падала на витрину находившегося на противоположной стороне улицы магазина политической книги. А в ленинской руке странным образом оказался крест центрального купола собора, также дававший тень на то же здание. Эта оптическая нелепица послужила одной из причин передачи здания храма государству и открытия в нем планетария”. Существует и более прагматичная материалистическая версия: местные власти отдали распоряжение о максимальной сдаче металлолома и приказали спилить все медные кресты с куполов...». Известны печатные версии относительно времени суток «операции» (день? ночь?); относительно материала, из которого были изготовлены кресты (медные? деревянные? оббитые медным листом?); относительно лиц, валивших кресты (штатские? военные?); относительно целеполагания (антирелигиозная кампания? сбор металлолома?) В устном виде нам встречались слухи о печальной судьбе лиц, посягнувших на кресты; о том, что внутри медного креста был спрятан золотой крест. См. по теме: Rīgā slēgta pareizticīgo katedrāle. Tai nozāģēti arī krusti // Latvija. Hamburga. 1961. № 22.10.06. 6. лр.; 21 gadu pēc okupācijas // Laiks. Ņujorka. 1961. № 48. 17.06. 1.лр.; Pareizticīgo katedrālei nozāģēti krusti. Tajā paredzēts ierīkot planetāriju // // Laiks. 1961. № 74. 16.09. 1. лр.; Дименштейн И. Русская Рига-2. Рига. Holda. 2010. С. 119-120.

4. Имеется в виду Спитакское землетрясение 7 дек. 1988 г.

5. См.: Крахмальникова З.А. Горькие плоды сладкого плена. Монреаль. Братство преп. Иова Почаевского. Монреальская и Канадская епархия Русской Православной церкви за границей. 1989. Статья З.К. была посвящена проблеме взаимоотношений РПЦ и советского государства.

6. Вероятно, имеется в виду Латвийское общество русской культуры, образованное в марте 1989 г. во главе с Ю.И.Абызовым.

7. Kundze, jaunkundze (лат. яз.) – мадам и мадемуазель. Речь идет о жене и дочери адресанта.

8. В связи с разнообразными «перебоями» в снабжении населения СССР, конец 1980-х-начало 1990-х гг., – время продуктовых и товарных посылок из-за границы друзьям и родственникам в СССР.

9. Здесь и далее второй инициал неразборчиво: Т. или Г<гербертовна?>? В дальнейшем принимает этот инициал за «Г».

10. Мила – приемная дочь Л.Келер, уроженка Сербии.

11. См.: Зоммеринг Л. Воспоминания об И.С.Шмелеве // Возрождение. Париж. 1952. № 24. С. 99-105. В 1936 г. И.Шмелев отдыхал в Латвии, откуда ездил в Эстонию, в Печоры; куда его сопровождала Л.К. О взаимоотношениях И.Шмелева с матерью и дочерью Земмеринг см.: «Я всегда жил сердцем...» Письма Раисе и Людмиле Земмеринг. Подготовка текста Н.В.Петрашовой, Д.Г.Шеварова, О.Н.Шохиной. Вступ. статья Д.Г. Шеварова // Новый мир. 2004. № 11 (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/11/sh11.html); Раиса Земмеринг и Людмила Келлер // (<http://kurskonb.ru/our-booke/shmelev/dok/zemmering.html>); Raissa G. Zemmering. A Register of her Papers, 1933-1957 // (<http://archive.hts.edu/findingaids/zemmering.html>).

12. «Родник» и «Даугава» – рижские журналы, активно откликавшиеся на перемены в СССР конца 1980-х-нач. 1990-х гг.

13. См. прим. 3.

14. Иоанн Янсон (1878-1954, Рига), протопресвитер, долголетний служитель Латвийской православной церкви; после кончины архиепископа Иоанна (Поммера) один из кандидатов на Рижскую кафедру. См. о нем: Сидяков Ю. Иоанн Янсон // Русские Латвии (<http://www.russkije.lv/ru/lib/read/j-yanson.html>).

15. Сестра Л.К. – Земмеринг Галина Гербертовна (Zemmering Galina; род. 18.03.1915 г.).

16. Рижская внучка прот. И.Янсона – Вейсбарде Ирина Николаевна (ум. 1996). Ее воспоминания см.: Вейсбарде Ирина. Мой дед Иоанн Янсон... // Ригас балсс. 1989. 19 мая. С.8; см. еще: Подберезина Е. Три Ирины // Ригас балсс. 1990. 2 марта. С.5, 13; Veisbārde Irina. No tādas ģimenes... / Pierakst. V.Brila // Sievieta. 1992. № 7/8. 6. лрр.

17. Упоминаемый церковный дом находился на ул. Меркеля, 3; в советскую эпоху был отчужден, в 1990-х гг. возвращен Латвийской православной церкви.

18. Никодим (Земмеринг Николай), иподиакон Рижского Христорождественского собора, иеромонах (1913-1965, США). См. о нем: Бобров Н. Краткий исторический очерк строительства Свято-Троицкого монастыря. Джорданвилль, шт. Нью-Йорк, Сев. Америка. Jordanville, 1969. С.170-171.

19. В должности визит-профессора В.Кузнецов в течение 1991 г. преподавал психиатрию и организацию психиатрической помощи в гос. ун-те штата Мичиган в Ист-Лансинге, был с лекцией в Ан Арборе где в свое время преподавала Л.Келер.

20. Книга Л.К. о княгине св. Елизавете Федоровне. См.: Koehler L. Saint Elisabeth the New Martyr // New York. The Orthodox Palestine Society, USA 1988. Сведения о русском переводе у нас отсутствуют.

21. Вл<адька> Иларион – на 1990 г. настоятель Благовещенского кафедрального собора в Каунасе; ныне – митрополит Волоколамский.

22. О. Амвросий (в миру Игорь Клявиньш (Клявиньш-Прокофьев?), род. 1953; одно время служил в Рижском Христорождественском соборе), см. о нем: (<https://ok.ru/igor.klyavinsprokofyev>). См. по теме: «Небольшая православная община города Алоя (около 20 человек), созданная в июне 1991 года, первой на территории Латвии [под омофором архиепископа Берлинского и Германского Марка (Арендта)? – Ред.] перешла в юрисдикцию Русской Православной Зарубежной Церкви. С первых же шагов <...> она встретила противодействие со стороны определенных кругов. Двери храма Рождества Христова, являющегося собственностью общины, были опечатаны <...>. Настоятель храма иеромонах Амвросий в своей проповеди указал на отступление от правил святых Соборов, которое фактически ставит Латвийскую епархию вне Церкви» (Вне церкви. Нам пишут из Риги // Наша страна. Буэнос-Айрес. 1991. № 2158. 14 дек. С.4). См. еще по теме: Latvijas Pareizticīgā Baznīca. 1988.-2008. Sast. Peļevins O., virspriesteris. R. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode. 2009. 52. lpp. По некоторым сведениям, о. Амвросий Клявиньш вскоре вернулся в юрисдикцию Московской патриархии.

23. См.: Б/а. Рижский собор в дни оккупации // Перезвоны. 1926. № 10. С. 281. Цитируем: «Православный Собор отведен был немецким командованием под гарнизонную церковь, клиросы, иконостасы и иконы были удалены из храма, и в храме рядами были поставлены скамейки». К статье приложена фотография храмового интерьера времен германской оккупации.

24. Виктор, архимандрит (Виктор Авраамович Мамонтов), долголетний настоятель церкви Преподобной Евфросинии Полоцкой в Карсаве (Латвия); автор книг и статей по истории Русской Православной церкви. См. о нем: Большакова-Минченко Н. Жизнь, сокрытая в Боге. Архимандрит Виктор (Мамонтов) // Православие в Балтии. № 6. Рига. 2017. С.109-120; см. о нем же раздел «Памяти архимандрита Виктора (Мамонтова)» // Христианос. XXVI. Р. ФИАМ. 2017. С. 145-276.

25. В известных работах о. Виктора тема вероятного раскола Латвийской православной церкви не встречается (справка Н.Большаковой-Минченко). О некоторых сепаратистских тенденциях в ЛПЦ первой половины 1990-х гг. см.: Latvijas Pareizticīgā Baznīca. 1988.-2008. Sast. Peļevins O., virspriesteris. R. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode. 2009. С.52; Kalniņš, Jānis, priesteris. Vai Latvijas pilsonis drīkst būt lojāls divām valstīm? // Neatkarīgā Cīņa. 1995. 4.martā. Iel. «Dvēselei un mūžībai». Nr.10.; Христианин. Навязчивые идеи // Русская газета Балтии. 1995. № 5. С.3.

26. Сведения о месте публикации статей Л.К. указанных выше, у нас отсутствуют.

27. Речь идет о Русской духовной миссии (ведомство РПЦЗ в Иерусалиме, где на момент письма временно исполнявшим должность нач. миссии был игумен Николай (Юхош).

28. Имеется в виду архиепископ Берлинский и Германский Марк.

29. Владыка Лавр – епископ РПЦЗ, с 2001 года – митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский.

30. Патриарх Алексей выступал в Нью-Йорке на встрече с раввинами 13 ноября 1991 г.

31. Сведения о месте публикации статей Л.К. указанных выше, у нас отсутствуют.

32. Имеется в виду иеромонах Иоанн (в миру Петр Берзиньш / John Berziņš; род. в 1957 г.), из семьи латвийских эмигрантов (1944 г.); в 1992-1996, 2001-2005 гг. – духовник

Спасо-Вознесенского и Гефсиманского монастырей в Иерусалиме; в 2005 г. был возведен в сан игумена; позднее – епископ Каракасский, управляющий приходами Русской зарубежной церкви в Южной Америке.

33. Вселенский патриарх – Варфоломей I; среди противников Вселенского патриарха мнение о его причастности к масонству бытует и в настоящее время.

34. О судьбе Алексеевского монастыря см.: Цоя С. Правовое положение Латвийской православной церкви в 20-х – начале 30-х годов XX века // Латвийский православный хронограф. Вып. II. Рига. Синод Латв. Православной церкви. 2016. С. 165-179; Гаврилин А. Утраченные в XX веке храмы Риги // Православие в Латвии. Ист. очерки. 5. Р. Филокалия. 2006. С.32-33; Мазур С. История Латвийской православной церкви. Хроника событий // Альманах Seminarium Hortus Humanitatis. [Вып.] 50. Православие Латвии в документах эпохи: 1923 год. Сборник. док. Р. 2017. С. 5-6, 17-20 и др.

35. О судьбе Христорождественского собора в годы Первой мировой войны см.: Бушуева И. История прихода Рижского кафедрального собора во имя Рождества Христова в 1915-1920-х годах // Православие в Латвии. Истор. очерки. 1. Р. Балто-славянское о-во культурного развития и сотрудничества. 1993. С.43-64.

36. 21 августа (3 сентября) 1917 г. в Ригу вступили германские войска; через несколько дней в Ригу прибыл император Германии Вильгельм II, принявший на Эспланаде парад германских войск.

37. Современный вид мемориального уголка см.: Рижский кафедральный собор Рождества Христова = Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrale = Orthodox cathedral of the Nativity of Christ In Riga. Рига. Синод Латвийской православной церкви. 2006. С.58.

38. Архиепископ Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский 2 июля 1994 года был канонизирован Русской зарубежной церковью.

39. Речь идет о поездке В.К. в Израиль (состоялась в апреле 1995 г.).

40. Л.К. собиралась работать над историей монастыря.

41. См. прим. № 35.

42. О конфликте внутри Рижской Гребенчиковской старообрядческой общины середины 1990-х гг. см.: Деяния первого собора Древлеправославной поморской церкви Латвии 1995 года. Даугавпилс. 1-я Даугавпилс. (Новостроенская) старообряд. община. [2001]; Aleksej Žilko, Ēduard Mekšs. Старообрядчество в Латвии: вчера и сегодня // Rev. Etud. Slaves. Paris. LXIX/1-2. 1997. С.84.

43. Речь идет о выборах в 6-й Сейм Латвии, состоявшихся 1 окт. 1995 г.

44. Речь идет о ведущем положении Коммунистической партии РФ в рамках предвыборной компании по выборам в Гос. думу Российской федерации 2-го созыва (17 дек. 1995 г.).

45. Вероятно, речь идет об источниках, которыми Л.К. пользовалась при работе над брошюрой об архиепископе Иоанне (Поммере).

46. Речь идет о трагической гибели архиепископа Иоанна (Поммера) в октябре 1934 г. в Риге.

47. Речь идет о брошюре: Л. Келер. Св. Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский и Латвийский // Джорданвилль, 1984. В 1999 г. с некоторыми специфическими сокращениями брошюра опубликована в Москве (Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского) под назв.: Никем не сломленный. Жизнь и мученическая кончина архиепископа Рижского Иоанна (Поммера).

48. Речь идет об А.Поммере (1890-1944), выпускнике рижской духовной семинарии и Варшавского ун-та, историке православия в Латвии. См. о нем: С.Цоя. Антоний Поммер // Русские Латвии (<http://www.russkije.lv/ru/lib/read/antoni-umpommer.html>). А.Поммер был сторонником версии, в соответствии с которой к убийству архиепископа вольно или невольно был причастен известный певец Л.Собинов (См. об этом упом. выше брошюру Л.Келер, с. 56). Аргументированное опровержение этой распространенной версии см.: Левицкий Д. Загадка следственного дела об убийстве архиепископа Иоанна (Поммера) // Даугава. 2003. № 6. С. 132-140.

49. Кого Л.К. называет тогдашним полицай-президентом Риги, с кем Л.К. встречалась в Берлине военных или первых послевоенных лет, установить не удалось. Соответствующая должность в Риге наз. – префект, ее на 1934 г. занимал Т.Гринвалдс, скончавшийся в 1936 г.; нач. уголовной полиции Латвии Г.Тифенталь – скончался в 1963 г. на родине.

50. См.: Православный христианин. Правда о православной церкви в Латвии. (Русская газета Балтии № 1996. № 5, 6; подзаголовок первой статьи: Воссоединение с матерью-церковью в Латвии; второй: Церковь в начале войны.). Православный христианин = Алексей Борисович Чертков (1932 - 8.05.1996, Рига), выпускник Московской духовной академии, некогда протоиерей, позднее – доцент кафедры марксистско-ленинской философии Рижского политехнического ин-та, в 1960-1980-х гг. автор около 20 книг и брошюр сугубо атеистической направленности. Некролог ему «Памяти товарища» см.: Русская газета Балтии. 1996. № 6. См. еще о нем: Монахиня Магдалина (Некрасова). Чудесная история о предательстве и покаянии // Православие.RU (<http://www.pravoslavie.ru/61221.html>).

51. О митрополите Рижском и всея Латвии (Латвийская православная церковь Константинопольского патриархата) Августине (в миру: Августс Петерсонс, Augusts Pētersons; 1873-1955, ФРГ) см.: Strods H. Metropolit Augustīns Pētersons. Dzīve un darbs 1873-1955. Rīga. Latvijas Universitātes žurnāla «Latvijas Vēsture» fonds. 2005; Письма митрополита Рижского и всея Латвии Августина (Петерсонса) и протоиерея Иоанна Свемпа митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Александру (Паулусу), написанные в 1941-1943 гг. Публ., сост. и прим. Т. Шор // Православие в Балтии. № 3. Rīga. Latvijas Universitātes agentūra. LU Filozofijas un socioloģijas institūts. 2015. С.209-235; Цоя С. Митрополит Августин // Русские Латвии (<https://www.russkije.lv/ru/lib/read/metropolitan-augustin.html>).

52. Митрополит Августин был женат на Ольге Павловне Шоломок (1877-1934), домашней учительнице.

53. Довоенная Эстонская православная церковь в 1923 г. на правах автономии вошла в юрисдикцию Константинопольского патриархата, что было подтверждено в 1996 г. Часть Эстонской православной церкви после восстановления независимости Эстонии сохранила связь с Московским патриархатом. Один из источников сведений Л.К. о положении в Эстонии, возможно: Борисов А. К событиям в Эстонии // Русская газета Балтии. 1996. № 5.

54. Переписку архиепископа Иоанна (Поммера) с представителями РПЦЗ см.: История в письмах. Из архива священномученика архиепископа Рижского Иоанна (Поммера). Подготовка, предисл. и прим. Ю.Л.Сидякова. Тверь. Изд-во «БУЛАТ». 2015.

55. Архимандрит Феодосий (Theodosius) – священнослужитель РПЦЗ, архимандрит; начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (1993 - 1995).

56. Митрополит Иларион – первоиерарх РПЦЗ, в июне 1996 года, был назначен на Сиднейскую и Австралийско-Новозеландскую кафедру с возведением в сан архиепископа; с мая 2008 года митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский.

57. Речь идет о Павле Владимировиче и Анне (Нине?) Алексеевне Бибиковых и их зяте о. Константине Бусыгине.

58. Речь идет о стремлении Московской патриархии перенять в свою юрисдикцию Русскую духовную миссию в Иерусалиме. «В настоящее время в Иерусалиме параллельно действуют две Русские духовные миссии: Миссия Московского Патриархата, находящаяся в непосредственном ведении Патриарха Московского и всея Руси, и Миссия РПЦЗ, являющаяся самоуправляемой в составе Московского патриархата».

59. Речь идет о архиепископе Иоанне (Поммере), канонизированном Латвийской православной церковью спустя пять лет, в 2001 г. Ранее, в 1981 г., архиепископ был канонизирован РПЦЗ.

60. См. о нем: Мянник С. Епископ Иоанн (Булин) // Православие в Балтии. № 4. Rīga. 2016. С.77-90. Время от времени на разных уровнях предлагается рассмотреть возможность причисления епископа Печерского Иоанна к сонму новомучеников.

61. См.: Круг жизни профессора Василия Ивановича Синайского. Воспоминания дочери Н.В. Синайской, восстановленные по записям и памяти. Рига, 1998. Василий Иванович Синайский (1876 – 1949, Брюссель), юрист, профессор российской и латвийской высшей школы, писал стихи, занимался живописью. Его дочь Наталья Синайская-Лапа (1914, Киев – 2006, Брюссель) – проф. русского языка Коммерческого института в Брюсселе, работала в структурах ЕС.

62. Матис-Петрова Галина Михайловна (1914 – 2000, Рига), жена репрессированного grossмейстера В.М.Петрова, основательница рижского «Мемориала».

63. Вайра Вике-Фрейберга (Vaira Vīķe-Freiberga; род. в 1937 г.), президент Латвии в 1999-2007 гг.

64. См., напр., ук. в прим. 3 статью М.Ерцмане; см. еще: Евфросиния (Седова), ин. Времена «разбрасывания камней»: 50 лет спустя // (<http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=3889&id=6>).

65. О попытках закрыть монастырь в 1960-х гг. см.: Гаврилин А. Почему не был закрыт Рижский Свято-Троицкий Сергиев монастырь // Богословский сборник. М. Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. 2003. С.394-407 (<http://pstgu.ru/download/1237467511.gavrilin.pdf>); Седова Г.В. (инокия Евфросинья). Христианские обители в Советской Латвии // (<http://government.esrae.ru/pdf/2014/3/278.pdf>).

66. На наш взгляд, в этом распрямлении в закамуфлированной форме речь идет о предстоящем лишении собора купольных крестов.

Дмитрий Близнюк (1979) – поэт, предприниматель. Окончил Харьковский нац. пед.ун-ет. Публикации в периодике: «Сибирские Огни», «Знамя», «Новая Юность», «Нева», «Крещатик», «Номо Legens» и др. Книги стихов "Сад брошенных женщин" (2018), "Утро глухонемых" (2018). Публикации на английском яз.: «Dream catcher» (UK), «Magma» (UK), «River Poets Journal» (USA), «The Gutter Magazine» (Scotland), «The Panot Review» (Israel) и др.; книга стихов «The Red Forest» (2018, «Fowlpox press», Canada). Живёт в Харькове.

Наталья Большакова родилась в Пятигорске, в 1982 году окончила Лит. ин-т. им. А.М.Горького; основатель и главный редактор альманаха «Христианос» (Рига.1991); автор театроведческих, литературоведческих и богословских статей, книг: «Христианство осуществимо на земле» – История создания и жизнь монастыря Покрова Пресвятой Богородицы в Бюси-ан-От (Франция), 2006; «Жизнь и служение епископа Кампанского Мефодия (Кульмана)», 2009 г.

Елена Васильева (1962) – поэт, переводчик. Закончила филологический ф-т Латвийского университета (1986), работает в Рижской средней школе, участвует в Рижских театральных и литературных объединениях. Публикации в республиканской печати с 1986 года: в «Рижском альманахе», литературно-художественном журнале «Балтика» (Эстония) и других журналах. Издано три сборника стихотворений.

Муся Гланц – см. выше предисловие к главам из воспоминаний.

Роальд Добровенский (1936) – прозаик, поэт, переводчик. В Латвии с 1975 года. Среди книг: романы-биографии о Бородине и Мусоргском, «Райнис и его братья» (1999) и др. Переводил прозу, художественную и документальную, стихи А. Чака, М. Чаклайса, И. Аузиня, И. Зиедониса, К. Элсбергса, а также пьесы Райниса, И. Абеле, М. Залите и др.

Дмитрий Драгилёв (1971) – окончил Латвийский университет, Веймарскую консерваторию и Йенский университет. Автор пяти поэтических сборников, двух книг о музыке и сборника стихов, эссе и переводов, вышедших в Москве, С.-Петербурге, Нижнем Новгороде, Берлине и др. Председатель Содружества русскоязычных писателей Германии (с 2015). Помимо литературной деятельности работает редактором, ведущим новостей на радио и выступает как музыкант (пианист, композитор, аранжировщик и руководитель ансамблей с программами джазовой музыки и танго).

Владен Дозорцев (1939) – поэт, прозаик, публицист, драматург. Автор нескольких поэтических книг, ряда киносценариев, повестей и романа «Одинокий стрелок по бегущей мишени», а также пьес «Последний посетитель» и «Завтрак с неизвестными», поставленных во множестве русских и зарубежных театров. В годы перестройки возглавлял литературный журнал «Даугава». 90-е годы отдал политике. В 2009 году вышла первая книга мемуаров «Настоящее прошедшее время», в 2012 – на латышском в переводах Яниса Сирмбардиса книга стихов «Melluzu laiks», в 2016 – итоговое поэтическое избранное «Остальное сжечь»,

в 2017 – книга публицистики «Заметки практикующего холостяка» и вторая книга мемуаров «Другой Юрканс». Живет и работает в Риге и Юрмале. Владимир Ермолаев (1950, Иваново) – поэт и прозаик. Окончил Ивановское музыкальное училище и философский факультет МГУ, докторантуру Латв. ун-та по кафедре истории философии. Публиковался в журналах "Октябрь", "Волга", "Новый берег", "Арион", "Даугава", "Дети Ра", "Воздух", "Интерпоэзия", а также в различных альманахах. Автор шести поэтических сборников: "Танцующие улы" (2010), "Трибьюты и оммажи" (2011), "Попытка коммуникации" (2012), «Кафка» (2013), «Книга Кейт» (2014), «Семь дней с Заратустрой» (2016).

Янис Йоневс (1980) – латышский прозаик и драматург. См. также предисловие переводчика к нашей публикации.

Юрий Касянич (1955) – поэт, переводчик. Окончил Лат. гос.ун-т. По специальности – физик. Автор четырех сборников стихов, двух книг переводов с латышского: Э. Плаудис. «Яд сирени» (1987), Л.Бриедис. "Волны пустыни" (2014); составитель-редактор ежегодного поэтического альманаха «Письмена» (2012-2019). Сопредседатель оргкомитета Дней русской культуры в Латвии.

Лариса Колесникова (1950) – выпускница Латвийского университета, филолог, преподаватель русского языка и литературы, работала в области организации школьного и высшего образования, а также в парламенте ЛР. Автор литературных заметок автобиографического характера (публикации в издательстве SOL VITA, сборниках материалов Международной высшей школы практической психологии).

Глаша Кошенбек закончила Московскую академию печати (бывший полиграфический институт) по специальности «книговедение». «По специальности не работаю, но в душе я книговед, несомненно», – сообщила она редакции. Автор двух сборников стихотворений.

Екатерина Ливи-Монастырская (1967) – поэт, литературный критик. В 1983 г. закончила художественную школу, в 1989 – ф-т Прикладного искусства Московского Текстильного института. Публиковалась в журналах: «LitteraTurа», «Литературная учеба», «Дети Ра» и др. изданиях. Живет в Москве.

Максим Молчанов (2000) учится в 12-м классе Пушкинского лицея г. Риги.

Никита Молчанов (2000) учится в 12-м классе Пушкинского лицея г. Риги.

Валерия Мизгарь (1998) – студентка 2 курса русской филологии Латвийского ун-та. «Поэзия является увлечением, – сообщает она редакции, – больше интересует театр, драматургия».

Владимир Новиков (1947) – поэт, прозаик, переводчик, художник книги. Автор многих сборников поэзии и прозы. Был главным редактором выходивших в Риге журналов «Гном» (1991 – 1995), „Sveiki” (1993 – 1999) и «Вестник моряка» (2007-2015). Председатель правления общественной организации "Grāmatas bērniem" («Книги – детям»). Стихи переведены на болгарский и латышский языки. Публиковался в хрестоматиях России, альманахах и журналах Латвии, России, Литвы и Болгарии.

Диана Пискун учится в 12-м классе Пушкинского лицея.

Галия Попова родилась в 1960 году в селе Чёрный Затон Саратовской области. Живёт в Екатеринбурге. Образование среднее. Стихи публиковались в журналах «Новая реальность», «Белый ворон», «Буквица», «Графит», в литературном альманахе «Вещество». Автор книги миниверлибров «Хижина», выпущенной в свет издательством: Евразийский журнальный портал "Мегалит".

Наталья Прилепо (1985) – поэт. Закончила Тольяттинский государственный университет по специальности учитель математики и информатики. Работает учителем математики в школе. Автор нескольких сборников поэзии.

Борис Равдин (род. 1942) – историк культуры. Окончил ист.-фил. ф-т Лат. ун-та, работал в школе учителем литературы, в 1991-2006 гг. – редактор отдела, соредактор журнала «Даугава». Выступал со статьями и публикациями в разных изданиях. Автор, составитель и соредактор ряда историко-культурных сборников.

Елена Таганова (Некрасова) родилась в 1980 году в Москве, где и живет по сей день. Закончила МГГУ им. Шолохова (факультет психологии) и Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького. Работала инженером-проектировщиком электросетей и пожарной сигнализации, контент-менеджером, копирайтером. В настоящее время домохозяйка. Публиковалась в журнале «Эмигрантская лира» и других изданиях.

Павел Тюрин (1943) – доктор психологических наук, доцент Балтийской международной академии. Автор более ста статей на русском, латышском, английском, польском и др. языках. Автор книг по психологии творчества, психодиагностике и психологии конфликта: «Ψ-design. Введение в психологию дизайнерского творчества» (2001); «Тест двойного рисунка» (2007); «Интерпретации визуальных ситуаций и метод отраженного трансформирования функциональных форм» (2009); «Поведенческие альтернативы в условиях нормативных и ситуативных требований» (2010); «Legend about Blockhead and His Nessie» (2014). «Психология между буквой и духом закона (теория и практика юридической психологии)» (2017), эссе «Божественное недоразумение» в богословском альманахе «ХРИСТІАНОС» (2012) и др.

Елена Фельдман (1989) – поэт, прозаик, переводчик художественной литературы. Закончила Литературный институт им. А. М. Горького, кандидат филологических наук. Обладатель премии Института журналистики и литературного творчества в номинации «Поэзия» (2015). Печаталась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «День и ночь», «Русский переплет» и др. В настоящее время живет между Литвой и Россией.

Максим Якушин (2000) учится в 22-й средней школе г. Риги. Пишет о себе: «урбанист, энтузиаст истории Риги». Публикации стихотворений см.: <https://vk.com/mydearvacuum>.